
ИЛЛЮМИНАТОР
Библиотека журнала «Иностранная литература»
Марек Хласко
Красивые, двадцатилетние
Marek Hłasko
Piękni, dwudziestoletni

Красивые, двадцатилетние
Марек Хласко

Марек Хласко. Красивые, двадцатилетние
Красивые, двадцатилетние. (литературная авто-биография)
  Шнурочки, ремешок, галстучек
  Вроцлав, Оборы, Остров Роз
  Репортер самой смелой польской газеты
  Goofy, the Dog
  Феликс Дзержинский и Богарт
    1. Безумие
    2. Разочарование в коммунизме
    3. Сутенерство
    4. Тихая гавань
    5. Честный труд
  Имеются дверцы для двустворчатого шкафа застекленные
  Гостиница «Виктория»
Повести. Рассказы
  Вечерние беседы
  Окно
  Пьяный в полдень
  Первый шаг в облаках
  Красивая девушка

Ломбард иллюзий
Страсти
Благословение
В поисках звезд
В день смерти Его
Обращенный в Яффе
Расскажу вам про Эстер

Марек Хласко.
Красивые, двадцатилетние

Красивые, двадцатилетние (литературная автобиография)

Шнурочки, ремешок, галстучек

В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, в феврале, я сошел с прилетевшего из Варшавы самолета в аэропорту Орли. В кармане у меня лежало восемь долларов; мне было двадцать четыре года; я был автором опубликованного сборника рассказов и двух книг, которые печатать отказались. Правда, я был лауреатом Премии книгоиздателей: ее мне вручили за несколько недель до отъезда. И еще одно: меня объявили человеком конченым, который уже никогда ничего не напишет. Как я сказал, было мне тогда двадцать четыре года — люди, со сноровкой профессиональных могильщиков поспешившие меня похоронить, были по меньшей мере на тридцать лет старше. Адольф Рудницкий где-то написал, что самое модное направление в польской литературе — оплевывание и уничтожение. Тот же Адольф Рудницкий, когда я опубликовал свой первый рассказ, спросил: «Друзья-писатели уже говорят вам, что вы кончились?» — «Почему?» — удивился я. «Потому что, — сказал Рудницкий, — когда я выпустил „Крыс“, свою первую книжку, Кароль Ижиковский при встрече

прежде всего спросил: „Коллеги уже говорят вам, что вы кончились?“»

Выходя из самолета в аэропорту Орли, я думал, что не позже чем через год вернусь в Варшаву. Сейчас я знаю, что в Польшу не вернусь уже никогда; но пишу эти слова и понимаю, что хотел бы ошибиться. Много лет я не говорил по-польски; жена моя — немка; друзья — американцы или швейцарцы, и я с ужасом замечаю, что все чаще думаю на чужом языке и перевожу свои мысли на польский. Я знаю — это конец; мои варшавские могильщики не ошиблись. Профессионалы редко ошибаются.

До сих пор я еще никому не говорил, какие мотивы побудили меня остаться на Западе. Когда мне задавали этот вопрос журналисты, я отвечал какие-то глупости; в конце концов они от меня отстали. Я не мог ответить, почему покинул родину, так как не покидал ее никогда. И все же попробую объяснить, почему я живу в другой стране, а вернее, в других странах: я уже побывал в Англии, Испании, Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Дании, Израиле и еще кое-где.

Писать я начал в восемнадцать лет; виновата в этом мама, которая давала мне читать книги, — я стал запойным читателем. Школы я не

закончил: частично из-за семейных неурядиц, частично по причине идиотизма, обнаруженного у меня учителями. По сей день не знаю, есть ли разница между физикой, алгеброй и химией, — и никогда уже не узнаю. Понятия не имею, делится ли вообще на что-нибудь сорок девять; если каким-нибудь чудом кто и разделит, то уж наверняка не я.

Начальную школу мне удалось с грехом пополам закончить исключительно благодаря тому, что математику вел тот же учитель, который преподавал польский. Во время войны, в Варшаве, я ходил в школу к монахиням на улице Тамка; в этой школе был обычай: самому плохому ученику прицепляли огромные ослиные уши из бумаги; я их носил постоянно. После войны, «когда родилась новая Польша», дела мои стали получше: ослиные уши вышли из употребления, и я просто стоял в углу, лицом к стенке. Научиться чему-либо в таких условиях трудно; но до восьмого класса я продержался, «выезжая» на сочинениях.

Потом началось хождение по мукам. Из общеобразовательной школы меня выгнали за тупость; это была школа номер два имени Ла Гардии, позже — Марии Конопницкой. По предложению инспектора меня послали в психотехническую

— не уверен, что не перепутал названия, — консультацию. Там мне велели складывать кубики, вписывать недостающие слова в какие-то идиотские фразы, задавали неприличные вопросы насчет родителей и родственников; напоследок заставили раздеться догола и, сочтя неспособным к обучению в школе с гуманитарным уклоном, направили в торговое — или, кажется, кооперативно-торговое — училище во Вроцлаве, исходя, вероятно, из убеждения, что торговля нуждается в идиотах; возможно, впрочем, тут сказалась забота о покупателях. Не знаю.

Мое приобщение к торговле закончилось после нескольких уроков математики. В это время в Варшаве открыли театральный техникум; мы поехали туда вместе с братом Юзефом. Три месяца брат делал за меня задания по математике и химии, однако, из-за так называемых семейных раздоров, перестал; меня опять вышибли. Техникум мне нравился; он находился в здании ИМКА[1], и нам разрешали посещать бассейн. Директором у нас был — если не ошибаюсь — Жмигродский, представительный бородач, ни дать ни взять капитан корабля из рассказа Ко-

[1] Примечания: 1

Христианский мужской молодежный союз (здесь и далее прим. перев).

нрада «На пределе сил». Там же я познакомился с Басей Свидзинской, прелестным рубенсовским ангелочком, и влюбился в нее. Без взаимности.

Вернувшись во Вроцлав, я поступил на работу и одновременно посещал вечернее ремесленное училище; почему меня оттуда выгнали, уже не помню. Вылетев из училища, я записался в спортклуб и стал играть в футбол, центральным нападающим. Особыми талантами я не отличался, но на поле проявлял звериную жестокость. Как в том рассказе Чапека, меня перед каждой игрой вызывал тренер и говорил: «Хласко, если ты не снесешь хотя бы двоих, будешь исключен из клуба». В спортклубе я научился играть в покер; там же познакомился с Тадеком Мазуром — «племянником» одного писателя, равнодушного к женским чарам. Тадек сам пробовал писать; я иногда заходил к нему и так познакомился с его «дядей» — это был первый пишущий человек, которого я узнал лично. Еще я познакомился с Ковалой — потом его поставили левым крайним; он виртуозно лягал противников носком бутса в голень, а когда те падали — в лицо. Ковала ухитрялся подсечь игрока чужой команды так, что судья ничего не замечал. И выглядел при этом пай-мальчиком: всегда поднимал упавшего и из-

винялся перед судьей. Я потом видел еще одного такого — это был боксер легкого веса из Лодзи, Дебиш, Джентльмен ринга: он мог одновременно ударить противника ниже пояса и локтем разбить ему бровь, после чего с покаянным видом отвешивал судье поклон. В девяноста процентах боев Дебиш выигрывал чистым нокаутом.

По воскресеньям мы с Ковалой и Тадеком ходили на боксерские матчи во вроцлавский «Зал Столетия». Денег у нас не было, и в зал мы проникали через крышу — с риском для жизни. Главным там был тогда судья Микула — атлетического сложения толстяк, который вышибал безбилетников одним пинком; потом, правда, он полюбил нас за фанатизм и впускал, не спрашивая билетов. В то время нашим кумиром был Рышард Валюга — прекрасный fighter[2] с сильным ударом и отличной техникой; впоследствии, впрочем, нас покорил Касперчак по прозвищу Куколка, первый после войны поляк — чемпион Европы. В «Зале Столетия» я увидел — издали — еще двух писателей. Одним из них был Стась Дыгат, неизменно сидевший в первом ряду с крайне недовольной физиономией; а на первен-

---

[2] Примечания: 2
Боец (*англ.*).

стве Польши в 1949 году мне показали Страшного Юзя — Прутковского. Тогда я видел самый красивый в своей жизни бой: Анткевич — Базарник (наилегчайший вес). Но сердца наши принадлежали «Толеку». Чтобы посмотреть на схватку «Толека» с чехом Тормой, мы втроем без билетов поехали в Варшаву, без билетов пробрались в зал и без билетов вернулись во Вроцлав.

Все мы — Тадек, Ковала и я — жили игрой в покер. Но судьба недолго нам улыбалась: за азартные игры нас исключили из клуба; Тадек угодил за решетку, а мы с Ковалой занялись разбоем. Первое серьезное дело мы провернули в торговом училище с помощью нашего одноклубника Селезня. Селезень вроде бы нечаянно выбил в раздевалке окно, выходящее на улицу. На следующий день Ковала занял пост под окном, а я с портфелем в руке вошел с другими ребятами в раздевалку и спрятался между пальто. С виду я тогда был симпатичный пацан с открытым славянским взглядом отъявленного вруна. Начался урок; школьный сторож запер раздевалку на ключ, а я стал выбирать из вещей что получше и передавать Ковале; потом сам вылез в окно, и уже через час мы загнали все на площади Епископа Нанкера, где была барахолка. Однажды мы про-

слышали, что во второй общеобразовательной гимназии на улице Сталина состоится вечер и что туда придет поручик УБ[3], ухаживавший за одной из гимназисток. Что поручик оставит пистолет в раздевалке, мы нисколько не сомневались; едва вечер начался, я уже был там. Оружие пару раз нам пригодилось, но потом Ковала, надравшись, потерял пистолет, и наша шайка распалась.

Мне тогда исполнилось шестнадцать лет, и по закону — как нигде не учащийся — я был обязан работать. Я устроился помощником водителя в Государственный строительный трест, потом перешел на базу Управления лесоперерабатывающей промышленности «Пагед» в Быстшице Клодской. Об этой базе я написал книгу; много лет спустя Кшиштоф Теплиц в статье «Святые отроки» назвал ее рассказом о людях, какими их себе представлял юный Маречек. Меня много раз спрашивали, действительно ли все было так, как я написал. Нет, не так. Было гораздо хуже: мы вставали в четыре утра, а разгрузку на станции заканчивали в десять вечера; потом ехали по горным дорогам сорок километров до дома, что

[3] Примечания: 3

Управление безопасности; до 1956 г. — Управление общественный безопасности.

на грузовике «джи-эм-си»[4] с прицепом занимало около двух часов. Потом мы еще готовили себе еду и только после этого ложились спать. Выходных и праздников не было; в конце месяца завбазой объявлял, что мы выполнили план примерно на сорок, иногда на сорок пять процентов. В Быстшице Клодской я проработал сравнительно недолго: ушел, чтоб не попасть в тюрьму за экономический саботаж. За это время мне довелось быть свидетелем двух несчастных случаев со смертельным исходом и одного — с травмой позвоночника; парень, повредивший позвоночник, потом тоже, кажется, умер, так как мы не смогли вовремя доставить его в больницу: наши машины были приспособлены для перевозки кряжей, и положить человека было некуда. Зарабатывал я тогда около семисот злотых в месяц.

Тадеуш Конвицкий сказал: это не книга, это вестерн — и был прав. Мне никогда не удавалось понять, в чем беда польской литературы. Если рассуждать логически, мало у какого еще народа имеется столько оснований для создания хорошей литературы. У нас есть все: куча бед, политические убийства, вечная оккупация, до-

---

[4] Примечания: 4
Автомобильная корпорация «Дженерал моторс».

носительство, нищета, отчаяние, пьянство — что еще нужно, скажите на милость? В Израиле я жил среди последних подонков, но не встречал таких отчаявшихся, озверевших и несчастных людей, как в Польше. Главный мотив вестерна — маниакальное стремление вершить правосудие; его герой — одиночка, борющийся со злом и насилием. Неважно, что на эту тему написана масса чепухи; Джесси Джеймс, Эрп[5] и другие скорые на расправу молодчики — не писательская выдумка. У нас подобным героем мог бы быть, например, коммунист — человек, наводящий порядок в разоренной стране, где общество деморализовано бесконечными бедами; если б, конечно, commies[6] ставили перед собой такую задачу. Среди кучи макулатуры о commies, которую я прочитал, такие мне не встречались — если не считать Подгурского из «Пепла и алмаза» Ежи Анджеевского. Подгурский судит поляка, служившего капо в немецком лагере, — судит и проигрывает. Он еще человек; будь книга написа-

[5] Примечания: 5

Джесси Джеймс (1847–1882) — знаменитый американский бандит, герой многочисленных вестернов и баллад; Уайат Берри Стрэп Эрп (1842–1929) — легендарная личность, картежник и авантюрист

[6] Примечания: 6

Американское жаргонное обозначение коммунистов (прим. автора).

на несколькими годами позже, он бы, вероятно, стал майором из шедевра Анджея Мандальяна. Или следователем Глеткиным из книги Кёстлера[7]. Но скорее всего Рубашовым, попадающим в руки Глеткина.

Что касается меня, я против commies ничего не имею. Пока они творят всякие свинства, а я могу об этом писать — все о'кей. Я просто свидетель на судебном процессе; суть дела меня не волнует, лишь бы разбирательство было интересным. Вот и все. Жизнь, которая мне дана, только сюжет; а уж как я его изложу — моя забота. Это для меня главное.

Написав такое, я спросил у одного своего приятеля, прав ли я, утверждая, что у нас, поляков, есть все необходимое для создания хорошей литературы. Он сказал: нет; он сказал, что поляки слишком устали; что им засорили мозги и они смирились с судьбой. Не понимаю: разве хирург имеет право ссылаться на усталость, когда привозят человека, которого нужно оперировать? Не знаю, не знаю.

---

[7] Примечания: 7

Речь идет о политическом романе Артура Кёстлера (1905–1983) «Слепящая тьма».

Помню, я стоял как-то с Павлом Херцем[8] в баре, жаловался на неприятности, на безденежье, на придирки редакторов. Херц посмотрел на меня укоризненно и сказал: «Если я вас правильно понял, вы хотите стать писателем. Это не доставит удовольствия ни вам, ни тем, кто вас будет читать. На что вы рассчитываете?» И отвернулся, пожав плечами; разговор был окончен.

Итак, я ушел с лесозаготовок и вернулся в Варшаву. Поступил грузчиком в «Метробудову»; через некоторое время перешел в отдел снабжения. Работа была — лучше не придумаешь; я просто ходил по городу, по разным конторам, с заявками на запчасти для автомобилей, а мне ставили штамп: «Запчастей не имеется». Потом я отправлялся в так называемый кооперативный сектор — в маленькие ремесленные артели. Единственная разница между государственным и кооперативным сектором заключалась в том, что в государственном ставили штамп «Запчастей не имеется», а в кооперативном — «Запчастей нет». Вот и все. После этого составлялся протокол о необходимости закупок, который подписывали завотделом снабжения, председатель месткома

[8] Примечания: 8

Павел Херц (род. в 1918 г.) — поэт, эссеист, переводчик; после войны в жил эмиграции.

и секретарь партбюро, а также водитель вышедшей из строя машины и завмастерскими. Потом я брал бутылку водки и ехал на другую базу к знакомому кладовщику, который давал мне нужную запчасть. Эту запчасть я сдавал в комиссионный на Хмельной; мой напарник приходил туда через час и ее покупал; потом мы обмывали удачную сделку. Эту систему я изобрел сам: тогда я научился мыслить в категориях драмы.

Однажды на базу пришла какая-то бабища, и меня вызвали к директору.

— Ты член партии?

— Нет.

— Член Общества польско-советской дружбы?

— Нет.

— Член профсоюза?

— Нет.

— Будешь рабочим корреспондентом.

Бабища оказалась из «Трибуны люду». У «Трибуны люду» были так называемые корреспонденты на местах, которые писали о трудностях и достижениях своих предприятий. И я стал писать о том, что не хватает запчастей, что машины чересчур долго простаивают, поскольку мало бензонасосов, да и те ручные, а не автоматические, и о всяких подобных вещах. Однажды меня

вызвали в редакцию и премировали романом Анатолия Рыбакова «Водители». Этой книги я никогда не забуду.

«Водители» были первым прочитанным мною соцреалистическим произведением; должен признаться, что книжка меня ошеломила. Так и я могу, сказал я себе. И пошло…

Из «Метробудовы» меня выгнали. Работу я найти не мог: водителей было слишком много, а машин — слишком мало. «Трибуна люду» пристроила меня в Варшавский потребительский кооператив; когда я сообразил, что стал осведомителем, было уже поздно.

Работа в ВПК была тяжелая; автобаза находилась на Соколовской, а я жил на Маримонте. В четыре утра полагалось уже быть на месте; почти каждый день я вставал в два и топал через Повонзки[9]. Шел и на ходу спал; оказывается, это возможно. Потом начиналась каторга: мотор не желал заводиться и приходилось лезть под машину с паяльной лампой — горячая вода, которую грели для нас водители из ночной смены, помогала, как мертвому припарки. Потом пора было ехать на Зеленяк, там уже ждали огородники,

[9] Примечания: 9
Район Варшавы, где находится несколько кладбищ.

приезжавшие из пригородов ночью — Варшаве требовались зелень и овощи к семи утра. Ездили мы всегда вчетвером: я с помощником, грузчик и сопровождающий. Расплачивался с огородниками — наличными — сопровождающий. Овощи были первого, второго и третьего сорта. Первый — самый дорогой; сопровождающий выписывал квитанцию на первый сорт, а платил за третий. У мужика не было выбора; между нашими сопровождающими и ребятами из Городской розничной торговли существовал на этот счет уговор. Если огородник отказывался продавать свой товар, никто другой его не покупал — приходилось возвращаться домой и выбрасывать овощи. Уговор свято соблюдали как наши из ВПК так и партнеры из ГРТ; нарушение было чревато, как пишут в газетах, «поножовщиной». Очень точное определение.

Так нам удавалось немного подзаработать; когда мы возвращались около семи на базу, там нас уже поджидали милиционеры и проверяли, не пьян ли кто, — искали, к чему бы придраться. Занятие бессмысленное: шофер ВПК «не имел права» быть трезвым. Во избежание неприятностей покупалась бутылка водки и вручалась бдительным стражам порядка. Так поступали

мы, водители с Зеленяка. Водители с Зомбковской или из «Монополя» выкручивались своими способами. Красть водку было хлопотно: разбил бутылку — предъяви горлышко с залитой сургучом головкой и приложи протокол о списании; на это жаль было тратить время. Поэтому мы просто брали большой шприц с иглой для внутримышечных уколов, из каждой бутылки вытягивали по сто граммов, а взамен доливали воду.

С Зеленяка меня перевели на бойню. На бойне воровать было гораздо труднее; но воровали и там. После того, как порожняя машина взвешивалась и завскладом записывал вес, мы кружным путем ехали в цех. По дороге я останавливался и говорил помощнику: «Здишек, спускай вес». Помощник залезал под машину и открывал кран радиатора; грузовик становился легче на двадцать кило; разница — в виде мяса — шла нам. Потом, прямо за воротами бойни, в радиатор снова заливалась вода. В конце концов начальство сообразило, в чем дело; тогда мы стали сливать бензин. Куда «сплавлялось» мясо — те самые двадцать килограммов, — останется моей тайной.

Проклятьем для нас — водителей из ВПК — были так называемые картофельные рейды. Картошку вывозили из деревень; но налево сбы-

вать ее было некому. Мы, варшавская шоферня, и тут не оплошали. «На картошку» отправлялись колонной в десять-пятнадцать грузовиков; машины получше тащили «слабаков» на буксире; счетчик отщелкивал километры, а бензин потом продавался таксистам-частникам. Мне тогда было восемнадцать лет; сегодня я об этом пишу без стыда. Пусть будет стыдно тем, кто меня вынудил заниматься такими делами. Работая по четырнадцать часов в день, включая праздники и воскресенья, я получал около семисот злотых в месяц. Квартиры у меня не было; я жил в коридоре. Первый костюм приобрел в двадцать два года. Сейчас мне даже костюм не нужен; все равно некуда ходить.

Сила commies — в примитивности их идеологии; любой немецкий рабочий подсчитал бы, насколько возрастут его доходы, если состояние Тиссенов или Круппов будет национализировано. Сила commies — в несуразности самой системы. Если б я сказал немецкому рабочему, что, вкалывая по четыреста двадцать часов в месяц, мог на свою зарплату купить пару скверных ботинок, он бы просто пожал плечами. А скажи я помощнику: «Здишек, немецкий шофер может за год скопить на машину; за месячную зарплату —

купить четыре костюма; может провести отпуск в Италии», — схлопотал бы здоровую затрещину. Немецкие журналисты постоянно напоминали мне: «Не забывайте: они первые поднялись в космос». Я не инженер, но мне кажется, что об успехах в технике можно говорить, только зная, сколь велики затраты. Если ценою тысячи деревьев производится тысяча зубочисток, к этому нельзя относиться серьезно. Кеннеди или Джонсон вынуждены выбивать из конгресса каждый цент на космическую программу; американскому народу цифры затрат известны из прессы и телепередач; американцам не один год показывали по телевизору, как их ракеты падают на третьей минуте полета. Не знаю, скольких людей замучили и погубили, прежде чем Гагарин явил миру свое лицо; и сколько было неудачных попыток, тоже не знаю. И пока не узнаю, не смогу радоваться успехам наших раздражительных братьев.

Но тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, я еще об этом не думал. Совсем другие мысли были у меня в голове и в тот день, когда дежурный милиционер во дворце Мостовских[10] сказал мне:

---

[10] Примечания: 10

В бывшем дворце Мостовских в Варшаве находилось Управление общественной безопасности.

— Ремешок. Шнурочки. И галстук.

— Я не ношу галстуков, — сказал я и расписался на квитке.

Моими наставниками в молодости не были ни Хемингуэй, ни Ежи Анджеевский. Моим наставником был Тадеуш Барвинский, офицер Управления общественной безопасности. Как я уже говорил, завотделом местных корреспондентов «Трибуны люду» устроил меня шофером в Варшавский потребительский кооператив. Шел тысяча девятьсот пятьдесят второй год. На каждом крупном предприятии тогда существовал Особый военный отдел; одно время он назывался Особый отдел охраны и еще как-то. На самом деле это был орган Управления безопасности; у референта — так именовался начальник отдела — среди работников вверенного его попечению предприятия имелись свои стукачи, поставлявшие ему информацию о сотрудниках; а уж он знал, что с ней делать дальше.

В один прекрасный день около семи вечера, когда я — как говорилось — «подрулил» к базе, диспетчер сказал мне:

— Тебя вызывают в «Особый».

— Ты сегодня в ночную? — спросил я.

— Да. До шести.

— Скажешь матери, если я не вернусь.

— Вернешься, не то б тебя взяли из дома, — успокоил меня диспетчер.

Если бы я тогда читал Хемингуэя, я б ему ответил: «Это одна из тех вещей, о которых никогда ничего не известно». Но я только сказал: «Это одному Богу известно».

И пошел. В кабинете сидел коротышка в очках; дверь была обита кожей — наверное, чтобы наводить страх на допрашиваемых. Все как в плохих фильмах. Я когда-то видел такой фильм, а может, читал такую книжку:

— Знаешь, что это? — спросил Шон, беря со стопа чайную ложечку.

— Серебро, — сказал Джек. — Куплено у Гарри-барыги. После того дела на Семьдесят седьмой улице. Можно помешивать чай. Кстати, почему ты нас угощаешь такой бурдой, Шон? У вас в Дублине, что ли, так принято?

— Да нет, — сказал, криво усмехнувшись, Шон. — А хороший чай подают в одном кабаке под названием «Грязный Дик». Что же касается ложечки, ею еще можно выколупать глаз.

Такого вопля Треппенджеландер никогда не забудет.

Или:

Курок коротко щелкнул; я выстрелил ей прямо в живот, думая: «Микки, ведь там твой ребенок». Но иначе я не мог; Господи, я правда не мог иначе. Я вспомнил, как Ника вели на электрический стул, и вспомнил его обритую — чтобы плотнее прилегал электрод — голову. Если б не Ник, я бы, возможно, поступил иначе. Но я не смог: я наклонился и увидел меркнущий свет в ее глазах.

— Как ты мог, — шепнула она. А я, помолчав, сказал:

— Это было совсем не трудно.

Может быть, я привел цитаты неточно. Не в этом дело. В моем случае ситуация не выглядела такой забавной. Коротышка велел мне сесть.

— Имя, фамилия?

— Марек Хласко.

— Когда родились?

— Четырнадцатого, первого, тридцать четвертого.

— Где?

— В Варшаве.

— Отец?

— Мацей.

— Профессия?

— Адвокат.

Коротышка удивился.

— Адвокат?

— Адвокат.

— Жив?

— Нет.

— Мать?

И так далее, и тому подобное. Наконец он спросил:

— Вас сюда направила «Трибуна люду»?

— Да.

— Корреспондентом?

— Да.

— Почему вы перестали писать?

— Некогда. Работаю по четырнадцать часов в сутки.

— Больше вам писать не придется, — сказал коротышка. — Обо всем будете докладывать мне.

— О чем?

И тут начинается Майк Хаммер. А может, «Лорд Листер, или таинственный незнакомец». В названиях этих книжонок непременно стояло «или»: «Лорд Листер, или таинственный незнакомец»; «Кен Мейнард, или мститель прерий»; «Ежи Ролич, или шестнадцатилетний подросток среди тутов». Но Листер был лучше всех. Мать, приобщавшая меня к чтению, однажды подсунула мне Жеромского; мне тогда было десять лет. Я обна-

ружил у него фразу: «Сница запустил хищный взгляд своих зениц в ее душу» — и почувствовал себя навеки свободным от обязанности читать этого автора. Взяв полное собрание Жеромского (издательство Мортковича), я отнес его на Теплую улицу, где была мастерская по ремонту кукол, она же букинистический магазинчик; взамен я приобрел «Лорда Листера» и еще одну книженцию про малого, который любил говорить: «Я никогда не подаю руки левше. Это не раз спасало мне жизнь». Не помню уже, как этого головореза звали. Мать отлупила меня ремнем, оставшимся еще от деда; мой дедушка был комендантом пожарной охраны столичного города Варшавы, а — как всем хорошо известно — у пожарников ремни широченные и с великим множеством медных заклепок.

Мой «Майк» достал пистолет.

— Знаете, что это?

— Знаю.

— Что?

— Советский пистолет ТТ.

— А откуда вы знаете?

— Видел в кино. Был такой фильм с Павлом Кадочниковым. Кадочников — советский разведчик должен убить немецкого шпиона. Он

вытаскивает пистолет и говорит: «Властью и правом, данными мне родиной…»

«Майк» перебил меня:

— У вас есть невеста?

— Есть.

— Как зовут?

Я сказал. Так мы «беседовали» часа два; он выходил, оставляя пистолет на столе, возвращался и опять уходил: это было психологическое давление. В конце концов я подписал протокол, в котором говорилось, что у меня есть невеста Ванда и что пистолет ТТ известен мне только по фильму; что я играл нападающим за спортклуб и так далее. Сегодня мне это кажется мало похожим на правду, но все было именно так. Подписывая протокол, я подумал: «Погоди, браток. Сейчас я узнаю, как тебя окрестили». Протокол, кроме допрашиваемого, подписывает и следователь. Моего звали Тадеуш Барвинский.

Арестовали меня несколько дней спустя за отказ сотрудничать с органами. Аргументация офицера милиции — на этот раз дело происходило во дворце Мостовских — была предельно проста: работая на предприятии, славящемся своим воровством, я не могу не знать, что там творится; отказываясь об этом сообщать, я пре-

пятствую выявлению фактов экономического саботажа и, следовательно, подлежу наказанию по статье такой-то… Вот тогда мне и было предложено снять ремешок, галстучек и шнурочки; поляки обожают смягчать разные выражения. Я тут ни при чем; лингвисты из органов у меня совета не спрашивали.

В тюрьме сидеть весело — конечно, если правильно к этому относиться. Кругом одни невиновные; то, что произошло, — ошибка, и в самом скором времени она будет исправлена. В тюрьме в Палермо я познакомился с человеком, который убил свою невесту и ее мать; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу. В Мюнхене я сидел с одним малым, который совершил семнадцать грабежей; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу. В тюрьме в Яффе я подружился с человеком, с момента возникновения государства Израиль занимавшимся контрабандой наркотиков; он рассчитывал через несколько дней выйти на свободу.

Жизнь не так уж плоха, если ты способен на безумные поступки. В Варшаве я был постоянным гостем отделения милиции на Беднарской, куда попадал за дебоши и пьяные драки. Вскоре у меня завелись среди милиционеров дружки, и

я спал не на «доске», а в дежурке, и утром меня доставляли домой. Из всех варшавских участков этот был самым приятным: в него свозили завсегдатаев «Камерального» и «Крокодила».

В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, во время Всемирного фестиваля молодежи, в Варшаву приехал театр «Бим-Бом» со Збышеком Цибульским. У входа в театр я встретил Ромека Полянского[11]: у Ромека был билет, но его не хотели впускать, потому что в зал набилось множество безбилетников и свободных мест не осталось. Полянский так долго требовал, чтобы его пропустили, размахивая перед носом у контролера своим билетом, что его в конце концов забрали два милиционера из отделения на Беднарской. Как на грех милиционеры были новенькие и меня не знали. Они увели Полянского, а я потащился за ними.

Ромека посадили под замок, а я пошел к своему сержанту, который обычно отбирал у меня шнурочки.

— Отпусти его, — сказал я.

— Это твой кореш?

— Да.

---

[11] Примечания: 11

Роман Полянский (Полански; род. в 1933 г.) — известный режиссер, ныне живущий и работающий на Западе.

Полянского выпустили; приобретя литр очищенной, мы с Ромеком, его девушкой и милиционерами, которые десять минут назад его зацапали, отправились на близлежащий пустырь, чтобы выпить за дружбу. Потом купили еще две бутылки; почему-то мне пришла охота декламировать «Апокалипсис». Милиционеры смотрели мне в рот, время от времени приговаривая:

— Потише, пан Марек, потише…

Их раздирали противоречивые чувства: ребята не прочь были развлечься, но не знали, разрешен ли текст «Апокалипсиса». Невиновных под поручительство алкоголика выпускают не каждый день, поэтому я так подробно об этом пишу.

Как я уже сказал, жить можно, если ты способен совершать безумные поступки. В Италии меня арестовали за стрельбу в общественном месте: рассвирепев, я порывался шлепнуть одного типа, заявившего, что без причины шесть миллионов людей не убивают — разговор шел о евреях. Назавтра следователь спросил у меня:

— Вы хотели его убить?

— Да, — сказал я. — И хотел поглядеть на итальянского судью, который посадит меня за то, что я пытался защитить память о шести миллионах

замученных.

Следователь посмотрел на меня долгим взглядом — и отдал мои вещи; опять посмотрел — и отдал пистолет. Чтение историй из жизни Наполеона может пригодиться даже в пустяшных делах. Не знаю, был ли мой итальянский судья двойником нашего Жецкого[12]; знаю только, что материалы дела он уничтожил.

Во дворце Мостовских я сидел недолго. Говорил себе: «Посидишь до конца следствия, потом получишь свой пятерик. За что — никто знать не будет, да это и неважно: вершители правосудия не разбираются, виноват ты или нет; главное — иметь виновного».

Я тогда еще не читал романа Кёстлера, где следователь ведет долгие задушевные беседы с человеком, которого хочет уничтожить. И не читал Оруэлла, у которого Большой Брат страдает расходящимся косоглазием; я даже Кривицкого[13] не читал. Книги можно писать, только если ты начисто потерял стыд; писательство — штука

---

[12] Примечания: 12

Один из героев романа Болеслава Пруса «Кукла».

[13] Примечания: 13

Вальтер Кривицкий — агент советской разведки, оставшийся на Западе после гражданской войны в Испании; в 40-е годы в США выпал из окна при невыясненных обстоятельствах. Автор книги «Я был агентом Сталина».

более интимная, чем постель; по крайней мере для меня. Commies потеряли стыд: когда Ежов убирал Ягоду, он заявил на собрании работников ГПУ, что, как ему стало известно, Ягода сотрудничал с охранкой. Никто не поднялся и не сказал: когда охранка перестала существовать, Ягоде было двенадцать лет. Среди чекистов наверняка были люди, дравшиеся с Колчаком, Деникиным и Пилсудским, но ни один из этих смельчаков не рискнул сказать, что дети, если им предоставить выбор: покататься на самокате или побеседовать с чиновниками, предпочтут все-таки первое. Commies потеряли стыд: они создали абсурдный мир, в который нельзя поверить. В этом их сила.

Тогда, во дворце Мостовских, я сказал себе: «Бальзак тебе не поможет, и Жеромский тоже — тебе поможет Лорд Листер». И стал осведомителем по кличке Ванда. Вандой звали мою девушку; я решил, что так будет забавней. Меня отпустили.

Я пошел на базу к своему диспетчеру.

— Переведи меня с Зеленяка, — сказал я.

— Почему?

— Не хочу ничего знать.

— На бойню пойдешь?

— Нет. Про бойню мне известно.

— На винно-водочный склад?

— То же самое.

Мы разговаривали наедине.

— Тебя что, ссучили? — спросил диспетчер.

— Да.

— Погоди, — сказал он. — Я тебя переведу на «опель-блиц 167». Его каждый день приволакивают из города на буксире. А ребят я предупрежу.

— Предупреди.

Мой «опель-блиц» ни разу меня не подвел; сразу же за воротами отказывало сцепление; на следующий день — карбюратор. Я поехал в мастерскую; мастер был в курсе дела — мы отдали карбюратор в ремонт. Ремонт продолжался месяц; потом полетел распредвал; потом опять сцепление; потом мотор стал жрать в три раза больше бензина, чем полагалось, — мы поставили машину на капремонт. Я слонялся по базе и ничего не знал и не видел.

Время от времени меня навещали двое, похожие на тихарей из фильма. Пожалуй, мне уже никогда не узнать, кто на кого похож: агенты из кинофильмов на оперов из жизни, или наоборот.

Когда я в Лондоне занимался бодибилдингом, мне случалось видеть тренировки профессиона-

лов. Помню двоих менеджеров, смахивавших на героев «Чемпиона» и «Золотого мальчика». Они щеголяли в котелках и жилетах и курили сигары; время от времени один говорил другому: «Harry is over the bill». И сплевывал; потом то же самое говорил другой.

Мои только и знали, что приговаривали: «Ой, смотри, как бы мы не рассердились»; ничего другого я от них не слышал. Потеха была — в жизни не влипал в более забавную историю!

Повторяю: главное — потерять стыд. Однажды помощник пригласил меня на именины своей сестры. Скучища была страшная; в разгар вечеринки мы увели патефон, вынесли его на лестницу, а потом, вернувшись, вместе с другими гостями занялись бесплодными поисками. Убеки перевели меня из ВПК в ГРТ, и там, окрыленный мыслью, что я — единственный в мире стукач à rebours[14], я занялся «литературным трудом». Про партийцев я сообщал, что они скрывают свою подлинную сущность и втайне мечтают о возрождении капитализма; про людей, неуважительно отзывавшихся о Хозяине, — что они подлинные патриоты, обожающие Зютека Сол-

[14] Примечания: 14
Наоборот, навыворот (*франц.*).

нышко, и так далее. Доносы я писал регулярно; написав, звонил в Главное управление и, назвав свою кличку, просил соединить меня с поручиком Янеком — одним из моих опекунов. Я здорово запудрил им мозги; опекуны так ничего и не поняли. Не моя вина — они сами того хотели.

В это время я уже вовсю начал писать — не только доносы. Как-то мне повстречался Тадек Мазур, случайно оказавшийся на свободе, и я с ним этой новостью поделился. Тадек велел показать, чего я там сочиняю, взял и понес своему «дяде»; «дядя» посоветовал написать что-нибудь подлиннее. Писать мне было негде; я попросил мать прибраться в кухне и за три ночи накатал роман в двести страниц. Это мое сочинение прочитал Богдан Чешко; я получил от него письмо. Чешко сообщил, что роман никуда не годится, но посоветовал продолжать попытки и сделал много полезных замечаний. Богдан был умница и замечательный человек — во всяком случае, по отношению ко мне. Письмо его я храню до сих пор. Он заметил, что я злоупотребляю нецензурными выражениями, и горячо порекомендовал от этого воздержаться. Потом мы с ним познакомились лично; Богдан был похож на медведя — двигался как сильный и опасный зверь. В

разговоре ему стоило большого труда вставить обычное слово. Помню, как он однажды сказал официантке: «Принесите, мать-перемать, стопку водяры. Душа, мать-перемать, горит, бля…» Это самый приличный образчик его речи; меня же он осуждал. Никто из нас, еще более-менее молодых, не умел писать таким прекрасным языком, как этот медведь; его «Реквием» я могу читать и перечитывать без конца. Он — единственный из писателей младшего поколения, который с самого начала обрел собственный голос и остался верен себе. Это не удалось ни Брыхту, ни Новаковскому, ни мне.

Между тем я переписал книгу Рыбакова «Водители», назвал «Соколовская база», поставил свою фамилию и отнес в Союз литераторов. Спустя некоторое время Неверли — он тогда опекал «Кружок молодых» — вызвал меня к себе. Неверли здорово мне помог; расспросил, как я живу, указал на недостатки «Базы» и дал совет — самый мудрый из тех, что мне доводилось слышать от братьев-писателей: «Если хотите что-нибудь написать, рассказывайте об этом. Всем. Неважно, будут вас понимать или не будут. Рассказывайте; всякий раз вам придется выстраивать свою историю от начала до конца; через

некоторое время вы поймете, какие элементы важны, а какие — нет. Главное, чтоб вы сами себе смогли рассказать». И я начал рассказывать; я рассказывал свои истории в Польше и в Израиле; рассказывал серьезным немцам и рассказывал Артуру Сандауэру, который то и дело перебивал меня вопросом: «К чему вы клоните?» Не знаю; в том-то и штука, что не знаю. Зато я знаю, что буду бежать всю дорогу — и ни на минуту не замолчу.

Вроцлав, Оборы, Остров Роз

Игорь Неверли выхлопотал для меня трехмесячную стипендию Союза польских литераторов; в Варшаве мне жить было негде, и я уехал во Вроцлав.

Неверли постоянно мне помогал. В то время он был на вершине славы: его роман «Под фригийской звездой» считался шедевром; недели не проходило, чтобы о нем не писали; перед ним заискивали; его посещали десятки людей, и времени для работы у него практически не оставалось. Неверли не зазнался; он отличался скромностью и не терпел подхалимов. Помню, я как-то сказал, что, по мне, его книга лучше, чем «Жизнь Матвея Кожемякина» Горького; Неверли возмутился: мои слова его покоробили. После долгого молчания он сказал: «Мне бы хотелось, чтобы моя книжка прожила хоть одну пятилетку, только и всего». Я знаю, что он говорил правду.

«Под фригийской звездой» — очень хорошая книга; я читал ее много раз. Не знаю, почему Неверли так мало пишет, — я уже двенадцать лет его не видел. При последней встрече он меня обругал; я вел себя безобразно, и он в конце концов

потерял терпение. Я всех выводил из себя, сам же многое приобретал. Это как в истории про двух евреев, решивших вместе заняться коммерцией; у одного были деньги, у другого — опыт, спустя некоторое время первый приобрел опыт, второй — деньги.

Неверли иногда рассказывал мне про себя; он как будто сошел со страниц Джека Лондона; переменил десятки профессий; одно время был секретарем Януша Корчака. Мне он постоянно внушал, что в моем случае самое опасное — слишком рано стать профессионалом. «Книжки, которые вы не прочли и которые необходимо прочесть, читайте по ночам, — говорил он. — И многому, без чего писателю не обойтись, научитесь — быстрее, чем думаете. Чужой опыт вам поможет. Только, ради бога, не становитесь профессионалом. Успеете; подождите лет до сорока. Посмотрите на всех этих молодых. Спросите у них, сколько стоит кило сахара; ни один не ответит. Зато они знают, что при строительстве домов применяется бетон. Но узнали это из других книг. И вообще, пишите поменьше. Занимайтесь чем хотите, только пишите как можно меньше».

Вернувшись через год из Вроцлава, я поделился с ним одним своим замыслом. Неверли посмот-

рел на меня и сказал: «Вы — больной человек». Не знаю, помнит ли он тот наш разговор; я помню.

Итак, я уехал во Вроцлав, где поселился у своего дяди. У меня была трехмесячная стипендия и немного денег, которые я получил в «Штандаре млодых» за «Соколовскую базу». Хорошее было время; наконец-то я был предоставлен сам себе, мог вволю читать, писать, ходить в театр, но… не знал, за что взяться в первую очередь. Садился писать — и вдруг решал, что должен читать, иначе я ничего не напишу; брался за книгу — но тут же вскакивал и бежал в город, подсматривать за людьми; разговаривал с людьми — и начинал терзаться, что трачу время на болтовню, — Господи, я думал, свихнусь. Хватался за Медведя-Чешко, а на следующий день — за Бальзака; бросал Достоевского, чтобы погрузиться в толковый словарь Линде; по ночам разыскивал загулявшего дядю и снова возвращался к своим книгам. Не знаю, сколько я их прочитал за тот год во Вроцлаве; наверное, несколько сотен. И с каждым днем понимал все меньше, и каждый день приходил в отчаяние от мысли, что никогда не прочту того, что необходимо прочесть. Однажды мне дали почитать Гомбровича, и тогда я окончательно спятил.

Гомбрович где-то в своих «Дневниках» замечает, что его творчество оценили слишком поздно; это неправда. Думаю, тут не обошлось без Сандауэра. Не знаю, что сказал или написал Сандауэр; зато знаю другое: Гомбровича обожали и молодые и старые. Взяв почитать «Фердидурку»[15], я вынужден был оставить в залог часы — владелец книги просто так ее отдать не рискнул; и правильно сделал. Попавший ко мне в пятьдесят третьем году экземпляр с подклеенными и захватанными страницами явно прошел через сотню рук. В таком же состоянии был добытый мной «Дневник времен возмужания». Купить эти книги было невозможно; их выпрашивали у знакомых на считанные дни, иногда на полдня. Гомбрович этого, естественно, знать не мог, но я тому живой свидетель.

Во Вроцлаве мне было неуютно; я — варшавянин, и вне Варшавы жизнь как-то не складывалась. На лесозаготовках со мной когда-то работали варшавяне, и я решил к ним съездить, чтоб хотя бы поговорить на настоящем варшавском арго, воспроизвести которое не может ни один польский актер, даже Дымша.

---

[15] Примечания: 15
Роман Витольда Гомбровича.

Ребят я нашел, но прием мне был оказан более чем прохладный. Я не мог понять почему; потом мне объяснили, что все дело в моей повестушке, опубликованной в «Штандаре млодых». В глазах бывших коллег я перестал быть работягой; хуже того — стал певцом надсмотрщиков за рабами. Некоторые, правда, держались со мной подчеркнуто любезно, но это были уже не те люди, с которыми я спал, ел и работал.

А ведь еще три года назад мы вместе переходили границу, чтобы немного подзаработать. С собой брали спирт и сало; из Чехословакии приносили чулки и дешевую бижутерию. Пограничная полоса была местами распахана, но выше, по горам, пройти не составляло труда — горы мы знали лучше, чем пограничники. Надо было только сунуть за пазуху парочку кошек; услыхав лай служебной собаки, выпускаешь кошку, и тогда собака — как бы ни была натаскана — бросается за ней. Кое-кто обматывал ноги тряпками, смоченными бензином, но это был ненадежный способ. Забавно, что чехи на нашу сторону никогда не переходили — боялись. Через некоторое время кто-то протрепался про нашу хитрость, и пограничники заинтересовались, с чего это вдруг в окрестностях появилось такое

множество любителей кошек. С тех пор путь в Чехословакию нам был заказан.

Вскоре, однако, ребята с соседней базы придумали другой способ переброски товара, получше. Вблизи границы поджигалась какая-нибудь хата, а поскольку польская пожарная команда находилась довольно далеко, поджигатели сломя голову бежали к пограничнику и сообщали ему о пожаре; тот вызывал по телефону чешскую команду. Чехи передавали свои чулки и побрякушки пожарным, а наши водители отваливали им спирт и сало, которого тогда в Чехословакии было не достать. Так, правда, сгорело десятка три хат, но, думаю, в итоге это себя оправдало. Подобную изобретательность я наблюдал в баварском исправительном заведении. Каждое воскресенье чуть свет в нашу камеру являлся Wachmeister[16] и спрашивал, кто хочет пойти на Gottesdienst[17]. Никогда раньше я не предполагал, что христианская вера так глубоко укоренилась в душах; желание пойти на службу изъявляли все: взломщики, вымогатели, брачные аферисты и сутенеры. Мы отправлялись в церковь, где

[16] Примечания: 16
Надзиратель (*нем.*).

[17] Примечания: 17
Богослужение (*нем.*).

производился товарообмен с ребятами из тюремного лазарета, — больные были лишены курева, а на прогулки не выходили, так что торговые операции удавалось совершать только во время богослужения.

Я вернулся во Вроцлав и снова сел за стол, пытаясь хоть что-нибудь написать. Единственными моими знакомыми в городе были Стефан Лось и Тадеуш Зеленай. Лося только что выпустили из тюрьмы; он просидел почти целый год, после чего ему сообщили, что вышла маленькая ошибочка, и отпустили. Вскоре он умер; разговорившись с одним врачом, я узнал, что причиной смерти было нечеловеческое обращение; для Лося, при его слабом здоровье, пребывание в тюрьме оказалось роковым. От самого Лося я так и не услышал, что ему довелось пережить; он знал меня с детства и все равно боялся сказать лишнее слово. Только мимоходом упомянул, что перед выходом из тюрьмы дал подписку держать язык за зубами: ему пригрозили, что, если будет болтать, снова попадет за решетку — на этот раз не по ошибке.

Однако от других я узнал, как мучили Лося. Конечно, никогда не известно, что в рассказах о пытках в тюрьме правда, а что вымысел, но ничего хорошего там, естественно, не было — недаром

все говорили, что офицеры бьют заключенных шомполами, плюют и мочатся им в лицо и так далее, не считая простых методов вроде избиения до полусмерти. Лося запирали в карцер, где, стоя по пояс в воде, он мог предаваться размышлениям и воспоминаниям о детстве; потом волокли на очередной допрос. Особый интерес к нему проявлял полковник Яцек Ружанский; до нашей последней встречи Лось ни разу прямо его не назвал — говорил: «брат пана Борейши»[18]. При упоминании одной фамилии Ружанского у него начиналась истерика.

Раз уж речь зашла о Лосе, скажу пару слов о полковнике Ружанском, с которым я познакомился два или три года спустя. Меня всегда занимали палачи; любопытно было поглядеть на людей, которые вырывают у других ногти и волосы и ломают ребра. Знакомые устроили мне встречу с Ружанским. У этого человека был вид фанатика; сам он явно об этом знал и вообще свою роль исполнял мастерски; если б мне захотелось сравнить его с каким-нибудь актером, я бы выбрал Марлона Брандо. Тот говорит очень медленно, невыразительно, словно бы мучаясь от необхо-

[18] Примечания: 18

Ежи Борейша (1905–1952) — польский публицист и общественный деятель.

димости произносить какие-то реплики, отчего создается обманчивое впечатление, будто он не заученный текст повторяет, а подыскивает собственные слова; так разговаривал и Ружанский. Мы к нему пришли втроем или вчетвером; Ружанский начал беседу.

— Что вы знаете о революции? — сказал Ружанский. — Вы много о ней пишете, есть несколько неплохих книг, но знаете очень мало. У меня в партизанском отряде был парень, которого я любил как сына. Храбрый, идейный, интеллигентный. После войны я взял его к себе в аппарат и дал звание майора. Однажды он допрашивал саботажника. Саботажник — тупой мужичонка — на допросе вел себя нагло и постоянно провоцировал следователя. Мой подопечный был на грани нервного срыва, потому что не спал уже несколько ночей, и в какой-то момент, не выдержав, съездил допрашиваемому по морде.

— Ну и что? — спросили мы.

— Пришлось дать ему пять лет, — сказал Ружанский. — Он был майором службы госбезопасности и не имел права на допросе бить человека. Но я не это хотел вам сказать. Знаете, сколько получил саботажник? Два года. Деревенский недоумок толком не понимал, что делает, и суд учел разные

смягчающие обстоятельства. А по отношению к сотруднику аппарата, который, будучи призван защищать конституцию, сам ее нарушает, ни о каких смягчающих обстоятельствах не могло быть и речи. Вот это — революция.

Потом Ружанский рассказал нам другой анекдот: как-то он вез из Лодзи в Варшаву арестантку — молодую женщину — и вынужден был по ее просьбе остановить машину, чтобы дама могла в одиночестве углубиться в лес. Полковник Ружанский спросил, готова ли она дать честное слово, что не попытается убежать, — иначе, сказал он, придется послать с ней конвоира, при котором ей будет неловко справлять нужду; молодая дама дала честное слово и действительно вернулась.

Помню, когда мы потом вышли на улицу, один из моих приятелей сказал:

— Сильный человек. Подумай: ее честное слово могло ему дорого обойтись…

— Ничего подобного, — перебил его кто-то. — Просто ей некуда было убежать.

Ружанский также рассказывал мне, что много лет жил с постоянным ощущением страха — он знал, сколько людей хочет его убить; это было в первые послевоенные годы, когда еще действовали остатки боровшихся с режимом политических

организаций. Чтобы превозмочь страх, Ружанский отказался от полагающейся ему личной охраны и каждый день ходил на работу пешком. Рассказ о саботажнике и несчастном майоре, как и рассказ о молодой даме, ценившей свое слово выше личной свободы, я запомнил, вероятно, лишь потому, что услышал их от человека, славившегося своей жестокостью даже среди сотрудников аппарата госбезопасности. Мысль посвятить ему несколько прочувствованных слов пришла мне в голову, когда я начал писать о Стефане Лосе, который до конца своих дней боялся произнести фамилию «Ружанский».

Лось был неудачником. Перед войной он написал дурацкую книжонку для юношества под названием «Погранзастава»; кажется, это была повесть о бравых пограничниках, охранявших наши рубежи от большевистских агентов. После войны его, естественно, не печатали, и бедняга голодал. Помню, его называли Кузеном Понсом: он всегда умудрялся приходить к знакомым в обеденное время. Люди помогали ему как могли. Тадеуш Шмидт, наш самый красивый киноактер, часто под разными предлогами зазывал его к себе, чтобы немножко подкормить; то же самое делали и другие. Только тюрьма избавила Лося

от необходимости добывать средства к существованию. Перед смертью, уже из больницы, Лось написал мне письмо; письмо это меня не застало, а когда я собрался ему ответить, выяснилось, что бедняги уже нет в живых.

Вторым пишущим человеком, с которым я познакомился во Вроцлаве, был Тадеуш Зеленай, чудак, при ходьбе как-то странно клонившийся влево. Помню, я от нечего делать пошел на чьи-то похороны, чтобы поглядеть, не бросится ли безутешная вдова в могильную яму вслед за любимым мужем. Мы стояли под дождем, слушая очередного оратора; вдруг прибежал запыхавшийся Зеленай и вручил ошарашенной вдове коробку шоколадных конфет. «Не мог достать цветов», — объяснил он. Несколько лет спустя, просматривая старые подшивки «Пшекруя», я наткнулся на подобный анекдот, так что по сей день не знаю, кто у кого украл сюжет.

Писалось мне во Вроцлаве неважно. Никогда раньше в моем распоряжении не было столько времени; я мог читать сколько влезет, но вскоре, помню, впал в отчаяние, усиливавшееся с каждым днем. Я понял: жизни моей не хватит прочитать все, что хотелось бы, — а стипендию мне дали только на три месяца. Но я решил не

сдаваться и перешел на систему overtime[19]; знакомые врачи снабжали меня таблетками бензедрина, чтобы я мог трудиться сутки напролет. Мне не хотелось являться к Неверли с пустыми руками — в таком случае пришлось бы возвращаться на работу, а это означало конец писательству.

Сейчас мне уже трудно сказать, какие из множества прочитанных книг произвели на меня впечатление, а какие нет. Беда была в том, что я не умел читать. В статьях, печатавшихся в старом «Одродзене» или «Кузнице», я половины не понимал, а обратиться за разъяснениями было не к кому — во Вроцлаве не существовало так называемой «среды». Я перерывал толковые словари, но и это не всегда помогало: часто, читая в журнале какую-нибудь статью, я вынужден был бросать ее на середине и углубляться в книгу, о которой автор вскользь упомянул в подтверждение своих умозаключений. В частности, я пытался уразуметь, в чем состоит проблема типического в литературе; кажется, в тогдашней Польше я был единственным дураком, старавшимся постичь суть этой проблемы. Кавычками я в данном слу-

---

[19] Примечания: 19
Сверхурочных (*англ.*).

чае не пользуюсь совершенно сознательно.

Поскольку тогда все талдычили о типическом в литературе и понять что-либо стало совсем уже невозможно, я решил подойти к вопросу по-своему: отправился в городскую библиотеку и отыскал все, что было написано о «Пепле и алмазе», рассчитывая узнать мнение разных мудрецов о моей любимой книге. И вот тут-то я вконец запутался.

Критики, как правило, рассыпались в похвалах, упрекая Анджеевского единственно за то, что образы коммунистов в его книге слабее, чем Мацека Хелмицкого и других отрицательных героев — тут я тоже сознательно обхожусь без кавычек. Помню, профессор Стефан Жулкевский написал: «Щука представлен нам самым стереотипным способом — как воплощение моральных устоев». Щука — усталый, лишенный иллюзий, не верящий в возможность скорой победы революции человек — не казался марксистским критикам правдивой фигурой.

Подобные упреки адресовались и Подгурскому, другому коммунисту из «Пепла и алмаза». Подгурский проигрывает свой первый поединок с новой действительностью; его система моральных и этических ценностей рушится при соприкосно-

вении с реальностью, и он не решается посадить в тюрьму человека, который в концлагере исполнял обязанности капо. Он пытается этого человека судить, но судить другого можно, лишь опираясь на собственный опыт, а Подгурский в концлагере не сидел. Не пережив того, что, безусловно, довелось пережить кумиру его молодости, он не решается отправить в тюрьму человека, на долю которого выпали непосильные испытания, и отпускает его. Это очень здорово, но именно за это критики-марксисты корили Анджеевского; я же тогда понял, что ум нельзя заменить представлением о том, как надлежит мыслить.

После войны все восхищались книгой Боровского[20] «Прощание с Марией». На меня эта книга тоже произвела сильное впечатление, но чего-то мне в ней доставало. Я долго гадал, чего именно, и сообразил только много лет спустя, когда случайно прочел письмо одного из наших лучших писателей к моему другу; писатель признался, что лично его в польской литературе о войне раз-

[20] Примечания: 20

Тадеуш Боровский (1922–1951) — польский писатель; покончил с собой, не выдержав столкновения с политической действительностью послевоенной Польши, к которой пытался приспособиться, приняв коммунистические идеи.

дражает отсутствие чувства зависти. Вот тогда я понял, чего мне не хватает у Боровского: чувства зависти в душе человека, которого бьют. И признания в том, что избиваемый предпочел бы быть бьющим. И желания битого самому бить других; об этом должны мечтать и хорошие битые, и плохие. Пятитомник Боровского просто необходимо прочесть всякому, кто в Польше пытается стать писателем; Боровский начинает как ангел гнева, а кончает как доносчик. Начинает со стремления показать правду, и только правду; заканчивает, называя фашистом, мерзавцем и певцом атомной бомбы и бактериологических войн Фолкнера, чьих книг, скорее всего, не читал, — того самого Фолкнера, главная тема которого — любовь к ближнему.

В 1954 году в Оборах состоялся Съезд молодых писателей, на который поехал и я. Что там происходило, помню смутно: кажется, опять без конца говорили о типическом в литературе; мы с моим приятелем Бернштейном в основном спали, причем по очереди: пять минут он, пять минут я, и будили друг друга. Со стороны все выглядело вполне пристойно; один, спрятав лицо в ладони, погружен в глубокую задумчивость; второй сидит неподвижно с вытаращенными глазами

— как кот, срущий в сечку, по выражению Швейка. Затем мы менялись: разбуженный начинал таращить глаза, а второй прятал лицо в ладонях. По окончании заседаний мы с Бернштейном отправлялись предаваться ночным утехам.

Была там девушка, фамилию которой я забыл; помню только, что она была потрясающе хороша собой.

Однажды она прочитала нам отрывок из своего романа о сотрудниках госбезопасности. Герои романа посредством долгих задушевных бесед убеждали вверенных их попечению заключенных, что те поступали неправильно, и заключенные с рыданьями бросались им на грудь, выражая раскаяние и обещая исправиться. Вот и все, что осталось у меня в памяти от того съезда; на чтении присутствовало много commies, но даже они смущенно помалкивали, а я, глядя на прелестное личико автора, думал: «Почему бы ей не быть просто шлюхой? Почему она должна еще и писать?»

Потом мы с Бернштейном поехали на Мазуры. Эдвард был красив, как молодой бог; читая «Бесы», я всегда его вспоминаю. Сам я всю жизнь заводился с пол-оборота, он же в любых обстоятельствах сохранял пугающее спокойствие.

Кроме того, обладая огромной физической силой, Эдвард был непобедим в драках; когда-то он занимался боксом. Если дело доходило до рукоприкладства, мой друг старательно, как фотограф — модель, выбирал себе противника и, выбрав, бил его в челюсть; повторять удар не приходилось — жертва мгновенно отключалась. Даже во время драки Бернштейн оставался абсолютно спокоен; на окружающих это наводило страх. Помню, однажды в Ожише пьяный оперативник, держа в левой руке пистолет, двинул меня в зубы; Эдвард, не обращая внимания на оружие, невозмутимо приблизился к нему и трахнул кулаком по черепу.

Эдвард был и остается моим лучшим другом. На Мазурах он пересказывал мне книги, о которых я, не зная тогда ни немецкого, ни английского, не имел представления. Мы жили в местности с живописным названием Остров Роз в обществе четверых рыбаков, уволенных из «Дальмора» за пьянство и драки. У одного были жена и ребенок, которого он решил окрестить; по этому случаю был закуплен великолепный поросенок и обещано пышное празднество. Мы все каждый день нетерпеливо проверяли, прибавляет ли поросенок в весе соответственно нашим аппетитам.

В то время с мясом было трудно; мы с Эдвардом кормились угрями, которых мой приятель умел отменно готовить. Днем мы слонялись по острову, иногда пытались писать; вечера проводили очень весело, так как ребята из «Дальмора» продукции спиртоводочной промышленности уделяли не меньше внимания, чем поросенку.

Не помню уже, у кого из нас — у меня или у Эдварда — родилась блестящая идея пригласить на крестины Вильгельма Маха; так или иначе, Мах написал, что приедет, и действительно явился на рассвете рокового — как пишут в романах — дня. Он лег отсыпаться после бессонной ночи, мы же все занялись поросенком, жизнь которого я в это самое утро оборвал страшным ударом ножа. Ребята из «Дальмора» здорово волновались; их ждала пьянка и женщины, общества которых они были лишены уже не один месяц. Тут необходимо добавить, что до ближайшего города было около двадцати километров и, естественно, излюбленной темой наших вечерних бесед и песен были женская подлость и коварство. Наконец прибыли гости, и среди них, правда всего одна, зато очень красивая девушка; ее усадили по правую руку от Вильгельма Маха, которого — вероятно, из-за его почтенной наружности — головорезы из «Даль-

мора» величали профессором. Следует пояснить, что Мах женщинами особо не интересовался, зато у него были сильно развиты родственные чувства; я имею в виду его «племянников». Во время пиршества лицо Маха то и дело искажалось гримасой страха и отвращения, и я догадался, что молодая дама активно им занялась. Заметили это и дальморские головорезы, которые точили зубы на эту самую даму; я услышал, что в разговоре то и дело проскакивает тема расправы с «профессором». И действительно: около полуночи начались боевые действия. Мы с Вильгельмом заперлись на чердаке, а дальморцы, вооруженные ножами для потрошения рыбы, носились по всему Острову Роз. Не знаю, что бы с нами было, если б не Бернштейн, который поначалу сохранял доброжелательный нейтралитет, но когда вопли бичей стали мешать его — как гениально сказал поэт — заслуженному отдыху, пробудился ото сна и с благородной непринужденностью уложил всех одного за другим. Назавтра перепуганный и постаревший лет на двадцать Мах покинул Остров Роз.

Потом я вернулся в Варшаву и потерял Эдварда из виду. Некоторое время спустя решил его разыскать, но Бернштейн, пребывая, как и я, в

состоянии перманентного конфликта с правоохранительными органами, постоянного адреса не имел, что затрудняло поиски. Однажды я встретил приятеля, который только что закончил киношколу и вступил в законный брак; он тоже был знаком с Эдвардом. Мы сидели на террасе кафе, где приятель условился встретиться с женой; выслушав меня, он сказал:

— Да его отыскать проще простого. Если услышишь от какой-нибудь дамы, что она прочла «Бесов» и пришла в восторг, значит, перед тобой подружка Эдварда. Через нее и узнаешь адрес.

Несколькими минутами позже к нам присоединилась жена приятеля. Не успел он нас познакомить, как юная особа сказала:

— Я сейчас читаю «Бесов». Вам нравится этот роман?

Я увидел, что лицо моего друга покрывается смертельной бледностью, и, поспешно расплатившись, ушел. Его идея была простой, но трудноосуществимой: круг почитательниц Достоевского оказался чересчур широк, и я не сумел напасть на след Бернштейна.

Тем временем меня опять навестили мои опекуны. Тщетно я им втолковывал, что живу один, донос могу написать только на самого себя и

охотно готов это сделать. Опекуны выслушали мой монолог и, сказав: «Ой, смотри, как бы мы не рассердились», — удалились. По сей день помню их унылые физиономии и запах прорезиненных плащей. Дня через два, возвращаясь домой, я снова увидел их, и песня замерла у меня на устах. Я отправился к одному из своих приятелей и, выложив ему все, попросил разрешения пожить несколько дней у него — авось что-нибудь вместе придумаем. Он согласился, его жена тоже не возражала. Он заварил чай, а она куда-то ушла. Я сидел напротив него и видел, как по его лицу катятся крупные капли пота. Внезапно он встал, взял меня за руку и вывел на лестничную площадку. Там он сказал, что жена пошла в милицию, и посоветовал поскорей уносить ноги. Я ответил, что слишком устал и убегать не намерен; пусть приходят, пусть забирают и пусть делают со мной что хотят. Тогда он постучался в соседнюю квартиру, впихнул меня туда и сказал какой-то заспанной девице:

«Спрячь его. За ним охотится милиция». И исчез; живущая в одиночестве соседка оказалась студенткой; по ночам под окошко к ней являлся жених, и начинались переговоры, затягивавшиеся до рассвета. Жених приезжал на мотоцикле

и, не слезая с седла и не выключая мотора, произносил длинные речи в классической манере, явно подражая Цицерону. То есть начинал с наиболее веских аргументов — любви и страсти, потом переходил на общечеловеческие темы, в чем, прямо скажем, был не очень силен, и снова возвращался к любви; затем, на заре, взывал к совести возлюбленной и заканчивал тем, с чего начинал, — любовью и страстью. При этом он время от времени начинал гонять двигатель на полную катушку, чтоб тот не заглох. К оратору присоединялись разбуженные оглушительным ревом соседи; одни давали ему добрые советы, другие предостерегали от женщин, третьи ругали последними словами и угрожали милицией; некоторые язвительно комментировали происходящее и сообщали несчастному жениху, как бы поступили на его месте. Постепенно в это драматическое действо вовлекался весь дом; в финале появлялись милиционеры, вызванные кем-нибудь из неспособных проникнуться трагизмом ситуации и желающих уснуть зрителей; жениха прогоняли, но на следующую ночь он возвращался. Так продолжалось довольно долго.

Эта история припомнилась мне несколько лет спустя, уже в Израиле. Живя в Тель-Авиве, я

иногда ходил в кино на улице Бен-Иегуда; там, в кинотеатре без крыши, показывали только фильмы с Эдди Константином. Сюжеты всех этих фильмов отличаются благородной простотой: Эдди Константин два часа бьет по мордам других актеров, причем, необходимо добавить, не кулаком, а открытой ладонью, что производит незабываемый акустический эффект. Поскольку Эдди еще и продюсер собственных фильмов, лупцевать несчастных актеров он может как хочет, отчего драма приобретает особую остроту и выразительность. В кинотеатре, названия которого я уже не помню, отсутствовала половина кресел: стоило кому-нибудь из зрителей, усомнившихся в правоте Эдди Константина, во время сеанса отпустить по его адресу парочку непочтительных замечаний, на него с кулаками набрасывались соседи. В тель-авивском кинотеатре зрители — подобно обитателям того варшавского дома — тоже включались в действие, давая актерам полезные советы или понося их за глупость. Никаким издевательством тут и не пахло — просто сидящим в зале хотелось принять участие в происходящих на экране событиях. Когда же, войдя в раж, они начинали отрывать от пола кресла и колотить ими друг друга по башке, хозяин ки-

нотеатра вырубал изображение, предоставляя бойцам возможность закончить схватку, после чего демонстрация фильма начиналась с начала. Хозяин, вероятно, тоже был поклонником бравого Константина и заботился о том, чтобы зритель ничего не упустил из разворачивающейся на его глазах драмы. Название фильма никого не интересовало. Перед входом в кинотеатр у билетера просто спрашивали: «Сколько трупов?» — и если количество покойников отвечало духовным запросам потенциального зрителя, он покупал билет. Потом этот кинотеатр сожгли; как мне рассказали тель-авивские друзья, там крутили фильм американского производства под названием «Барышня» — историю героической немки, американского военнопленного и мерзких советских офицеров, изображенных крайне выразительно: один из них, наигрывая на рояле душещипательные мелодии, отрывает руки от клавиш единственно ради того, чтобы метким выстрелом уложить очередного члена обалдевшей немецкой семьи, где одна из дочерей — вышеупомянутая барышня. Израильская публика сочла такую трактовку российской души чересчур упрощенной; кинотеатр спалили, а хозяина — сильно побив — пустили по миру.

Так закончилась история кинотеатра, билет в который стоил всего шестьдесят пиастров.

Наш жених со временем начал наводить на меня ужас — не меньший, чем мои унылые опекуны в пахнущих резиной плащах. Закончилась эта история, впрочем, так, как и должна была закончиться: жених по пьянке сверзился вместе со своим верным стальным рысаком с моста и, переломав руки и ноги, из темпераментного юноши превратился в жалкого инвалида. И в этом не было бы ничего страшного, если б я, в свою очередь, не стал потенциальным кандидатом в женихи — в результате так называемого естественного отбора. Тут я прошептал должное количество сокровенных слов и удалился в мне одному известном направлении.

Я понимал, что продолжать и дальше водить своих опекунов за нос не смогу, и содрогался при мысли, что они внимательно изучат мои доносы и не ограничатся исключительно анализом стиля. Поэтому я пошел к одному из моих пишущих знакомых, который, как мне было известно, когда-то работал в армейской информационной службе, и поделился с ним своими опасениями. Он от души посмеялся и обещал мне помочь. При этом он сказал:

— Не горюй, сынок. Говорят, юный Адась Мицкевич тоже писал доносы. Даниель Дефо был агентом полиции. То же самое рассказывают про Крашевского и даже про Боровского. Так что можешь смело продолжать в том же духе. Но если не хочешь, я тебе помогу.

Больше я их никогда не видел; в памяти остались лишь унылые физиономии и запах прорезиненных плащей, а также — по ассоциации — рев мотоцикла с полуночи до зари. Не уверен, благородно ли я поступаю, описывая своих опекунов столь поверхностно и без тени симпатии, — ведь они пробудили во мне творческое начало; порой, когда я сочинял доносы, воображение мое разыгрывалось и я вкладывал в уста своих жертв собственные высказывания, следя при этом, чтобы каждый говорил своим языком и не повторял чужих фраз. В литературе я не считаю это необходимым; в литературе главное — полет фантазии и абсурд; прекрасно, если герои говорят одинаково, цитируют друг друга и без конца талдычат одно и то же. Полицейский же донос, напротив, требует чисто классических формы и стиля, а также некоторой изысканности, каковая у начинающего писателя, возможно, и хороша, но у настоящего мастера раздражает. Работая в

жанре полицейского доноса, всегда актуального в польской литературе, надлежит заботиться о том, чтобы каждый из описываемых субъектов мог немудреными, только для него характерными высказываниями заслужить несколько лет лагерей строгого режима. Но и квиетизма следует избегать, дабы не вызвать подозрений у полицейского начальства. Иногда полезно вставлять топорные и тяжеловесные, по-мужски грубые фразы — это если дело тянет на большие сроки с лишением права курить. Пустяковые случаи — скажем, до двух лет тюрьмы — можно описывать в фельетонной манере, цитируя анекдоты и снабжая их собственными комментариями, но не забывая, что злоупотребление авторским текстом обедняет образ персонажа. Руководствуясь вышеизложенным, я написал несколько сот доносов, всякий раз радуясь, что я, вероятно, единственный в мире осведомитель à rebours. Сейчас, вспоминая своих опекунов, я начинаю испытывать к ним нечто вроде благодарности: они появились в моей жизни, когда я еще и не помышлял заниматься бумагомаранием, и если б не их недвусмысленные заманчивые обещания показать мне небо в крупную клетку, наверняка бы — вместо того, чтоб писать, — подрывал здо-

ровье в кабаках, рассказывая случайным друзьям и подругам историю своей загубленной жизни. Думаю, именно тогда — в силу необходимости, впоследствии превратившейся в потребность, — я полюбил немногословную и емкую форму. Это единственная польза, которую я извлек из своей секретной службы. За один день можно сменить тысячу полицейских и тысячу арестантов загнать за тысячу километров — и ничего. А вот если в твоей жизни наступит период в тысячу дней, когда ты не сумеешь написать ни строчки, — это беда. Если бы мой так называемый творческий багаж давал мне право поучать молодых, я б им сказал: каждый из вас должен какое-то время послужить тайной полиции, чтобы выработать стиль и научиться ясно мыслить. Книги надо писать, как доносы, помня, что непрофессионально написанный донос может в первую очередь погубить тебя самого.

От опекунов я избавился, однако ни денег, ни жилья по-прежнему не имел. Тогда я пошел в «Штандар млодых» к Юзеку Ленарту и попросил его заказать мне репортаж; получив от Ленарта аванс, я поехал куда-то под Вроцлав разыскивать молодую врачиху, которую год назад распределили в деревню; мне поручили описать ее жизнь

и оптимистическое мироощущение. Найдя нужную деревню, я принялся расспрашивать о пани доктор; к моему удивлению, местные жители, к которым я обращался, все до единого отвечали крайне странно, глядели на меня диким взором и вообще вели себя, как Офелия в сцене безумия. В конце концов объявилась врачиха. Я спросил, что с этими людьми, почему они смахивают на лунатиков. Юная докторша объяснила, что деревня заселена крестьянами из-за Буга, которые не сумели прижиться на чужбине и, снедаемые тоской по родной земле, впали в прострацию. Такое объяснение, хоть и подкрепленное историческими и психологическими мотивами, показалось мне далеким от истины. В конце концов, выпив с пани доктор немалую толику медицинского спирта, я добился правды: это была деревня морфинистов. Врачихе, зарабатывавшей гроши, на которые невозможно было прожить, пришла в голову гениальная в своей простоте идея: она приучила пациентов к морфию, и те платили ей мзду за каждую порцию наркотика, без которого уже не могли обойтись. Я спросил, что она станет делать, если ее идеей заинтересуется прокурор. Докторша ответила, что ей все опостылело и, если она узнает о грозящем аресте, большая доза

морфия вкупе с барбитуратами в два счета перенесет ее за грань, отделяющую жизнь от смерти. Репортаж не получился.

Следующая моя попытка преуспеть на этом поле деятельности тоже весьма странным образом провалилась. Меня послали в одно из государственных земледельческих хозяйств, где землепашцы основали любительский театр; душой этого театра была жена директора госхоза. Я поехал туда в субботу; в воскресенье должна была состояться премьера пьесы кого-то из наших классиков соцреализма. Содержания пьесы не помню; кажется, речь шла о конфликте двух трудяг: один работал на сверлильном станке, второй — на токарном; за всем этим таилась мысль о борьбе поколений. Никакие иные подробности в памяти не сохранились.

В госхоз я приехал вечером; директор мгновенно сообразил, что подвернулся случай достойно принять столичного гостя, и повел меня к герою-любовнику своего театра. Любовник как раз занимался приготовлением колбас из свиньи, которую накануне вместе с директором украл и зарезал. Мы скоротали вечер за дружеской беседой о высоких материях, наперебой произнося тосты и дегустируя колбасы, и завалились спать.

На следующий вечер все собрались в клубе. Опять же в честь гостя из Варшавы руководительница театрального коллектива велела местному тенору спеть что-нибудь перед спектаклем. На сцену выбежал молодой человек и заревел: «Я люблю тебя, Сан-Ремо, белый город у моря…» Зрители — крестьяне в ватниках — от изумления вытаращили глаза; я же от души веселился. Затем начался спектакль; когда главный герой — персонаж благородный и экзальтированный — произносил длинную тираду, прославлявшую токарные станки, дружбу с Советским Союзом и т. п., на сцену влетел какой-то тип и с криком: «Будешь знать, как е… Ядьку» — вонзил в грудь героя нож. У них был какой-то конфликт на любовной почве. Репортаж не был написан.

Я вернулся в Варшаву. В это время у меня уже был договор с издательством «Искры». Директор «Искр», Целина Мильская, зная, что я постоянно нищенствую, послала меня к Владиславу Броневскому, чтобы вместе с ним составить сборник стихотворений, адресованных молодежному читателю. «Искры» выпускали книги для молодежного читателя. И в данном случае я сознательно не употребляю кавычек. Конечно, можно было написать: «молодому читателю».

Но мне хочется сохранить язык того времени: странную смесь бытового жаргона, официальных коммюнике, языка партсобраний и уличного сленга. Я еще слишком молод и слишком мало значу, чтобы писать воспоминания. Я просто пишу о людях, которых знал и любил. Как я уже говорил, именно этим людям я хочу объяснить, почему не живу в Варшаве. Я им всем многим обязан; я не перестал их любить и забыть не могу. Хотя, быть может, напрасно; читая вчера ночью книгу Адольфа Рудницкого — одного из тех, кто мне помогал и которому я за многое благодарен, — я наткнулся на такую фразу: «Когда ровно два года назад один молодой человек «из нашего круга» уехал и в Париже принялся вешать на нас всех собак, я спросил себя: «Ему дадут больше денег, больше свободы, больше всего, но чем ему заменят среду? Откуда для него возьмут среду? И что он без среды станет делать?» Неужели речь шла обо мне? На кого же это я «вешал собак»? И даже если сказал, что хочу жить в такой стране, где братский порыв не оборачивается самоуничтожением, разве не о том же самом — и только о том — вопиют все книги Рудницкого? Или Рудницкий уже разучился думать?

Итак, я отправился к Владиславу Броневскому,

который тогда жил на Мокотове. Броневский отказался обсуждать состав сборника без предварительной заправки горючим; после напряженной внутренней борьбы я сдался. Странное дело: офицер легионов[21], беспартийный коммунист, узник наших раздражительных братьев, самый польский поэт, какого только можно вообразить, нуждался в коммунизме — правда, лишь по одной причине: он, Броневский, обожал о коммунизме писать. Остальное его не интересовало, и в конъюнктурности поэта никак нельзя было упрекнуть. При этом Броневский, как всякий уважающий себя шляхтич, бывал дерзок с властями; он сам мне рассказывал, как Берут однажды пригласил его в Бельведер и, взявши под руку, повел в сад, где внезапно сказал: «Товарищ Броневский, пора бы вам написать новый национальный гимн». Броневский послал его ко всем чертям, после чего сочинил стихотворение, в котором писал, что кланяется советской революции по-польски, в пояс.

Я уже плохо помню свое пребывание в доме

---

[21] Примечания: 21

Польские легионы — добровольческие воинские формирования, созданные для борьбы за восстановление независимости Польши (1914–1917); Броневский служил в легионах, а в 1920 г. принимал участие в войне с Советской Россией.

Броневского, но один трагический эпизод врезался в память.

В один прекрасный день Броневский решил бросить пить и засел за новые стихи, вначале дело у него пошло неплохо. Примерно через час позвонил кто-то из знакомых и поинтересовался, что слышно; Броневский сказал, что взялся за работу и надеется месяц-другой основательно потрудиться. На свою беду он сообщил, что не пьет; собеседник поздравил его, и на том разговор окончился; Броневский снова сел за письменный стол. Через пятнадцать минут опять раздался звонок; некто, узнавший от предыдущего собеседника поэта, что тот бросил пить, позвонил, чтоб его поздравить и попросить не отступаться от принятого решения; Броневский его поблагодарил и снова принялся за работу. Спустя десять минут новый звонок; новое предостережение и благодарность Броневского. На восьмой раз позвонил товарищ Якуб[22]; Броневский, бледный и трясущийся, пришел ко мне и сказал: «Беги за водкой». После чего рассказал, что в день смерти единственной любимой дочери его прямо с кладбища увезли в Вонещь, в лечебницу для

---

[22] Примечания: 22

Вероятно, тогдашний руководитель госбезопасности Якуб Берман.

алкоголиков — по распоряжению ЦК.

Нет лучше способа вогнать завязавшего алкоголика в запой, чем напоминать, что его ждет, если он снова начнет пить; знай об этом доброжелатели, они бы, возможно, воздержались от своих проклятых советов. Люди никак не поймут, что чувству благодарности сопутствует страшная ненависть. Я бы этого не написал, если б мне самому не отравили полжизни предостережениями и вмешательством в мои дела.

Итак, у Броневского начался запой, затянувшийся на много дней. Странный он был алкоголик; мог быть вдребезину пьян и едва держаться на ногах, но, стоило мне начать декламировать, например, «Милую улицу» и перепутать хотя бы одно слово, немедленно меня поправлял, причем довольно-таки резко. Мне жаль Броневского; люди его замучили; мучили, наверное, всю жизнь. Он был чудак; капитан легионеров, кавалер ордена Виртути Милитари гордился, что получил этот орден за борьбу с большевиками, которым кланялся в пояс. Узник сталинских тюрем, он, поинтересовавшись однажды моим мнением о Сталине и услышав в ответ, что мне трудно что-либо сказать, так как я боюсь бандитов, от которых некуда убежать, — пришел в ярость,

что едва не окончилось для меня трагически, о чем ниже. Неважно было, что Зютек Солнышко угробил сколько-то там миллионов и выстроил величайший в мире концлагерь, неважно было, что сам поэт сидел в советской тюрьме, — его возмутило, что я оскорбил человека, в честь которого он, Владислав Броневский, писал стихи. Дрожа от бешенства, он побежал наверх; через минуту вниз скатилась перепуганная домработница и посоветовала мне немедленно убираться, потому что пан Броневский пьян и звонит в Управление безопасности. Я схватил пальто и опрометью помчался куда глаза глядят.

После 1956 года этому, уже старому и больному, человеку хватило мужества подойти ко мне, сопляку, и сказать, что он просит у меня прощения. Не извиняется, а просит прощения. Мне стало неловко; мы пошли выпить по рюмочке, и опять Броневский вправлял мне мозги, пока мы оба не отключились и не уснули на одной постели, причем я спал, прижавшись к нему, как щенок. Я часто о нем думаю; я думал о нем, когда читал замечательное эссе Милоша о Галчинском. Неужели и Броневский был придворным поэтом? Мерошевский написал, что Броневский представления не имел о марксизме, диалектике,

экономике и политике. Коммунизм зачаровывал его своей живописностью — мчавшиеся на него в двадцатом году орды Тухачевского, печи Магнитогорска, электростанции на Волге, Беломорканал, на строительстве которого полегло неведомо сколько тысяч; сибирские батальоны, идущие на выручку Москве, речи генералиссимуса Сталина, когда тот своим хрипловатым голосом призывал советский народ к священной войне за родину, — вот такой коммунизм увлекал Броневского. До всего прочего ему не было дела; он даже простил коммунистам свое пребывание в тюрьме, поскольку мог писать о коммунизме стихи. По счастью, ночные звонки Броневского никто не воспринимал всерьез; иначе для меня это могло бы кончиться весьма печально.

Но ведь если разобраться — я такой же поляк, как он. Думать о нем иначе как хорошо я не смогу; перестать читать его стихи не смогу; и любить их тоже не перестану. А думая о Броневском, я всегда вспоминаю гениальную сцену смерти из «Войны и мира», когда один человек умирает, а другой спрашивает: «Где он теперь?» Я тоже себя спрашиваю: где он теперь? Где этот коммунист, ненавидевший партию; этот большевик, получивший орден за доблесть, проявленную

в войне с другими большевиками; этот сталинский узник, который хотел посадить человека за то, что тот оскорбил его мучителя; этот великий несчастный поэт и добрый человек — где он теперь? Существует ли для нас, людей, такое место, где — как в известной негритянской песне — встретимся мы все: чистые, добрые, не таящие гнева? А если встретимся, то о чем Владислав Броневский будет писать и во что верить?

Репортер самой смелой польской газеты

Не помню уж, как я прибился к группе «Po prostu». Стараясь сегодня понять, каким образом я стал сотрудником этой газеты и как вообще туда попал, я нахожу лишь одно логическое объяснение. На первом этаже здания, в котором помещалась редакция самого смелого по тем временам польского еженедельника, был бар «Йонтек». Вероятно, однажды я ошибся и случайно зашел в редакцию «Po prostu» с намерением заказать большую рюмку водки и селедочку по-японски. Решительно не понимаю, почему меня сразу же без лишних слов оттуда не выгнали. Правда, это случилось несколькими месяцами позже, так что композиционный рисунок моей судьбы не был нарушен.

Бар «Йонтек» особой популярностью не пользовался: в то время было принято ходить в «Камеральный». Этот безукоризненно спланированный ресторан состоял из трех залов: первый дневной «Камеральный», второй дневной «Камеральный» и ночной «Камеральный».

Гениальность гастрономически-архитектурного решения заключалась в том, что пить можно было начинать во втором «Камеральном» уже с раннего утра; затем вы могли пообедать в первом «Камеральном», просидеть там за рюмкой до вечера, пока не открывался ночной зал, и уж там в приятной компании гудеть до рассвета. Дневные залы были доступны любой шантрапе; в ночном же «Камеральном» соблюдался строгий этикет — туда пускали только при наличии галстука и пиджака. Перед тем клиент мог сутки провалять-ся на свалке — это никого не смущало, лишь бы он был при галстуке. Поскольку постоянного жилья у меня тогда не было, а отдельные части своего туалета я вечно терял в результате стычек с другими жителями столицы, мне пришла в голову гениальная в своей простоте идея: я приобрел в универмаге вельветовый пиджак и галстук и хранил их в гардеробе ночного «Камерального». Благодаря этому по прибытии в ресторан я мгновенно превращался из грязного оборванца в подающего надежды интеллигентного юношу и точно на крыльях влетал в зал.

О соблюдении порядка и норм общественного поведения пеклись гардеробщики и метрдотель. Помню, как-то после жуткой драки, когда порядок

был уже восстановлен и с паркета сметены выбитые зубы, в зал вошел метрдотель и, патетически воздев десницу, воскликнул: «Господа! Всеобщий мир и спокойствие», после чего сарматы продолжили веселье. Если кому-нибудь случалось развеселиться сверх меры и, дабы утихомирить бузотера, вызывалась милиция, ему запрещали некоторое время показываться в «Камеральном»; срок устанавливался совместно метрдотелем и гардеробщиками; наказание считалось исключительно суровым. Однажды, зайдя в «Камеру», я увидел такую картину: два моих приятеля, Анджей Роман и Павел Минкевич, тащили через зал к бару чье-то бесчувственное тело, крича: «Посторонись, мы несем сейф». «Сейфом» оказался преждевременно отрубившийся Юрек Цукровский; господа Роман и Минкевич волокли его в бар, так как правила хорошего тона не позволяли в поисках денег рыться в карманах опрометчиво посулившего за них заплатить собутыльника. Другой мой приятель, многообещающий алкоголик Войцех Фрыковский, как-то разгневался на нерасторопного официанта и, чтобы вывести из спячки, запустил в него огурцом, но, поскольку градус, под которым находился Фрыковский, исключал точность попадания, огурец угодил

в бармена, почтенного старца в очках, а затем, отскочив от очков, попал в клиента, отравлявшего в одиночестве свой организм у стойки бара; последний, не дожидаясь объяснений, саданул бармена по черепу, что послужило сигналом к общей драке под лозунгом «Все против всех». Я как раз был в гардеробе, когда туда влетел бармен.

— Три рации с бананами! — крикнул он гардеробщику. Гардеробщик бросился в зал и обвел дерущихся взглядом профессионала.

— Двух с бананами хватит, — заявил он, вернувшись в раздевалку, и стал звонить в милицию.

Заинтересовавшись специальной, прежде не знакомой мне терминологией, я обратился к гардеробщику за разъяснениями, которые незамедлительно получил. Так вот: степень «разогрева» клиентов исчислялась в милицейских автомобилях с радиоустановкой, а что такое «банан», нетрудно догадаться. При небольшой драке вызывали одну машину; при более серьезной — две; верхний предел еще не установлен и может послужить объектом глубокого научного исследования.

Самым симпатичным из гардеробщиков был пан Метек — устрашающей наружности великан, который никогда не бил клиентов по голове и не

раздавал зуботычин, а лишь сгонял всех в кучу и с силой торнадо выбрасывал за порог, так что несчастные прилипали к ограде на противоположной стороне улицы Фоксаль — ранее улицы Югославской Молодежи, а еще раньше — Перацкого. Другие гардеробщики вышвыривали вслед за клиентами их пальто, шляпы и трости, а также прочие атрибуты мужской элегантности, посылая вдогонку пожелания доброй ночи или приговаривая: «Вы уже устали, пан редактор».

Судьба обошлась с паном Метеком незаслуженно жестоко. Помню, я возвращался с похорон президента Польской Народной Республики Болеслава Берута. Зрелище было впечатляющее. Товарища Томаша везли с аэродрома Окенче, и вдоль всей трассы собрались толпы людей, жаждавших проводить в последний путь любимого Хозяина и великого Мыслителя. На улицах, разумеется, был жуткий бардак, и гроб с телом застрял где-то по дороге. Пьяные настойчиво интересовались: «Покойник еще не проезжал?» Или: «Что там с телом? Не остыло, что ль?» Другие их успокаивали: «Стынет, стынет». Наконец покойник проехал и безутешные граждане разошлись по домам. Тут мне и повстречался пан Метек. Вид у него был подавленный. Я выразил

ему свои соболезнования; он мне — свои. Я спросил, не объясняется ли печаль на его лице тем, что многоуважаемый товарищ Томаш почил в бозе; оказалось, однако, что у пана Метека есть и другие основания для скорби: его выгнали из «Камеры».

— Чересчур я был с вами добр, — добавил бедняга. И в доказательство поведал, что, немного рассердившись, стукнул одного настырного клиента ключом по макушке; клиента пришлось везти в больницу, где на его голове обнаружили двенадцать рваных ран. Для ясности надо сказать, что на дверях ночной «Камеры» висел огромный кованый замок, что же касается ключа, рекомендую вспомнить святого Петра, который, как нам известно по легендам и картинам, держит в руке громадных размеров французский ключ, вроде тех, какими пользуются сантехники; правда, в кругах религиозных фанатиков его называют «ключом от Царствия Небесного».

«Камеру» в свое время описал Польдек Тырманд[23], и ничего больше добавлять не стоит. Я провел там много прекрасных дней и ночей;

---

[23] Примечания: 23

Леопольд Тырманд (1920–1985) — польский писатель, автор нашумевшего в свое время детективного романа «Злой», вышедшего на русском языке в издательстве «Радуга»; в 1965 г. эмигрировал на Запад

долгие годы я искал подобное заведение по всему свету и не мог найти. В Яффе, например, был ресторан, где царила полная темнота и куда мужчин впускали только в сопровождении дам; напрасно я втолковывал швейцару, что одинок и моя эротическая практика сводится к робким попыткам онанизма, заканчивающимся полным фиаско. Меня не впустили. В немецких ночных кабаках чертовски скучно; в Цюрихе есть только один ночной ресторан, который в двенадцать часов закрывается. Наконец, после многолетних стараний, мне удалось заполнить мучительную пустоту: в Париже на rue de l'Odessa я открыл заведение под названием «La Boheme». Не успел я туда войти, впервые в жизни трезвый как стеклышко, и, одержимый желанием поскорей напиться до бесчувствия, направился к бару, как мне дал кулаком в зубы какой-то пьяный ирландец, принявший меня за своего брата-близнеца, с которым он перед тем повздорил. В этом не было бы ничего странного, если б не одна деталь: я — худой шатен с меланхолическим взглядом, а ирландец был рыжий, маленький и толстый. Владелец ресторана Тони объяснил мне, что произошло недоразумение, и посоветовал не обращать внимания. Это удивительное заведение:

когда я последний раз ввалился туда, весь залитый кровью, мой вид никого не шокировал: меня просто отвели на кухню и дали наркоз в виде доброго глотка «Tony Special» — напитка, представляющего собой смесь чистого спирта с сухим мартини. Затем официант Джек, к моему величайшему изумлению, извлек откуда-то огромную коробку с ланцетами, ножницами, скобками и нитками для швов. С профессиональной ловкостью омыв руки водкой, которую он потом налил обратно в бутылку, Джек зашил мои раны, наложил кое-где скобки, а затем скучным голосом велел прийти через шесть дней — снимать швы. Я хотел спросить, где он приобрел медицинские познания, но не успел: в кухню внесли человека с ножом в ляжке, и Джек живо принялся за дело.

Ресторан посещали в основном американские солдаты, доходы которых не соответствовали их аппетитам. Тони изобрел оригинальный способ контроля: каждому заплатившему за вход ставилась на лапу печать. Но и это не очень-то помогало: чернокожие хитрецы, чтоб погулять «на халяву», по два-три дня не мыли рук; тогда Тони заказал несколько дюжин фосфоресцирующих штемпелей, отпечатки которых можно было увидеть только в свете люминесцентной лампы,

и менял их каждый вечер. С тех пор всякий гость на пороге зала попадал в объятия громадного негра, подносившего его руку к вышеупомянутой лампе: если штамп оказывался действительным, клиента впускали; если нет — негр вышвыривал его пинком в зад. Будь сейчас жив наш великий поэт Мицкевич, ему было б над чем поразмыслить на парижских мостовых: скорее всего, он бы просто носился целый день по городу в надежде раздобыть пару грошей, чтобы провести упоительный вечер в «La Boheme».

Не знаю, почему я так много написал о «Камере» и о «La Boheme». Вероятно, со мной происходит то же, что с неким сидящим на последней парте учеником, которому во всем мерещится задница. Анекдот старый, но, помня о том, что «Культуру»[24] читает вступающая в жизнь молодежь, я привожу его полностью, чтобы объяснить, почему так далеко отклонился от истории самой смелой и бескомпромиссной газеты в Польше. Делаю я это исключительно ради молодого читателя; люди, умудренные опытом, могут эту страничку пропустить.

Школа. Учитель определяет уровень развития

---

[24] Примечания: 24

«Красивые, двадцатилетние» печатались в парижском эмигрантском журнале «Культура».

своих учеников. Достает из кармана белый носовой платок.

Учитель. Ковальский, с чем у тебя ассоциируется этот платок?

Ковальский. С дымом костров и туманами.

Учитель. Почему?

Ковальский. Потому что осенью у меня всегда насморк, а туманы и дым над пастушьими кострами мы видим чаще всего осенью.

Учитель. Отлично, Ковальский, тебя ждет большое будущее. Садись. (Следующему) Раппопорт. С чем у тебя ассоциируется этот платок?

Раппопорт. С каникулами.

Учитель. Почему?

Раппопорт. Потому что, когда я уезжаю в лагерь католической молодежи, мама всегда стоит на перроне и машет белым платочком.

Учитель. Отлично, Раппопорт, тебя ждет большое будущее. (Следующему.): Сешпутовский, а ты о чем думаешь, когда смотришь на этот платок?

С последней парты поднимается мрачный прыщавый верзила. Видно, что, несмотря на искренние старания, ему не удается закончить один класс быстрее, чем за три года. Камера наезжает на лицо Сешпутовского. Крупный план. На лице несчастного верзилы отражается напряженная

работа мысли.

Сешпутовский (выдавливает из себя ко всеобщему удовольствию). О жопе, господин учитель.

Крупным планом учитель.

Учитель. О жопе? Это еще почему?

Крупным планом Сешпутовский.

Сешпутовский (победоносно). Потому что я всегда о ней думаю.

Так и со мной: о чем бы я ни начинал писать, всегда сворачиваю на выпивку.

Впервые редакция «Po prostu» заказала мне репортаж, когда я еще не состоял в штате, а жил «на вольных хлебах». Меня послали в Люблин: двое подростков из местного интерната убили и ограбили своего воспитателя, забрав у него вещей на сумму около трехсот злотых. Оба были несовершеннолетние; к ним нельзя было применить высшую меру. Я просмотрел материалы дела: ребята дисциплину не нарушали, учились неплохо и, пользуясь расположением воспитателя, свободно заходили к нему по вечерам — старый человек полюбил этих мальчишек. Необходимо добавить, что он не был педерастом, — просто одинокому старику приятно было проводить время со своими питомцами. Беседуя с защитником подростков, я специально поинтересовался, не

было ли там шантажа на почве гомосексуализма; нет, заявил адвокат, однозначно установлено, что воспитатель — человек совершенно нормальный — в прошлом в гомосексуальных связях не был замечен. Оба подростка показали, что он никогда не пытался с ними сблизиться в мочеполовом смысле (гениальное определение великого Веха[25]); они даже толком не знали, что такое гомосексуализм, и никак не могли сформулировать, в чем состоят эротические отношения мужчины с мужчиной.

На вопрос следователя, как они собирались потратить украденные деньги, оба заявили, что заранее об этом не думали. Им захотелось совершить некий поступок, в детективных романах именуемый «идеальным убийством». На повторный вопрос следователя, для чего им понадобились деньги, ребята ответили, что хотели пойти в кино и выпить две бутылки отечественного вина. На вопрос, не лучше ли было б, зная о хорошем отношении к ним воспитателя, просто попросить у него денег, оба ответили, что им это не пришло в голову. Больше никаких материалов

[25] Примечания: 25

Вех (Стефан Вехицкий; 1896–1975) — польский писатель, автор популярных книг, в которых он запечатлел язык и нравы жителей варшавских предместий.

я не получил: по неизвестной причине мне не выдали протокола очной ставки. Но показания каждого из ребят я видел, и меня поразил именно этот пункт: почему, зная, как воспитатель к ним относится, они не обратились к нему с просьбой, а убили.

Защитник — человек чрезвычайно занятой — не смог мне уделить много времени. Я позвонил знакомому юристу, молодому и толковому; мы встретились в кафе на Краковском Пшедместье. Я спросил: почему они убили? Почему не попросили денег? Он ответил, что, как юрист, может только сказать, виновны они или невиновны. Но, добавил, роль юриста и в особенности адвоката на процессе уже много лет — чистая фикция, разве что попадется бракоразводное дело. Раз подростки убили своего воспитателя, а не обратились к нему с просьбой, значит, в них прочно укоренилось представление о всесилии зла; любовь и доброта одинокого человека не смогли заслонить запечатлевшейся в их умах картины коррупции, политических убийств, советской оккупации, пьянства, воровства, проституции, разврата. Весы Фемиды выверяются с помощью выдолбленных внутри гирь — изобретения смекалистых продавцов из городской розничной

торговли. И еще одно сказал мне юрист: мы не можем требовать от молодых людей высокой нравственности, потому что не учили их мыслить, а лишь вдалбливали, как надо мыслить. Мы обещали им повышение жизненного уровня — а они видят растущее обнищание народа. Обещали соблюдение законности — а сами осудили епископа Качмарека[26], в невиновности которого никто в Польше не сомневается. Обещали свободу слова и мысли — а продемонстрировали советские танки, вошедшие в Берлин, когда доведенные до отчаяния немцы поднялись на свою защиту. Почему же мы должны требовать от них веры в любовь отдельного, одинокого и бескорыстного, человека? Нелегко быть праведником в Гоморре.

Я спросил у юриста: будь он защитником мальчишек — коснулся ли бы в своей речи на суде того, о чем сказал мне? «Разумеется, — ответил он, — но только в одном случае». — «В каком?» — задал я дурацкий вопрос. — «Если бы дело рассматривалось международным судом в Гааге».

Два года спустя бестселлером в Польше стала

---

[26] Примечания: 26

Ч. Качмарек — келецкий епископ, на показательном процессе в сентябре 1953 г. «признавший» себя виновным в том, что якобы в годы оккупации сотрудничал с гитлеровцами; был осужден на 12 лет тюремного заключения.

книга Леопольда Тырманда «Злой». Тырманд, точно воспроизведя атмосферу варшавских улиц, притонов и кабаков, погубил свою книжку, героизировав понятие преступления в Польше. Персонажи его романа стреляют друг в друга из пистолетов, устраивают гонки с преследованием на автомобилях, объединяются в банды, создают тайную организацию и так далее. У Тырманда они — преступники высокого класса, на самом же деле польская преступность на такой класс не тянет. Убийство из-за какой-то сотни злотых; пьяная драка за место в очереди перед кинотеатром; кража пары ботинок; мелкие хищения в государственной торговой сети — судите сами, каков он, уровень нашей преступности. Со временем, правда, ситуация несколько изменилась к лучшему: я имею в виду высокопрофессиональные аферы — «мясную», «кожевенную» и «текстильную». Но что поделаешь: любимый актер Тырманда — Хэмфри Богарт. Как и мой.

Я вернулся в Варшаву и попытался написать репортаж. Две трети из него выбросили. Сокращал репортаж Лясота. Сейчас, когда я это пишу, Лясота уже не главный редактор «Po prostu» и не депутат сейма Польской Народной Республики; я ему сочувствую. Он всего боялся — таких

перепуганных в редакции больше не было. Его неожиданно избрали в сейм (добивались этого студенты); он стал самым популярным — после Дымши — человеком в Польше; но он был трус. Газету делала Ханка Братковская; жалкий листок, каким был «Po prostu» до конца пятьдесят пятого года, она превратила в самую читаемую и любимую поляками газету. Когда я начал работать в «Po prostu» и выклянчил для своего отдела прозы у красавицы Миры Михаловской ее перевод одного из лучших рассказов Хемингуэя «Там, где чисто, светло», Лясота велел напечатать его на последней странице. Когда я написал рассказ «Первый шаг в облаках», Лясота выгнал меня взашей; я пошел к Вилеку Маху, и Мах всунул «Первый шаг» в «Нову культуру». Сразу же после публикации на меня как фурия набросилась Братковская:

— Что ж ты, скотина, печатаешь свой лучший рассказ в «Культуре», а не в «Po prostu»! Почему?

— Там сидит твой непосредственный начальник, а мой главный редактор, — сказал я, указывая на дверь кабинета Лясоты. — Он тебе объяснит почему.

Братковская устроила Лясоте дикий скандал; толку от этого было, к сожалению, мало. Привожу

пример. В Варшаву приехал со второй программой театр «Бим-Бом», руководимый Кобелей и Цибульским. Первая программа была прелестная; вторая — идиотская. Кто-то входил и говорил: «Ничего». Потом убегал; входил другой человек, говорил: «Ничего» и тоже убегал. Становилось то темно, то светло. Взрывалась атомная бомба. Лопались какие-то воздушные шары, и это должно было у нас ассоциироваться с разбитыми мечтами, хотя каждому известно, что лопнувшая резина ассоциируется прежде всего с большими расходами на врача, перспективой всю жизнь платить алименты и чудовищным скандалом с женой. Потом появился какой-то ангел и заиграл на балалайке. Потом примчался дьявол, вырвал у ангела балалайку и начал стрелять из пугача. Потом какой-то чокнутый велосипедист проехал по сцене; не успел этот псих скрыться, как из-за кулис выпорхнула Зискиндша и стала щебетать, что весны уже никогда не будет. А потом все защебетали, что вообще уже ничего не будет. И так до бесконечности. Я написал об этом статью, и Лясота вышвырнул меня за дверь. Другим спектакль понравился — и нашему главному редактору тоже, хотя на представлении он не был. То, что нравилось большинству, нравилось и Лясоте.

Еще один раз мне представился случай блеснуть в роли судебного хроникера — финал не отличался от прежних. Я поехал на суд над неким Владеком Мазуркевичем; Мазуркевич приглашал разных людей выпить с ним и покататься на автомобиле, однако не расставался с новыми друзьями на заре, облобызавшись, а всаживал им пулю в затылок. Судебный процесс проходил весьма своеобразно: Мазуркевич — стукач и провокатор — работал на УБ, и свидетели не осмеливались рта раскрыть. Все знали, что пан Владек — убийца, но считали, что он действовал по указке своих хозяев. (Нельзя забывать, что судили Мазуркевича еще до Октября[27]) Процесс смахивал на фарс: свидетели боялись говорить; прокурор ловко обходил острые углы; дряхлый адвокат Мазуркевича выстраивал линию защиты исходя из посылки, что его клиент — прирожденный убийца, патологическая личность с преступными наклонностями, — и полностью игнорировал факт, что, при всей своей якобы ненормальности, у того хватало ума присваивать принадлежавшие жертвам драгоценности; убитых он заливал бетоном у себя в гараже.

[27] Примечания: 27

Имеется в виду октябрь 1956 года — возвращение к власти Гомулки, начало польской «оттепели».

Процесс был позорищем: запуганные свидетели молчали, а Мазуркевич прозрачно намекал на свое сотрудничество с УБ; подобное немыслимо в государстве, где полиция сохраняет хотя бы видимость приличий. Это был суд не над Мазуркевичем, а над всем городом. Адвокат, которого я упросил дать интервью, принялся объяснять, что у Мазуркевича так называемое расходящееся косоглазие, неоспоримо свидетельствующее о врожденном характере его преступных наклонностей, и что Мазуркевич в этом не виноват.

Старец нес чепуху, а я слушал. Вдруг лицо адвоката покрылось мертвенной бледностью.

— Пан адвокат, что с вами?! — воскликнул я. — Принести воды?

— У вас тоже расходящееся косоглазие? — промямлил он и поспешно со мной распрощался. Я написал статью «Процесс против города»; Лясота вышвырнул меня вон.

В конце пятьдесят пятого года великий сын Варшавы Казимеж Брандыс опубликовал рассказ под названием «Прежде чем его забудут». Речь шла о Чеславе Милоше[28], который изменил родине и остался на Западе. Казимеж Брандыс не

---

[28] Примечания: 28

Чеслав Милош (1911–2004) — польский поэт, прозаик, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г. В 1951 г. остался на Западе.

разочаровал своих читателей: этот рассказ был на уровне всех его предыдущих дурацких творений.

Однако спустя несколько месяцев с Брандысом произошла метаморфоза, и он написал рассказ «Оборона Гренады». Дескать, плохо, конечно, но будет лучше. Плохо было потому, что так должно было быть; но впереди — всеобщий мир и согласие. И на этот раз Брандыс не удивил читателей и не обманул их ожиданий. Эпос Брандыса мастерски разгромил Артур Сандауэр, человек, лишенный иллюзий, который фактически высмеял это произведение, отнеся его к жанру «героического оппортунизма». Примерно тогда же в редакцию пришел пан Перельман и предложил Лясоте опубликовать «Оборону Гренады» на вкладке и затем устроить обсуждение в молодежном клубе «Кшиве коло», который редакция «Po prostu» опекала. Лясота, пребывавший тогда в эйфорическом состоянии, не раздумывая согласился. Узнав про это, я рассвирепел и отправился к Лясоте.

— Лилек, — сказал я. — Гони Перельмана в шею вместе с говенной «Обороной». Нельзя допускать на наши страницы такие вещи. Мы должны печатать или дебютантов, в которых верим, или писателей, которые не скурвились. Не надо себя

обманывать. Нехорошо, конечно, когда такой поэт, как Милош, покидает отечество. Но этот-то — метаморфоза, видите ли, с ним произошла! Долой Брандыса.

Лясота и слушать меня не стал: «Гренаду» напечатали и устроили обсуждение. После этой истории я потерял интерес к «Po prostu». Правда, еще одну попытку я сделал: написал статью о Достоевском; Лясота меня выгнал. Я решил ему насолить и отнес Достоевского в «Трибуну люду», где статью напечатали и даже заплатили гонорар. Лясота, депутат сейма, редактор газеты, которая была и остается своего рода символом, побоялся публиковать то, что охотно опубликовала «Трибуна люду» — орган Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии. Лясоте статья показалась опасной; у Сташека Бродского она прошла без задоринки.

Хорошо ли писать так о Лясоте именно сейчас, когда он уже не главный редактор «Po prostu» и не депутат сейма? Не знаю: я пишу не о сегодняшнем, а о прежнем Лясоте. Помню, как-то я присутствовал при разговоре американских юристов; речь шла о том, надо ли отправлять на электрический стул одного субъекта по имени Сирил Чесмен. Аргумент против смертной казни

звучал так: человек, просидевший двенадцать лет в тюрьме, изменился и даже если не может стать полноправным гражданином общества, жизнь ему надо сохранить. Контраргумент был прост: приговор надлежит привести в исполнение — Чесмена казнят не за то, каков он теперь, а за то, каким он был прежде. Лясота был трусом.

Могла ли «Po prostu» оставаться популярной, смелой и правдивой газетой? Не вижу необходимости отвечать на этот вопрос. Польша — оккупированная страна; думая о Польше, стараясь ей помочь, нельзя ни на минуту об этом забывать — если ты настоящий поляк, а не круглый идиот или тюремщик. Конечно же, «Po prostu» не могла сохранить лицо, и никак нельзя за это винить хороших и чистых людей, которые делали газету; которые целыми днями месили грязь на дорогах, открывая в провинции дискуссионные клубы; которые писали о молодых специалистах, загнанных по распределению в глухомань, и пытались им хоть как-то помочь. В газете был прекрасно поставлен отдел корреспонденции с мест, и колесившие по бездорожью, голодные, отощавшие корреспонденты были лучшими из нас. Насколько помню, в нашей редакции было шестеро чахоточных — то есть каждый второй

болел туберкулезом. Партия умело выжала из газеты все, что могла. «Po prostu» работала на партию; «Po prostu» пробудила активность масс; «Po prostu» была первой газетой в Польше, опубликовавшей интервью с Владиславом Гомулкой; «Po prostu» боролась за Гомулку, и «Po prostu» Гомулкой была уничтожена.

До октября пятьдесят пятого года «Po prostu» была газетой, предназначенной для студентов; восемьдесят процентов тиража шло на макулатуру. После каникулярного перерыва («Po prostu» два месяца в году не выходила: вероятно, другой такой газеты в мире нет) тираж подскочил до нескольких сотен тысяч экземпляров и рос от номера к номеру. «Po prostu» перестала быть газетой для студентов — по замыслу она должна была стать газетой молодой интеллигенции, а стала газетой всего народа. «Po prostu» проводила кампанию помощи молодым художникам; помню, шеф посылал меня в город их разыскивать, и я часами лазил но чердакам и подвалам и смотрел, как живет эта голодная братия. «Po prostu» первая в Польше растревожила общественное мнение и привлекла внимание так называемых компетентных органов к судьбам людей, по окончании вузов пропадавших зазря

в глухой провинции. «Po prostu» первая в Польше заговорила о героях Армии Крайовой[29]. «Po prostu» первая в Польше показала, как живут социалистические вельможи, описав магазины «за желтыми шторами»[30], — и все это заслуга таких людей, как Ханка Братковская, Миша Гжеляк, Януш Худзинский, Юрек Урбан и другие. Моим непосредственным начальником был Юлиуш Гажтецкий; по слухам, он сотрудничал с УБ. Не знаю. В Польше о людях «нашего круга» обычно говорят одно из трех: что они или стукачи, или педерасты, или алкоголики. Мне трудно сказать о своем шефе что-либо вразумительное; я только знаю, что Гажтецкий работал на «Po prostu» как вол и вечно меня песочил; если не ошибаюсь, именно он поднял вопрос о реабилитации героев Армии Крайовой. Но, повторю еще раз, марксизм не помогает человеку набираться разума; марксистская диалектика не учит мыслить — она учит, как надо мыслить. Когда газета «По и росту» начала мыслить самостоятельно, ее закрыли.

---

[29] Примечания: 29

Армия Крайова — в период немецкой оккупации вооруженные подпольные формирования, подчинявшиеся польскому эмигрантскому правительству, после войны члены АК преследовались властями ПНР.

[30] Примечания: 30

Закрытые распределители.

Ошибка Братковской и других членов редколлегии состояла в том, что они допустили к работе разных подонков, которые — едва «Po prostu» стала газетой номер один — немедленно прискакали в нашу редакцию. С Лясоты взятки гладки — он был трус; но Ханке следовало их всех выгнать. Про Ханку говорят разное; я могу сказать только самое хорошее. Когда я получил от Ежи Анджеевского его гениальный рассказ «Побег», Лясота наложил в штаны от страха, а Ханка насела на него и заставила рассказ принять. После публикации мы получили сотни восторженных писем: люди писали, что это лучшее из написанного автором. Сам Анджеевский считал рассказ слабым и неудавшимся; я выпрашивал у него «Побег» буквально на коленях, целуя мэтру руки; в конце концов мы с ним по-настоящему расцеловались. Беда Ежи в том, что он недооценивает дарованный ему Богом огромный талант и не уважает самого себя; место заслуженной гордости в его душе заняла гордыня. Этот человек — разрушитель, а убедил себя, что моралист. Идиоты из «Фильма Польского» не понимают, что даже при их полном, просто поразительном неумении снимать кино, по рассказу «Побег» можно было бы сделать потрясающий фильм о войне. «Побег»

даже полковник и профессор Александр Форд[31] не сумел бы испоганить, а ведь он способен испоганить все.

И еще о Ханке: однажды меня вызвали в военкомат и вручили повестку о призыве на срочную военную службу. Я пришел в редакцию и, поднявшись на четвертый этаж в машбюро, сел писать письмо знакомому режиссеру, сообщая, что, к сожалению, не смогу представить ему сценарий, поскольку, как поется в известной песне, «дан приказ: ему на запад...». В письме была фраза: «Польше менты нужны больше, чем журналисты». Имелось в виду следующее: призывники, выразившие желание служить в милиции, освобождались от срочной службы. Я писал это письмо, дрожа от ярости; написав, вытащил лист из машинки, не заметив, что по привычке заложил копирку; второй экземпляр я, как истинный польский конспиратор, оставил на столе.

Два часа спустя меня призвал к себе мрачный как ночь Лясота.

— Послушай, старик, — начал редактор самой смелой польской газеты. — Вынужден попросить

---

[31] Примечания: 31

Известный польский кинорежиссер: в 1943 г. был одним из создателей киногруппы Войска Польского в СССР; после войны занимался организацией польской кинопромышленности.

тебя подать заявление об уходе.

— Почему?

Лясота трагическим жестом извлек из ящика и сунул мне под нос копию моего письма. Братковская, разумеется, тут же все уладила. Но кто принес эту копию Лясоте? Машинистки — двадцатилетние девчонки, с которыми все наперебой флиртовали. Спрашивается: зачем этим людям независимость? Пускай до скончания века будут стражами братьев своих…

Написав это, я вспомнил историю, случившуюся со мной в Израиле. Мой приятель Ежи Бухбиндер-Пресс нашел для меня отличную работу — на стекольном заводе. Учтите, что на дворе была пятидесятиградусная жара, а в цеху стояла печь, нагретая до двух тысяч двухсот градусов Цельсия. Сущий ад; вдобавок, работу мне давали только «черную», поскольку официального разрешения я не имел. Так вот, покуда мой друг Бухбиндер-Пресс сидел в кафе и, поглаживая свою окладистую бороду, обделывал дела, или — как говорят в Израиле — «таки крутился», я загружал в печь шестнадцать с половиной тонн сырья, беседуя за жизнь со своим мастером, господином Шапиро. На заводе все знали, что зовут меня не Йорам Бухбиндер-Пресс, а просто Хласко-

вер, — решительно все, начиная с управляющего и кончая последним забулдыгой, выносившим из цеха мусор. Через несколько месяцев я нашел работу получше и пришел на завод, чтобы дружески со всеми попрощаться. К моему удивлению, один из бывших коллег отказался пожать мне руку.

— Почему?

— Потому что ты шейгец[32], а не Йорам Бухбиндер-Пресс.

— У тебя было полгода времени, — сказал я. — Почему ты не заявил в полицию?

— Потому что, когда ты сюда пришел, я знал, что ты голодаешь и ищешь работу. Не подам я тебе руки, не жди. Будь проклят твой народ, и ты сам, и твоя земля.

Так себя ведут в Израиле евреи, которые две тысячи лет скитались по свету; которых били, мучили, унижали, прогнали через все тюрьмы и лагеря мира. Государство Израиль образовалось в тысяча девятьсот сорок восьмом году; во время боев за Иерусалим солдат, нарушивших дисциплину, наказывали только одним способом: на какое-то время убирали с передовой, и это была самая страшная кара для еврея, который сотни

---

[32] Примечания: 32
Молодой нееврей (*идиш*).

лет служил объектом насмешек и издевательств. Евреи умели воевать и если подставлялись под пули, то лишь потому, что никогда не забывали, входя в дом, говорить: «Слушай, Израиль. Господь Бог наш — Господь единый, и земля у нас одна». И они обрели свою землю; и, если Бог и милосердие действительно существуют, никогда ее не потеряют. Каждый истинно верующий человек должен носить на груди вместе с крестом звезду Давида, пока не будет уничтожен последний антисемит и пока тело его не обратится в прах, который со стыдом примет многострадальная земля.

На своей карьере в «Po prostu» я поставил крест после публикации «Обороны Гренады». Мне стало неинтересно; я только приходил первого числа за зарплатой — и все же мне искренне жаль эту газету. Но ни капельки не жаль человека, который, едва «Po prostu» стала газетой молодой интеллигенции, настоял на публикации в ней программных тезисов «Об интеллигенции», принадлежащих некоему россиянину, разъяснившему нам в докладе на XVIII съезде ВКП(б), что интеллигенты тоже на свой лад люди. Фамилия российского мыслителя — Сталин; уточнять, по чьему настоянию сталинский текст был опубликован, необязательно. Вообще писать

надо как можно короче, ничего не разжевывая: когда в 1949 году мы с моим другом Ковалой переступили порог сапожной артели в Легнице, на вопрос директора: «Что вам угодно?» Ковала с милой улыбкой ответил: «Выручку» и предъявил ТТ. Коротко и ясно.

Итак, я перестал работать в газете. Жилья у меня тогда еще не было, и мы с Генриком Березой или спали на Главном вокзале, или пользовались гостеприимством милицейских участков и вытрезвителей. Потом я обрел временное пристанище у другого приятеля, проживавшего с бабушкой. Приятель этот не брал в рот спиртного; зато отнюдь не считал грехом прелюбодеяние. Оставалось решить проблему: куда девать старушку бабушку? Выход нашелся простой: бабке покупался билет в кино, куда-нибудь на Охоту, — а жили мы на Повислье. Фильм два часа, на трамвае туда-обратно три часа, итого — пять; за это время можно много чего успеть. Вскоре бабка приятеля начала изъясняться языком героев вестернов. Например, она заявляла: «Ты, Марек! Когда разговариваешь со мной, не держи руки в карманах, не то схлопочешь». Если к нам заходил общий знакомый и собирался поздороваться со старушкой, она говорила: «Я никогда не подаю ру-

ки левше. Это не раз спасало мне жизнь». Или: «Не возникай, Марк. Помни, ты приехал во Фриско отдохнуть и подлечиться». И все шло прекрасно, но однажды мой друг-эротоман перестарался. На другом конце города демонстрировался двухсерийный советский фильм «Адмирал Ушаков». Четыре часа в кино плюс три часа на трамвае — что могло быть лучше! Однако едва девушки согласились отдать нам самое святое, что у них было, вернулась бабка.

— Безобразие! — заорала она с порога. — Хамство! Издевательство! Это недопустимо! Позор!

Возмутили ее вовсе не полураздетые девы, как мы было подумали; просто в фильме «Адмирал Ушаков» роль адмирала Нельсона исполнял актер с внешностью отпетого негодяя. Его партнершей была девица из разряда тех, которых можно ночью встретить на Хмельной и которые, похлопывая себя по заднице, кричат: «Ну что? Помучаем жопку?»; вдобавок леди Гамильтон щеголяла в отделанной кружевами ночной сорочке, что, вероятно, должно было считаться верхом элегантности. Адмирал Нельсон, подойдя к ней и протянув единственную руку, демонически изогнул бровь и возгласил зычным голосом: «Как поживаете, леди Гамильтон?..»

Этого бабушка нам простить не смогла. Опять меня выгнали на улицу. Помню, как я печально брел по Краковскому Пшедместью в канун Великого Октября, и возле университета меня остановили знакомые.

— Приходи сегодня вечером на Жерань, — сказали они. — Будут раздавать винтовки.

— А зачем мне винтовка? — спросил я.

— Будем драться.

— Отложите вольнолюбивые планы до завтра, господа, — сказал я. — Сегодня вечером я приглашен на именины к Кропке Минкевич. Неудобно отказываться.

И пошел своей дорогой.

Goofy, the Dog

В одном из последних номеров парижской «Культуры» мне попалась статья без подписи, озаглавленная «Голос с родины»; автор статьи, говоря об отношении поляков к Америке, вспоминает, как во время корейской войны варшавяне, проходя мимо американского посольства, снимали головные уборы, салютуя звездному флагу. То же самое делал и я, в то время учащийся Государственного театрального техникума, откуда меня исключили за год до начала войны в Корее. Если не ошибаюсь, американское посольство находилось на Уяздовских Аллеях, а наше училище — в здании ИМКА на улице Конопницкой. Проходя после занятий по Аллеям, мы снимали перед посольством шапки, а стоящий у ворот солдат смотрел на нас с доброжелательным любопытством — так обычно смотрят на горбунов и дебилов.

Еще мы ходили в информационный центр при посольстве США. Английского никто из нас тогда не знал, но мы разглядывали иллюстрации в «Лайф» или «Тайме», листали американские книги и журналы. Иногда информационный

центр устраивал показы фильмов; мы регулярно их посещали, а после просмотра нас забирали в ближайший участок. Там у нас проверяли документы и вправляли мозги; отпускали лишь через несколько часов, но пребывание в милиции имело и свою приятную сторону: можно было под свежим впечатлением обсудить фильм в кругу недавних зрителей, дожидающихся освобождения без ремешков, шнурочков и галстучков. Потом все повторялось.

На просмотрах в посольстве я познакомился с киногероем по имени Goofy, the Dog. У гуфи всегда наилучшие намерения и замечательные идеи, но прежде чем ему удается какую-либо из них осуществить, например осчастливить хозяина или живущего по соседству знакомого бульдога, он становится виновником какого-нибудь происшествия — короткого замыкания, аварии бензовоза — или просто прищемляет дверью лапу и, воя от боли, будит того самого бульдога, которому хотел сделать приятный сюрприз; ну и, естественно, получает от бульдога по морде. С тех пор гуфи стал — наряду с Николаем Ставрогиным — моим любимым героем; кажется, я могу — безо всякого преувеличения и гордыни — сказать о себе: «гуфи — это я», как Флобер сказал: «Madame

Bovary, c'est moi[33]».

В это время некий Стефан Мартыка, третьеразрядный актеришка, вел на Польском радио передачу под названием «Волна 49». Этот мерзавец почти всегда врубался в середине танцевальной мелодии со словами: «Слушайте «Волну 49». Включаемся», после чего начинал поливать грязью империалистические государства. Больше всего доставалось американцам; Мартыка распространялся об их ограниченности, жестокости, глупости и т. п.; тирада завершалась словами: «Отключаемся». Однажды какой-то студент прикончил самого Мартыку; поначалу ходили слухи, что это месть Яна Цаймера, руководившего тогда оркестром танцевальной музыки Польского радио: передачи Цаймера Мартыка прерывал чаще всего. Вскоре, однако, выяснилось, что убийца Мартыки был завсегдатаем информационного центра посольства США, и центр закрыли; в моей дружбе с псом Гуфи наступил многолетний перерыв, а Мартыка выключился навсегда.

На тему неразделенной любви поляков к американцам уже было много сказано в разных статьях и научных трудах. Картина складыва-

---

[33] Примечания: 33
Госпожа Бовари — это я (*франц.*).

ется и вправду не ахти какая. В американских фильмах поляки играют в основном наркоманов, шпионов или мелких воришек. Послушаем, что по этому поводу говорит известный польский мыслитель Ежи Путрамент в своей книге «На литературном фронте».

Мыслитель Путрамент: «Возьмем, к примеру, один американский детективный роман. Действие происходит в Чикаго. Жаркий день, частный сыщик сидит в своей конторе и в полудреме слышит, как в соседнем доме переругиваются уборщицы — по-польски».

И дальше:

«Вообще поляки (или, вернее, американцы польского происхождения, как их сейчас официально именуют) довольно часто попадают на страницы современных произведений американской литературы. В совершенно бредовой «психоаналитической» пьесе «Трамвай «Желание» герой — поляк — изображен как последняя скотина. Он измывается над бедной американкой, хотя та психически больна. Когда другой персонаж пьесы хочет его оскорбить, он бросает ему: Polack».

Вот вам и Мыслитель. Относясь с уважением к его могучему уму, осмелюсь все же заметить, что

дело обстоит не совсем так, как излагает Путрамент. Ковальский, безусловно, не из тех людей, с которыми хочется немедленно подружиться и предложить взаймы денег; однако от внимания Путрамента ускользнул тот факт, что бедная американка была когда-то так называемой дочерью Коринфа — то ли по необходимости, то ли по велению сердца; и именно это крайне не нравится Ковальскому. Несчастная все время провоцирует нашего бедного соплеменника, и в конце концов, не вытерпев, тот ее насилует, причем убогонькой это явно приходится по вкусу — в результате, окончательно свихнувшись, она попадает в дом для умалишенных.

Чтобы поддержать Путрамента, оплакивающего горькую участь наших земляков в США, позволю себе привести еще парочку ярких примеров. В книге «Нагие и мертвые» тоже выведен наш соотечественник, господин Качинский, профессиональный сутенер из Чикаго. В фильме «Сила танков» есть наш земляк, который вообще ни слова не говорит, только время от времени вытаскивает нож, чтобы с первого же удара уложить очередного немца, араба или кого-то там еще, и лишь однажды разевает пасть с целью разоблачения немецкого шпиона, прикидывающегося

английским военнопленным. Он просто спрашивает того по-немецки: «Который час, дружище?», и шпион машинально отвечает на родном языке: «Шесть». Поляк достает нож, перерезает ему глотку, немец падает, земляк смотрит на часы и, склонившись над умирающим в муках негодяем, любезно ему сообщает — тоже по-немецки: «Ваши часы спешат на пять минут». И прячет нож; действие продолжается.

В фильме Премингера «Человек с золотой рукой» один из персонажей — тоже наш соотечественник, для разнообразия морфинист, недавно вышедший из лечебницы для наркоманов. Образ жизни его незамысловат: он жульничает в карты, колет себе морфий, получает по морде от своих партнеров; в конце концов его жена выбрасывается с десятого этажа и, сколь ни плавны движения рук несчастной, замедлить полет ей не удается; Фрэнки-Машина остается соблазнительным вдовцом. Это единственный поляк, которому со времен Тадеуша Костюшко повезло в Штатах; жена, правда, покинула его навсегда, но в героя влюбляется Ким Новак; на наших глазах к Фрэнки-Машине — почему-то приунывшему при виде жалких останков супруги — возвращается бодрость духа и хорошее настроение, и они с Ким

Новак, обнявшись, уходят в голубую даль.

Федора Михайловича Достоевского, казалось бы, трудно заподозрить в пропольских симпатиях, однако американцы решили его подкорректировать. В фильме «Братья Карамазовы», как и в романе, Грушеньку соблазняет некий Грановский, полячишка. Грушенька едет к нему; Грановский не уделяет ей никакого внимания; он поглощен нечистой игрой в карты. Бедняжка сидит и тупо смотрит на своего соблазнителя, прыщавого статиста.

Входит Юл Бриннер — Дмитрий Карамазов. Окидывает всех горящим взором. Ставит на стол ящичек. Грушенька — Мария Шелл — бросается к столу и открывает ящик. Мы видим два внушающих страх пистолета огромного калибра.

Мария Шелл. Дмитрий! Зачем тебе оружие?

Юл Б р и н н е р. Чтобы убить.

Мария Шелл. Дмитрий! Ты задумал страшную вещь!

Юл Бриннер (на минуту погрузившись в задумчивость). Знаю. Но я — Карамазов!

Садится в углу и наблюдает за полячишкой. А мы видим, что Мария Шелл уже не любит поляка; она любит Дмитрия. Входит хозяин постоялого двора с самоваром; поляк в благодарность за

чай-кипяток дает бедному русскому пощечину. Русский глядит на Дмитрия, как побитый пес. Дмитрий медленно поднимается и, схватив полячишку за волосы, заставляет встать перед собой навытяжку. Затем бьет его по лицу: сперва тыльной стороной левой руки справа налево, а потом тыльной стороной правой руки слева направо. Поляк падает замертво, головой об пол.

Юл Бриннер (любезно объясняет). Нехорошо бить людей, пане!

А мы видим, что Мария Шелл уже никогда не разлюбит Дмитрия. У Достоевского Дмитрий и не собирается убивать полячишку — накупив тягушек для цыган, сигар и шампанского, он решает «покончить все» на рассвете, в разгар гулянки. Однако американцы поправили мрачного русского; поляк до самого конца не поднимается с пола. Вот что с нами делают в Голливуде.

Мыслителю Путраменту поляки на страницах американских романов и пьес не понравились, и он решил исправить положение в своем эпосе под названием «Ноев ковчег»; правда, в чем-то он дал промашку. Польский герой «Ноева ковчега» — шпион, работающий на разведку какого-то, точно не определенного, азиатского государства, а его шеф — некий внушающий ужас Китайчонок

Ли. Полячишка всячески перед ним заискивает, но на устах страшного азиата только блуждает презрительная усмешка. Чтобы расположить к своему герою читателя — в пику авторам, которые поляков не жалуют (что крайне раздражает Мыслителя), — и не уронить национального достоинства, Путрамент заставляет нашего земляка курить марихуану, пить виски и так далее. Какая-то соотечественница решает отдать ему самое святое, что у нее есть, однако наш герой опозорился — произошло то, что Стендаль называет фиаско в любви. Умом природа одарила нашего земляка тоже не слишком щедро. Китайчонок Ли приказывает ему подбросить в самолет бомбу с часовым механизмом; полячишка выполняет приказ и по причине своего идиотизма сам садится в вышеупомянутый воздушный лайнер. И летит; стюардесса любезно ему сообщает, что он по ошибке сел в самолет, куда предварительно поместил бомбу. Наш земляк чуть не лишается рассудка от страха; все ползают на карачках в поисках бомбы; самолет летит над океаном. Время идет; поляк скулит; бомба тикает; ситуация обостряется, поскольку и в души других пассажиров закрадывается тревога. Бомба в самолет была подложена исключительно для того, чтобы уни-

чтожить русского журналиста; так распорядился Китайчонок Ли.

В свое время был популярен анекдот об американском писателе, печатавшем в газете роман с продолжением. Однажды он пришел к своему шефу.

Писатель. Шеф. Прошу с завтрашнего дня платить мне за каждую часть на десять долларов больше.

Шеф. Вон.

Писатель уходит, беззаботно посвистывая. Шеф соединяется с секретаршей и велит позвать Раппопорта. Входит Раппопорт.

Шеф. Раппопорт. Теперь ты будешь писать эту чертову белиберду.

Раппопорт. Слушаюсь, шеф.

Небрежно сует рукопись в карман и уходит; шеф погружается в работу. Через час Раппопорт возвращается; он в доску пьян и мертвенно-бледен. Кладет перед шефом рукопись.

Раппопорт (нечленораздельно). Все кончено. Отрясаю прах со своих ног и проклинаю.

Уходит нетвердым шагом; шеф приказывает позвать Треппенджеландера. Треппенджеландер входит.

Шеф. Патрик. С завтрашнего дня ты будешь

писать эту галиматью.

Треппенджеландер. Слушаюсь.

Уходит. Через час возвращается. Мертвенно-бледный. Пьяный. Швыряет рукопись на стол и, не говоря ни слова, выходит. Ситуация накаляется; уже звонили из типографии. Шеф вызывает Лучшего. Лучший входит.

Шеф. Отныне ты… и так далее.

Лучший. О'кей.

Через час возвращается: пьяный и мертвенно-бледный.

Шеф. Ты что?!

Лучший. Ничего не могу сделать. Герой выскочил из самолета на высоте десять тысяч метров без парашюта. Вокруг реет эскадрилья реактивных самолетов и забрасывает его ракетами. Внизу уже поджидают, разинув пасть, три акулы. Я пошел. Отрясаю прах со своих ног и проклинаю…

Лучший уходит; шеф зовет Писателя и обещает повысить ему гонорар. На следующий день появляется очередной отрывок, начинающийся словами: «Нечеловеческим усилием воли преодолев все препятствия, Майк Гильдерстерн вернулся в Нью-Йорк».

Я бы не стал приводить этот общеизвестный анекдот, если б сам не затратил нечеловеческих

усилий, разбираясь в романе Путрамента; не забывайте, что бомба тикает, а самолет вспарывает небесную гладь. Я когда-то очень интересовался авиакатастрофами — у меня даже есть права спортивного пилота; интересовало меня и вынужденное приводнение; пассажирам иногда действительно удается спастись, если самолет снабжен спасательными жилетами, а главное — имеет убирающееся шасси и может избежать капотажа, чего почти никогда не удается самолету с неубирающимся — в отличие от гидроплана — шасси. В «Ноевом ковчеге» ни о чем таком и речи нет: самолет продолжает лететь вперед, хотя пилот знает, что бомба через сколько-то там минут должна взорваться.

Взрыв; все погибают. В живых остаются только двое: русский и американский журналисты. Русский втаскивает американца на скалу; оба что-то бормочут, по-братски подбадривая друг друга. От полячишки осталось мокрое место. Его постигла страшная кара; зато галерея поляков в мировой литературе пополнилась новой фигурой.

Уильям Фолкнер, писатель не хуже Путрамента, видел поляков совсем по-иному. Герой его романа «Дикие пальмы» Гарри приезжает с любимой женщиной на шахту в штате Юта.

Там работают поляки, не знающие ни слова по-английски. Личные счеты они сводят весьма своеобразным способом: засовывают человеку, который им не по нраву, в карман динамитную шашку, и тот взрывается. У поляков, за которыми наблюдают Шарлотта и Гарри, глаза воспалены от недосыпа, и работают они overtime. Гарри спрашивает у управляющего, почему эти люди продолжают вкалывать, хотя компания обанкротилась; управляющий отвечает, что поляки не знают английского и им невозможно объяснить, что все лопнуло. И, помолчав, добавляет: «Странные, они люди: никак не могут понять, что их надувают».

В «Ноевом ковчеге» и «Диких пальмах» есть общие элементы: опасности, взрывы, ужасные поляки. Литературоведам стоило бы поразмыслить, почему такие элементы используются для воплощения совершенно несхожих замыслов. По занимательности сюжета Фолкнер уступает Путраменту: «Дикие пальмы» — повествование о любви, которую человек не хочет потерять; в итоге он оказывается перед выбором: небытие или вечная тоска.

Не злоупотребляя комментарием, проследим за умозаключениями Мыслителя. Вот что он го-

ворит по поводу корейской войны: «Давайте же поблагодарим лютых врагов польского народа, Трумэнов и аденауэров, хотя бы за откровенность. За ту откровенность, причину которой не нужно искать ни в уверенности наших врагов в собственной силе, ни в глупости и бестолковщине, отличающих американскую политико-пропагандистскую машину. Причина, позволяющая американским империалистам не скрывать от нас своих планов захвата, уничтожения и раздела Польши, — это прежде всего глубокое презрение ко всему неамериканскому, а уж тем паче к народам Восточной Европы, к славянским народам. Мы для них — аморфная этническая масса, неспособная ничего понять, ни на что правильно отреагировать.

Военная истерия, разгул которой мы сейчас наблюдаем в Америке, конечно же, порождена не ощущением собственной мощи. Наоборот, именно неудачи в Корее подтолкнули мистера Гарри Трумэна к новой серии безрассудных угроз. Ведь за последние полгода человечество смогло убедиться, какая могучая сила — лагерь сторонников мира. Крах американцев в Корее и во Вьетнаме, ширящееся движение за мир в странах Западной Европы, в Латинской Америке,

на Ближнем Востоке, разлад и трения между правительствами стран Североатлантического пакта — наряду с экономическими и политическими успехами СССР, Народного Китая, стран народной демократии, Германской Демократической Республики — неоспоримо свидетельствуют, что чаша весов истории склоняется в нашу сторону».

Где же гарантия, что дело обстоит именно так, а не иначе? Не волнуйтесь — Мыслитель нам все объясняет: «Заглушая военные угрозы, заглушая истерические выкрики, звучит голос Сталина, голос Его партии. Он указывает человечеству путь к светлому будущему. По этому пути движется и наш народ».

Прочитав эти строки, задумаемся на секунду о неудачах американцев в Корее. Полковник Монат в написанных для «Лайф» воспоминаниях сообщает, что бывали дни, когда commies теряли по нескольку тысяч солдат. Полковника Моната, разумеется, можно заподозрить в необъективности; давайте лучше поговорим о вышеупомянутых успехах в экономике. Восточных немцев так обрадовало повышение жизненного уровня, что они в 1953 году устроили антиправительственную демонстрацию; советские танки против них бросили, вероятно, по чистой случайности. Лику-

ющие венгры в 1956 году вышли на будапештские улицы; их тоже почему-то не поняли. Об экономических достижениях Народной Польши поведал Владислав Гомулка в своем докладе; экономические успехи Советского Союза привели к закупке капиталистического зерна. Я не публицист — это всем очевидно. Я только хочу сказать, что американцам следовало бы представить Путрамента к высочайшим военным и гражданским наградам, поскольку в Польше он для них сделал больше, чем они сами.

В 1952 году в Арсенале была устроена выставка с язвительным названием «Вот она, Америка». Набрали черт-те сколько экспонатов: шпионские пистолеты, напалмовые бомбы, комиксы по «Братьям Карамазовым», фотографии с трупами каких-то негров. Результат превзошел всякие ожидания; варшавяне, чтобы попасть на выставку, часами выстаивали в очереди: им хотелось получить хотя бы крохи информации о стране сорока восьми звезд, хоть одним глазком поглядеть на вещи, сделанные живущими за океаном людьми, от которых нельзя ждать ничего хорошего. Это несчастная любовь; любовь без взаимности; и, возможно, последняя.

Нашу честь в Соединенных Штатах защища-

ет боксер Ковальский по прозвищу Киллер. Это самый свирепый профессионал в мире. Он проигрывает только из-за нарушения правил: жестокий поляк, природой наделенный преступными наклонностями, не в состоянии во время боя сдержать свои низменные инстинкты, и судья удаляет его с ринга.

Будучи любителем зрелищ такого рода, я недавно отправился в Париже на встречу champion soviétique — champion américain[34]. На ринг вышел русский — парень в шитой золотом рубахе, с золотыми кудрями и лицом дегенерата-сифилитика. Публика встретила его восторженным ревом; никто и не вспомнил про такую мелочь, что в СССР вообще нет профессионального спорта, а американская вольная борьба считается «зверством», и, стало быть, champion soviétique скорее всего родился не в донских степях, а где-то возле площади Пигаль или, скажем, в Сен-Дени. Следом появился чемпион Америки — устрашающего вида гигант: не будь схватка тщательно срежиссирована, чемпиона СССР вынесли бы с ринга вперед ногами. Публика улюлюкает и осыпает американца проклятиями; в него летят апель-

[34] Примечания: 34
Советский чемпион — американский чемпион (*франц.*).

синовые корки, спичечные коробки, ему грозят кулаками. Начинается бой; несчастный американец делает все, чтобы проиграть, но что-то тут осталось непродуманным, и златовласый славянин — как ни пинал судья американца, когда тот, увлекшись, начинал выигрывать, — примерно в середине схватки, несмотря на помощь противника, арбитра и публики, скапутился. Об этом не стоило бы рассказывать, если б не реакция зрителей. Публика, состоявшая в основном из рабочих, мелких ремесленников и кучки скучающих левых интеллектуалов, дружно орала: «Грязная свинья, иди драться во Вьетнам».

В этом трагедия Америки: миллионы долларов ухлопываются на локальные войны, в которых итальянский или французский рабочий не видит смысла. Американцы вынуждены поддерживать таких деятелей, как Чомбе и Ли Сынман; американцам пришлось поднять из руин Западную Германию; американцы должны помогать генералу Франко; американский рабочий за все это платит, но аплодисменты достаются не Статуе Свободы, а златокудрому кретину, дерущемуся с противником, который втрое его сильнее; и кретин побеждает, так как этого очень хотят все те бедные люди, которые еще продолжают верить,

что свобода придет оттуда, где погибли лучшие из лучших.

Поляки знают, что в случае конфликта с Россией американцы не пришлют им на помощь ни одного солдата; тем не менее любовь к Америке не ослабевает. Много лет в Польше не показывали американских фильмов; наконец в пятьдесят седьмом году на экраны вышел вестерн под названием «Последний бой апача», где апача играл белокурый и голубоглазый Берт Ланкастер. Премьера фильма по воле случая совпала с другим незаурядным событием: впервые после двадцатилетнего перерыва был запущен воздушный шар «Звезда Польши II». Тысячи столпившихся перед кинотеатром людей даже не посмотрели на взмывшую в воздух «Звезду»; они рвались на Ланкастера. Чего только он не делает в этом фильме: орудует ножом, стреляет, взрывает груженные порохом телеги; затягивая на шее конвоира кандалы, приговаривает: «А теперь, белый пес, возвращайся к своим и расскажи, с кем они затеяли войну» — и дает ему пинок в зад; но все это пустяк по сравнению с тем, что творилось перед кинотеатром. То и дело вспыхивали перебранки; поминутно вмешивалась милиция; двое схватились за ножи, а жена одного

из них кинулась искать какого-то пана Зенека — единственного человека, который мог бы предотвратить кровопролитие. Толпа бурлила, крича: «Где пан Зенек? Где пан Зенек?» Наконец прибежал пан Зенек; профессиональным глазом оценив ситуацию, он на бегу сбросил пиджак и положил обоих противников «бараном», то есть ударом головы в грудь. И никто даже не поглядел на одиноко удаляющуюся «Звезду Польши II»; зря старались польские конструкторы — Ланкастер с паном Зенеком их затмили.

Нелегко писать об отношении поляков к американцам и всему американскому. Распространяться о Пуласком и Костюшко[35] бессмысленно, оперировать статистическими данными и сравнивать две культуры тоже не стоит; и сравнение польской и американской литературы ничего не даст — во всяком случае, не мне этим заниматься: я об отечественной литературе имею весьма приблизительное представление. Полагаю, за это следует благодарить моих учителей польского, которые изводили меня классическим вопросом:

---

[35] Примечания: 35

Казимеж Пулаский (1747–1779) — генерал, участник Войны за независимость в Северной Америке (1775–1783); Тадеуш Костюшко (1746–1817) — руководитель Польского национально-освободительного восстания 1794 года, участник Войны за независимость.

«Что хотел сказать поэт?»; «Пана Тадеуша» я так и не осилил — по сей день не могу преодолеть отвращения. За преподавание литературы в школе нужно сажать в тюрьму; странно, что commies до этого не додумались. Школьной программой предусмотрено изучение большого числа шедевров соцреализма; это в немалой степени предопределяет на будущее интерес подрастающей молодежи к литературе такого рода.

Во время корейской войны распространился слух, будто поляки готовят к отправке в Корею добровольцев. Неизвестно, кто этот слух распустил; быть может, основанием для него стала задержка на военной службе призывников двадцать седьмого (и частично двадцать шестого) года рождения; в итоге тот год получил название «корейского»; возможно, в ожидании войны демобилизацию действительно решили отложить, следуя завету Хозяина: тяжело в ученье, легко в бою. Множество молодых парней, которые до сих пор уклонялись от военной службы, симулируя стенокардию, двустороннюю грыжу и глухоту, вдруг изъявили желание пойти служить; расчет у них был простой: при первом удобном случае сдаться генералу Макартуру. При этом, разумеется, они забывали, что могут пасть от

руки тех самых американцев, на чью сторону вознамерились перебежать; но время тогда было чудовищное, и перспектива расстаться с жизнью или навсегда превратиться в калеку не отпугивала потенциальных добровольцев. Слухи, однако, не подтвердились, а призывники «корейского» года рождения потеряли кусок жизни — так, кажется, говорят в подобных случаях.

В Польше тогда без конца устраивали массовые митинги, на которых клеймили американских агрессоров и выкрикивали здравицы в честь Ким Ир Сена, или как его там. Ким Ир Сена называли «великим сыном и освободителем корейского народа»; его заклятым врагом был некий Ли Сынман — «подлый пес» (иногда — «Цепная собака американского империализма»). Их физиономиями можно было каждый день любоваться в газетах. Беда была в том, что эти господа походили друг на друга, как две капли водки; помню, наш секретарь парторганизации на митинге протеста, потрясая газетой с фотографией Великого Сына и Освободителя корейского народа, кричал:

— Не допустим, чтобы эта сволочь залила кровью 38-ю параллель!

Митинги протеста организовывали весьма нехитрым способом: запирали ворота предприя-

тия или же кадровик уносил табельные листы, и расписаться в них можно было только по окончании митинга; как известно, каждому полагалось расписываться в табеле дважды: по приходе на работу и перед уходом. Протестующих собиралось много; составлялись грозные письма в адрес американских агрессоров, но подписать это проклятое письмо не разрешалось прежде, чем не выскажется последний оратор. Когда генерал Макартур объявил о намерении применить атомное оружие, появилась известная песня: «Трумэн, Трумэн…» и так далее. Правда, у бывших жителей восточных земель и Львова была своя песня — гимн надежды; она начиналась с обращения к президенту Трумэну; последний куплет звучал так:

Одна водородная бомба
Вернула нас всех в отчий дом бы.
Пусть пепел вокруг, но мы снова
Дышали бы воздухом Львова.

Трумэн, однако, бомбы не бросил; надежды рухнули. Даже надежда вернуться на пепелище — с этим люди готовы были смириться, лишь бы жить на родной земле. Поляки, впрочем, имели все основания полагать, что в случае войны им, кроме пепелищ, и так ничего не достанет-

ся. Кажется, Форрестол произнес речь, отрывок из которой я запомнил: «Мы превратим небо и землю в геенну огненную. Мы закидаем их атомными и водородными бомбами. Мы будем убивать детей в колыбелях, старцев за молитвой и землепашцев в поле. Там, где сегодня стоят города, останутся только дымы и пожары, среди которых будут бродить наши ослепленные враги». Текст этот, многократно напоминавшийся полякам дикторами радиовещания и кинохроники, по закону парадокса стал символом надежды. Так пациентам психиатрических клиник, страдающим хронической бессонницей, дают перед сном чашку чертовски крепкого кофе, что иногда вызывает реакцию, которую врачи называют парадоксальной. Поскольку высказывания американского политика официально были сочтены враждебными, они, естественно, пришлись по душе простому поляку. Мне случалось слышать мнение, что их автор воспитан на Библии, — об этом свидетельствовала образность его стиля; кое-кто считал, что источником вдохновения Форрестолу послужило откровение святого Иоанна. «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и

вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». От внимания людей, сравнивавших речь американского государственного деятеля с откровением Иоанна Богослова, правда, совершенно ускользнуло то обстоятельство, что у последнего выступает также ангел пророчествующий, предупреждающий, «что времени уже не будет»; возможно, брось американцы бомбу, одним махом было бы решено чересчур много проблем.

Итак, бомба брошена не была, и мы не вернулись во Львов; однако любовь поляков к американцам не угасла. Когда я работал шофером, у нас были автомобили четырех марок «дженерал моторс корпорейшн», «даймонд», «студебеккер» и «ЗиС» (завод имени Сталина). Аристократия ездила на «даймондах», но шоферня предпочитала «джи-эм-си», который мы называли «джемсом». «Джемс» была отличная машина; летом открывались окна, откидывалась брезентовая крыша, и ты чувствовал себя чуть ли не Гэри Купером; при этом надо добавить, что «джи-эм-си» со своим мотором мощностью в сто лошадиных сил восхитительно ревел; ездили на «джемсе», небрежно высунув из кабины левую ногу, — это считалось особым шиком. Если кому-нибудь из водителей

случалось провиниться — опоздать или не выполнить план, — секретарь партбюро вызывал его к себе и говорил:

— Хотите, чтобы я вас снял с «джемса», да? Хотите, чтоб пересадил с «джемса» на этот говенный «ЗиС», да? Хотите ездить на этом говенном «ЗиСе», чтоб ребята над вами смеялись, да? По-вашему, товарищ Сталин для того преобразует природу и возводит на Волге плотины, чтоб вы ездили на этой колымаге, где нет стартера и заедает переключатель скоростей, да? Советую вам исправиться…

И провинившийся, как умел, исправлялся. Верхом элегантности в те времена считалась американская шинель с подстежкой. На барахолке такая шинель стоила три с половиной тысячи. Пришлось удовольствоваться военной курткой с погонами за полторы косых.

На левом нагрудном кармане куртки, которую я купил, красовалась фамилия предыдущего владельца: Андерсон. Краска оказалась настолько прочной, что ее ничем не удавалось свести; в присутствии секретаря партбюро и председателя месткома я оттирал Андерсона бензином и денатуратом — безрезультатно. Так я стал самым элегантным чуваком на Соколовской улице.

Все мы помним облик генерала Макартура, его жесткое лицо старого стервятника и неизменные темные очки, так называемые «консервы». Карикатуристы из «Шпилек» всегда изображали генерала одинаково: бандитская физиономия полузакрыта темными очками, в руке атомная бомба; свободной рукой Дуглас Макартур душил корейского патриота. Именно тогда предприимчивые частники наладили производство темных очков, и, несмотря на умопомрачительную цену, их покупали. Через некоторое время название «консервы» было вытеснено другим: «макартурки». Если секретарь парткома заявлял: «Мы эти «макартурки» носить не будем», ему предъявлялась справка от врача с диагнозом «хронический конъюнктивит»; вскоре молодые водители начали поголовно страдать глазными заболеваниями; потом производство «макартурок» прикрыли, и на том все и кончилось.

Впрочем, не надолго; варшавская шпана быстро разузнала, что модно в Америке, и месяца через полтора на улицах появились молодые люди в широких грубошерстных пиджаках, в ярких, от руки расписанных галстуках, в узких брюках и башмаках на «манной каше», то есть на белой микропорке. Главным же атрибутом ново-

го стиля был кок; на голове возводилось сложное сооружение: волосы надо лбом взбивались, а на затылке сходились наподобие утиных крыльев. Согласно Веху, коки делились на три категории — в зависимости от того, чем прическа скреплялась: сахарным сиропом, белком или «крахмальной водой»; иначе — утверждает Вех — хоть тресни, волосы держаться не будут. Сахарный кок держится сутки, белковый — три дня, а самый прочный, крахмальный, — неделю. Эта прическа, продолжает Вех, иногда становится причиной больших неприятностей: стоит кому-нибудь в драке повредить кок противника, последний «теряет соображалку». Один из героев Веха на суде объясняет, почему безжалостно изувечил шесть человек и превратил хорошо обставленную квартиру в дымящиеся развалины. Молодой человек говорит в свое оправдание: «Я только услышал, кто-то крикнул: Бигосинчак, попорть ему кок. Он и попортил, а я гляжу: ну видеть ничего не вижу». Парней с коками и в ярких галстуках называли стилягами; это должно было звучать оскорбительно, но стиляги не обижались.

Для характеристики отношения поляков к американцам я бы мог без труда подыскать цитаты из произведений наших критиков-марксистов,

посвященных убогой и деморализующей американской литературе, и сопоставить их с тем, что критики писали несколько лет спустя, когда с этой литературой познакомились. Тут-то и выяснилось, что Фолкнер вовсе не извращенец и садист, а великий христианин и толкователь Библии; что Хемингуэй не поджигатель войны, а последний великий романтик; что Стейнбек покончил с порнографией и стал великим моралистом; и так далее. Но я не вижу смысла этим заниматься; предпочитаю писать о молодых рабочих, которые вряд ли читали сагу о роде Сарторисов, зато знают, что самым выдающимся полководцем времен второй мировой войны был не генерал Роммель и не маршал Жуков, а, судя по всему, офицер, руководивший военными действиями на Тихом океане, хотя слышать о нем они могли лишь одно: что он американский генерал и борется с коммунизмом. Свои братские чувства эти ребята выражали до смешного жалким способом — носили темные очки, дурацкие прически и безобразные галстуки; но они были уверены, что граждане страны, над которой реет звездный флаг, одеваются именно так, а значит, и мы будем так одеваться, пускай даже нас в участке силком стригут под ноль, а фамилии вывешивают на

доске рядом с хулиганами и лодырями. Так что давайте ездить на старых машинах, которые доставили американцев к победе; носить старые американские шмотки; разглядывать комиксы, не понимая их содержания! Демонстрация братской любви к американцам смешна и нелепа; американцы наших чувств не поймут, а то и вовсе не заметят; но иначе их проявить мы не можем. Никто из этих молодых людей никогда не поедет в Америку; никто из них не получит стипендии Рокфеллеровского фонда; и никто никогда не напишет об американской культуре, что это культура плебеев, — такое могут писать только публицисты из «Новых дрог» и «Трибуны люду». Для этих юнцов Америка даже не то, чем был Израиль для ведомого Моисеем племени, не земля обетованная: она им ничего не обещает, но, возможно, именно потому с ней связываются самые большие надежды. Ведь commies обещали все: хлеб, работу, свободу, братство; а тот, кто обещает все, как известно, не даст ничего.

Мне рассказывали, что во время блокады Кубы варшавские власти пытались организовать демонстрацию перед американским посольством; характер демонстрации, полагаю, пояснений не требует. Менты надели каски и прихватили с

собой бомбы со слезоточивым газом и «бананы», однако они оказались out of job[36]. Сбежалось, конечно, несколько иностранных корреспондентов, чтобы сфотографировать унылых стражей порядка и веселый люд. В ближайшем кабаке отчаявшиеся оперативники вели переговоры с хулиганами, умоляя их разбить пару-тройку окон и покричать что-нибудь оскорбительное в адрес Америки; за это им обещали позволить безнаказанно сбивать с ног слепых старушек и сбрасывать с электричек инвалидов; однако варшавские хулиганы проявили твердость и отвергли все, в иных обстоятельствах показавшиеся бы весьма заманчивыми, предложения. История эта, разумеется, вымышленная: проще простого было бы обрядить мусоров из школы милиции в штатское и заставить их изображать возмущенных граждан ПНР. Но анекдоты рождаются на почве реальности; если это и не правда, то, во всяком случае, правдоподобный вымысел.

Я тогда мало что знал об американской литературе; Фолкнера мне пересказывал своими словами Петр Гузы, Хемингуэя — Эдвард Бернштейн; сведения о других книгах я добывал

---

[36] Примечания: 36
Без работы (*англ.*).

единственно доступным мне способом: приглашал образованных приятелей в кабак и поил их за свой счет. Обходилось мне это недешево, к тому же некоторые быстро надирались и путали авторов и сюжеты. После войны в Польше издали только одну книгу Хемингуэя — «Иметь и не иметь» да «Табачную дорогу» Колдуэлла. Первым проломил стену молчания Марьян Эйле, опубликовав в «Пшекруе» два рассказа Хемингуэя в переводе Миры Михаловской. Потом этого писателя стали печатать беспрерывно, и, как справедливо заметил Зигмунт Калужинский, «успех Хемингуэя сплотил польский народ». Начинающие прозаики дружно подражали Папе Хему; меня называли Хемингуэем из Колюшек. То, что я начал писать, еще когда Хемингуэй в Польше числился растлителем молодежи и певцом атомной бомбы, и читать его книг не мог, поскольку не знал английского, а перестал писать одновременно с появлением польских переводов этого автора, разумеется, ускользнуло от внимания наших критиков. О критиках Папа Хем говорит приблизительно так: «Когда человек нуждается в помощи, они изливают на него желчь. Большинство из них, уверен, хотели бы, чтоб книжек вообще не существовало и они

могли писать только о себе и своих воззрениях. Но, быть может, Бог или Природа нашлет на них однажды страшный недуг, от которого не будет спасения и который их подкосит, тогда наконец с ними будет покончено». Цитата не точна; я прочел эти слова много лет назад, не помню уже, в каком журнале и на каком языке, однако мысль автора «Снегов Килиманджаро», кажется, передал верно. Проклятие, брошенное старым американским хитрецом, впрочем, не распространяется на критиков-марксистов; шкала оценок, которой они пользуются, бесконечно растяжима. «По ком звонит колокол» считался пасквилем на гражданскую войну; после пятьдесят шестого года книгу признали блестящим образцом романтизма, Роберта Джордана — образцовым солдатом, и вообще все пошло как надо: самый слабый роман Хемингуэя объявили самым лучшим. А там всего-то приезжает малый взрывать мосты, убивать людей и умереть как мужчина. Впутывается не задумываясь в самое страшное, что может выпасть на долю народа: в гражданскую войну. При этом Джордан не коммунист и не фашист; он просто хочет погибнуть как мужчина. А если я не хочу погибать как мужчина, тогда что? А если я хочу отойти в мир иной

владельцем участка на Грохове, окруженным кучей детей и внуков, тогда что? Может, я не желаю носиться с винтовкой по полю и стоять с непокрытой головой перед карательным взводом — ну и что? Тем не менее именно эту книгу Хемингуэя сочли самой лучшей; и так прикончили старого Папу. Ничего другого, впрочем, и не следовало ожидать: Хемингуэй — последний романтик, Фолкнер — толкователь Библии, этакий современный Достоевский; возможно, в один прекрасный день нам предстоит узнать, что Генри Миллер просто последователь Лысенко, Орсон Уэллс — ученик Николая Черкасова, а гневный и совестливый Джеймс Дин брал пример с Павлика Морозова.

В это время Польша начала флиртовать с Америкой. Первым в Штаты отправился Путрамент и привез плоды своих размышлений, озаглавленные «Два глотка Америки». Вот о чем он размышляет, глядя на игральные автоматы:

«Смотрю я на них и готов восхищаться. Хоть их и породило низкое желание какого-то ловкача заработать пару долларов на уставших от жизни, запутавшихся простаках, но некую объективно существующую потребность — пускай на свой лад, пускай примитивно — они удовлетворяют.

А что у нас? Сколько возможностей развлечься — при всей нашей трескотне насчет необходимости культурного развития масс — у обыкновенного рабочего или служащего, выходящего вечером в город? Кино? Театры? Как бы не так! Я уж не говорю о уровне программ — много ли у него шансов попасть куда-нибудь, если охота пришла внезапно, если мероприятие не запланировано заранее и не согласовано с распространителями билетов?»

В заключение Путрамент приходит к выводу, что единственное доступное развлечение у нас — выпивка. Вывод правильный; но ведь польским рабочим никто не мешает читать книжки о Павке Корчагине или произведения самого Путрамента — хотя бы роман «Перепутье» об американских шпионах и агентуре Гомулки. Ведь всего два года назад Путрамент в своей книге «На литературном фронте» призывал посещать кино и театры и учиться у советских мастеров соцреализма, одновременно предостерегая соотечественников от пагубного влияния американских писателей, вроде уже упоминавшегося Уильямса с его пьесой «Трамвай «Желание», которую Путрамент назвал психоаналитической и у которой столько же общего с психоанализом, сколько у меня с

банковским счетом.

Шагая по Уолл-Стрит, Путрамент удивляется, до чего она узка и коротка и как похожа на варшавскую Хмельную; он замечает, что скромность и неприметность этой улицы, являющейся «сердцем Америки», заслуживает подражания.

Полюбовавшись снаружи и внутри зданием ООН и убедившись, какая там царит скука, Путрамент делится с нами следующими соображениями: «Нужно было быть столь блестящим полемистом, как покойный Вышинский, чтобы в такой атмосфере не бояться острить и отпускать язвительные замечания. Аудитория, кстати, внимательно к нему прислушивалась, ибо знала, какую роль на мировой сцене играет его отечество». Воистину: ООН, созданная, чтобы обеспечить мир и счастье всем людям на свете, просто идеальное место для покойного Андрея Вышинского — обвинителя на московских процессах, требовавшего высшей меры на основании или сфальсифицированных, или вырванных под пытками показаний, о чем всей правды мы, вероятно, никогда не узнаем, а если даже узнаем, откажемся верить. Вот единственное, что приходит на ум Путраменту, стоящему перед зданием организации, задача которой — подарить надеж-

ду обездоленным.

Книга Путрамента — своего рода курьез. Любопытнее всего там глава, посвященная Чеславу Милошу. Путрамент научился составлять доносы у Вышинского, принадлежавшего к классической школе ораторского искусства, основателем которой считается Цицерон. Начинает он на высоких и благородных нотах: в свое время Милош был кумиром Путрамента; Путрамент восхищался его поэтическим даром, а от собственных стихов приходил в отчаяние. Читая эти строки, я ждал, что Ежи Путрамент вот-вот заговорит словами Петра Верховенского, обращенными к Николаю Ставрогину: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк».

Путрамент чувствовал себя ничтожеством по сравнению с Милошем; он Милоша обожал, а тот относился к нему без должного внимания, был высокомерен, заносчив; в конце концов дело дошло до рукоприкладства. И тут голос Путрамента срывается; в соответствии с классическими образцами, ему бы следовало воззвать ко всеобщему чувству справедливости, однако он сбивается на пасквиль.

Путрамент признается, что был против отъезда Милоша на Запад — исключительно из опасения,

что тот загубит свой огромный поэтический талант, который Путрамент столь высоко ценил. Почему отъезд на Запад связан с потерей таланта, нам узнать не придется; почему один писатель имеет право решать судьбу другого административными методами — тоже; почему вообще возникают такие ситуации, когда человек вынужден умолять, чтобы его выпустили за границу, из чего не делается проблемы даже в странах Латинской Америки, — ответа мы также не получим. Милош убежал.

Путрамент объясняет причины такого поступка: когда Милоша отозвали с дипломатического поста, он не пожелал мириться с тем, что вместо валюты ему стали платить польские злотые. Но тот же Путрамент сообщил нам в своих заметках «На литературном фронте», что экономические успехи стран народной демократии гарантируют высокий и постоянно растущий уровень жизни в Польше, а также неизбежное падение доллара и пауперизацию Запада. Тут получается неувязочка: ведь с польским злотым все о'кей. Если Милош хотел получать больше денег, ему бы следовало — согласно книге «На литературном фронте» — остаться в Польше. Если же принять тезис, что ключ к характеру Чеслава Милоша

— материальный оппортунизм, то книга «Два глотка Америки» подсказывает: на Запад поэт уехал именно потому, что не со злотым все о'кей, а с долларом. Но, может, дело вовсе не в том, где и с чем о'кей, а в том, что Путрамент г… и здесь и там; и вообще.

Однако, предрекает Путрамент, на Западе Милош карьеры не сделает. Почему? Плохой год выбрал. Цитирую: «1948 год был бы лучше. Можно было сослаться на расправу с Гомулкой, которая открыла дезертиру глаза». Путрамент хочет сказать, что арест Гомулки мог бы быть Милошу на руку. Возможно, Милош выбрал не лучший год, но Путрамент еще менее удачно выбрал время для описания расправы с Гомулкой: книга «Два глотка Америки» подписана в печать 14. VI. 56 и в июне же вышла; несколько месяцев спустя поверженному Гомулке[37] представился случай пожать руку своему товарищу и члену Центрального Комитета Ежи Путраменту.

В заключение Путрамент высказывает еще одно предположение: Милош убежал, испугавшись

---

[37] Примечания: 37

Владислав Гомулка в 1948 г. «за правонационалистский уклон» был снят с поста генерального секретаря ЦК и арестован; после освобождения из тюрьмы и реабилитации был избран первым секретарем ЦК (октябрь 1956 г.).

войны, которая — по мнению Путрамента — в 1950–51 годах была на носу (я пользуюсь его терминологией). Путрамент: «В то время остаться в Польше? Дождаться страшных атомных грибов? Еще раз увидеть, как по несчастной стране прокатится самая чудовищная из войн?» Но о какой войне и о какой опасности речь? Ведь с нами ничего не могло случиться (см. «На литературном фронте»); ведь звучный, как набат, голос Сталина заверял нас, что войны не будет; да и сам Путрамент, описывая неудачи американцев в Корее, свидетельствовал об их полном бессилии. Так что же, черт подери, заставило Милоша принять роковое решение?

И тут следует серия ударов ниже пояса: Милош во время войны жил по литовскому паспорту, чем обеспечил себе личную безопасность. В войну каждый старался обзавестись липовыми документами; в чем разница между кенкартой и литовским паспортом, Путрамент не объясняет. Да и разве человек, обладавший — по словам самого Путрамента — громадным литературным даром, не имел права сделать все, чтобы выжить и стать летописцем страшного времени? Допустим, что не имел; тогда зачем было его удерживать в Польше силой, мотивируя это желанием спасти

выдающийся талант? Если после войны ради спасения Милоша у него хотели отобрать паспорт, почему во время войны ему самому нельзя было спасаться с помощью паспорта? Нет, Путрамент мало чему научился у Вышинского. Как бывший полицейский осведомитель, я не верю, что Ежи Путрамент был агентом НКВД, о чем сам он говорит с юмором и присущей ему горячностью; свой донос он написал плохо.

И еще один запрещенный удар: Путрамент утверждает, что, когда Милош выбрал свободу, американцы отказали ему во въездной визе. Почему — нетрудно догадаться, и Путраменту легче, чем многим другим; но я попытаюсь дать объяснение на основании собственного опыта. Когда стукача пристраивают на работу, следом за ним пускают дезинформацию: дескать, он реакционер, противник режима, мечтает о реставрации капитализма и т. д. Таким образом агенту создают максимально благоприятные условия: окружающие принимают его за своего и выкладывают все, что думают, а уж он знает, как поступать дальше. Если же на Запад удирает человек масштаба Милоша, о нем распространяют информацию противоположного свойства: дескать, он был агентом органов безопасности,

антиамерикански настроен, ради денег и житейских благ доносил на своих коллег и т. д., и т. п. Для вящей убедительности изготавливаются поддельные фотокопии документов, подкрепленные устными показаниями свидетелей и соответствующими измышлениями. На проверку такого рода дезинформации уходят годы; но полностью рассеять подозрения удается далеко не всегда. Я никогда не читал прозы Путрамента, но в роли доносчика он меня разочаровал; хотя, думаю, для него донос то же самое, что для меня: наиболее любезный сердцу жанр.

Я много написал о Путраменте и Милоше, что на первый взгляд имеет мало общего с заголовком «Goofy, the Dog», но сделано это сознательно. Если Путрамент когда-нибудь рискнет остаться на Западе, ему не придется преодолевать такие трудности, с какими столкнулись Милош и я. Сколь ни скверный из него доносчик, но годика два он не будет испытывать финансовых затруднений, однако потом умрет с голоду, и произойдет это в тот самый день, когда он попытается написать одну страницу прозы. Я, кстати, немалым обязан Путраменту: однажды, сидя в берлинском Клубе журналистов, я прочитал в «Известиях» пасквиль на свою персону, где говорилось, что я растли-

тель душ; что я общественно вредный элемент; что таких, как я, нельзя… и так далее, в том же роде. «Известия», как мы знаем, выходят в России, но автором доноса был польский писатель Ежи Путрамент. Дело происходило в июле тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года; отложив газету, я впервые подумал, что, возможно, мне никогда уже не вернуться в Польшу. Так оно и случилось.

Я, Goofy, the Dog, когда началась заварушка во Вьетнаме, пошел в американское консульство в Палермо и попросил разрешения вступить в американскую армию и отправиться на войну. Мне объяснили, что это возможно лишь при одном условии: если я получу эмигрантскую визу и запишусь в армию на территории США. Но ведь сказал же президент Кеннеди в своей инаугурационной речи: «Не спрашивай, что Соединенные Штаты Америки могут для тебя сделать. Спроси самого себя, что ты вместе с Америкой можешь сделать для всех людей на свете».

Я, Goofy, the Dog, для Америки ничего не могу сделать. Но Путрамент и ему подобные могут, и немало. Когда после того, как я выбрал свободу, американские журналисты спрашивали, что, по моему мнению, должны делать американцы, дабы продемонстрировать полякам свою

симпатию, я не нашел ответа. Сейчас я знал бы, что им посоветовать. Нужно давать стипендии и вообще всячески поддерживать людей вроде нашего Мыслителя. Пускай те к вам ездят и потом оплевывают вашу великую и прекрасную страну — каждый читатель в Польше будет понимать их слова наоборот. Пускай пишут о вашей прекрасной литературе, что она никуда не годится; пускай пишут о ваших прекрасных солдатах, что они преступники; пускай пишут о генерале Паттоне, что он трус, а о ваших заводах, где люди зарабатывают на жизнь, что это ад, унижающий и оболванивающий человека. Но пишут пускай только такое; я же хотел всего лишь отдать свою кровь, однако она оказалась недостаточно хороша для звездного флага. И, ради бога, не спрашивайте нас, что мы можем сделать. Я не могу сделать ничего.

Феликс Дзержинский и Богарт

Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».

Владимир Маяковский

Конечно, лучше всего было б жить так, как жил Феликс Дзержинский. И вообще, надо крепко запомнить, что хорошо живется только за счет рабочего класса; к сожалению, это не всегда возможно. Сию печальную истину вы осознаете лишь после того, как попросили политического убежища, и единственное ваше имущество — клеенчатая сумка, в которую американский народ вложил свой дар беглецу из-за железного занавеса: зубную щетку, полотенце и мыло. Содержимое сумки можно загнать за пятьдесят

пфеннигов; но должно очень повезти, чтоб нашелся идиот, который пожелает это купить.

А как быть, если вам по-прежнему хочется писать? Дело упрощается, если вы бывший коммунист, член ЦК или высокий чин из Управления безопасности; шпион или дипломат. Беглец из-за железного занавеса, который шпионил в пользу Кремля, вырывал у своих братьев ногти или стрелял им в затылок, всегда найдет заботливых покровителей, поскольку является козырем в пропагандистской игре и может пригодиться для борьбы с коммунизмом; порядочный человек, который ни коммунистом, ни шпионом никогда не был, для западного общества только лишняя обуза; всем прекрасно известно, что народы Восточной Европы ненавидят commies, и такого человека нельзя использовать в целях пропаганды. Заявление, что вечером темно, а утром светло, на Западе сенсацией не становится. Перебежчика ждут годы мытарств, унижений, ожидания визы; годы пустоты и отчаяния.

Не стоит также прикидываться разочарованным писателем-коммунистом. До пятьдесят шестого года такие номера проходили, но потом, благодаря Хрущеву, ситуация изменилась, и сегодня красный интеллектуал уже не может,

раздирая на себе одежды, сокрушаться, что ничего не знал о миллионах, замученных в тюрьмах и лагерях; не может публично недоумевать, как это он не замечал прогрессирующего обнищания страны и страданий своих близких, про которых старался писать правду. Короче: он не может утверждать, что не видел и не слышал того, что видели и слышали все от мала до велика, каждый рабочий и каждый прохожий. Конечно, от красных мыслителей нельзя требовать чересчур многого; но теперь им уже ничто не поможет. А вот шпионы и сановники по-прежнему будут встречать радушный прием и жить припеваючи. До поры до времени, разумеется. Книга Кривицкого «I was Stalin's agent»[38] заканчивается словами: «Мне в очередной раз повезло». Автор имеет в виду неудавшееся покушение: тогда он уцелел, но полгода спустя был найден мертвым в вашингтонской гостинице. Commies везет сплошь и рядом; только со смертью шутки плохи.

Но что же все-таки делать пишущему человеку, который никогда не состоял в партии; который не сочинял гимнов в честь политической полиции и которого отказывались издавать на родине по

---

[38] Примечания: 38
«Я был агентом Сталина» (*англ.*).

причине его нелояльности? Задача не из легких. Попробуем подумать, как следует поступать, когда ты подыхаешь с голоду, ни один издатель не дает аванса, а за углом уже поджидают неумолимые кредиторы.

1. Безумие

Притворяться сумасшедшим непросто, но можно научиться, если проявить настойчивость и смекалку. Легче всего симулировать манию преследования; на это, правда, требуется время. Когда мы убеждаемся, что денег осталось только на два месяца, — пора начинать. В один прекрасный день мы отправляемся в комиссариат полиции с просьбой выдать разрешение на ношение оружия. На вопрос, для какой цели нам понадобился пятнадцатизарядный пистолет марки FN, отвечаем, что за нами уже несколько недель следит какой-то субъект в кожаном пальто, черных очках и с тростью в руке; попутно мы высказываем предположение, что в трости у него — шпага («Gilda» starring by Rita Hayworth and Glenn Ford[39]). Естественно, нас вышвыри-

[39] Примечания: 39
«Гильда», в главных ролях Рита Хейворт и Глен Форд (*англ.*).

вают ко всем чертям. Через пару дней мы опять приходим и рассказываем ту же историю, с той лишь разницей, что теперь за нами ходит по пятам совершенно другой человек, без очков, но с портфелем; мы полагаем, что в портфеле у вышеупомянутого незнакомца бомба с часовым механизмом, которую он хочет подложить в багажник нашего автомобиля («A Touch of Evil» directed by Orson Welles[40]). На вопрос, есть ли у нас машина, мы отвечаем, что нет; но иногда мы берем такси, и вышеозначенный субъект вполне может сунуть туда свою бомбу. Опять нас выгоняют в шею; но в комиссариате уже усекли, что мы приходили два раза; можно даже три или четыре, но не больше.

Ни в коем случае нельзя начинать с визита к врачу — сумасшедший не подозревает о своем недуге и уверен, что подвергается преследованию по политическим мотивам. На все уговоры друзей, советующих обратиться к психиатру, мы отвечаем отказом или даже легкими вспышками гнева. В конце концов мы прекращаем всякие контакты с внешним миром, запасаемся снотворным и снимаем номер в гостинице. Оттуда

---

[40] Примечания: 40
«Печать зла», режиссер Орсон Уэллс (*англ.*).

мы звоним самому близкому приятелю в другой город и говорим, что нашли для него железную возможность заработать большие деньги; однако он должен нам перезвонить завтра в полдень. Приятель обещает, что позвонит; мы заглатываем горсть снотворных таблеток и пишем прощальное письмо родным, где объясняем, что по причине преследований и отсутствия какой бы то ни было помощи решаемся на самоубийство; благословив в последних строках детей и младших сестер и братьев, мы засыпаем.

На следующий день приятель звонит в назначенное время, но в гостинице не могут нас добудиться. Немного погодя встревоженный портье стучится к нам в дверь и, не получив ответа, силой ее взламывает, а мы приходим в себя в желтом доме, в окружении психиатров и дебилов.

Это один способ. Кончать с собой лучше всего в Мюнхене: нас отвозят в больницу в Хааре, где нам не грозит одиночество — больница рассчитана на четыре тысячи двести пациентов. По немецким законам каждый несостоявшийся самоубийца обязан пробыть под наблюдением врачей не меньше трех месяцев. Три месяца — срок небольшой; но можно отъесться и придумать какую-нибудь историю, которую мы потом

запишем и, глядишь, чего-нибудь заработаем. Несметное количество Юлиев Цезарей, Христов и внебрачных сыновей герцога Виндзорского скрашивают нам жизнь. В последний раз моим соседом по палате был император Абиссинии; за стенкой лежал священник, которого нацисты так страшно мучили, что он лишился рассудка и, выйдя из тюрьмы, не в состоянии был понять, что война окончилась и он свободен; бедняга продолжал ждать исполнения приговора. Поскольку я внешне напоминал ему знакомого эсэсовца, он каждое утро осведомлялся:

— Ну уж сегодня-то меня расстреляют?

А я его успокаивал:

— Куда торопиться, отец. И без вас работы до черта. Другим моим соседом был некий Р., просидевший три года в Освенциме. Он добивался от немецкого правительства компенсации, и его положили на обследование. Р. симулировал манию преследования и — не придумав ничего умнее — утверждал, что призраки не дают ему спать. Мы подружились, и я — так называемый вольный псих, то есть псих с правом прогулок вне пределов больницы, — брал машину и ехал в Мюнхен, где покупал соседу психедрин и бензедрин, разгонявшие сон. Со временем Р. разрешили

гулять под моим присмотром; я сажал его в машину и увозил в лес, где оставлял в автомобиле. Р. немедленно засыпал, а я отправлялся в пивную. В этой пивной собирались все алкоголики, исцеленные немецкими психиатрами. Алкаш, прежде чем получить разрешение на прогулку за воротами больницы, должен был в присутствии врача проглотить таблетку антабуса или ангикола. Это не беда; вы глотаете таблетку, врач заглядывает вам в пасть, и — можно смело пилить в пивную. Там вы заказываете пиво и отхлебываете самую малость; у вас немного шумит в голове и физиономия становится красной, как маки под Монте-Кассино[41]. Эту первую реакцию надо переждать, а потом снова выпить глоточек — вторая реакция гораздо слабее. Через час вы уже пьете за троих, распевая вместе с другими излечившимися алкоголиками баварские песни, которые, правда, не слишком благозвучны, но привыкнуть можно. Я проводил в пивной два часа, а затем ехал за Р. и запихивал в него таблетку психедрина, чтобы он мог ночь напролет выть.

---

[41] Примечания: 41

В битве под Монте-Кассино во время второй мировой войны принимал участие героически сражавшийся корпус польской армии под командованием генерала Андерса; «маки под Монте-Кассино» — цитата из популярной песни.

При симуляции мании преследования очень полезно отказываться от приема пищи: мы боимся отравления. Нельзя поддаваться на ласковые уговоры врачей и соглашаться, чтобы санитар пробовал каждую ложку, прежде чем сунуть ее нам в рот; нужно вырываться, плеваться и орать; через несколько дней нам начнут делать вливания, то есть вводить в организм большие количества витаминов; мы отчаянно сопротивляемся, и нас вынуждены привязать к кровати ремнями. Почувствовав иглу в вене, мы начинаем вопить еще пуще, с ужасом глядя на бутылку с питательным раствором. Потом впадаем в депрессию; проходит еще несколько дней, и на бутылку, содержащую животворные витамины, мы взираем уже не со страхом, а с тупым безразличием. После чего — спустя четырнадцать дней — начинаем жрать и жрем много и долго, пока судья и врачи не решат, что нас пора отпустить на волю.

К наркотикам — таким, как морфий, мескалин или «снежок», — прибегать не следует, наркоманов держат в больнице два года — по крайней мере, в Германии. В этом есть свои преимущества, но надо еще хорошенько подумать. Тем более, что люди, причисленные психиатрами к катего-

рии депрессивных маньяков, редко становятся наркоманами. Об этом я узнал от берлинских психиатров; короче, прежде чем назваться наркоманом, необходимо проконсультироваться со специалистами. Симулировать алкоголизм дорого и отнимает много времени; самое лучшее все-таки самоубийство. Если нет денег на снотворные или номер в гостинице, можно обойтись мостом, с которого мы в плавный устремимся полет.

В больнице лежать скучновато, поэтому напоминаю, что лучшая больница — в Хааре. Она состоит из комплекса живописно расположенных в лесу зданий; среди них есть корпус для медсестер, которых — имея разрешение на одинокие прогулки — можно навещать. Делать это, правда, следует с осторожностью, поскольку сестре за роман с психом грозит увольнение. Есть при больнице и кладбище, где можно выспаться в тени кленов на обратном пути из пивной, чтобы протрезвиться. Через три месяца наступает исцеление; впрочем, остается шанс, что нас задержат — если приступы депрессии будут повторяться.

Еще надо каким-то образом раздобыть деньги. Для этого существует немало способов. Больным, которых отучают от снотворных, мы покупаем

в Мюнхене таблетки; алкашам — коньяк. Действовать нужно осмотрительно: у пациентов постоянно берут мочу на анализ, проверяя наличие в ней следов барбитуратов или алкоголя. Выгоднее всего торговать бензедрином; в бензедрине нуждаются бывшие узники концлагерей, которые — дабы получить компенсацию от правительства ФРГ — прикидываются, будто их мучают по ночам кошмары. Эти ребята не спят, потому что им мерещатся печи крематориев, эсэсовцы и колючая проволока. Психедрин или бензедрин иногда можно с успехом заменить растворимым кофе; псих сжирает баночку и потом целую ночь носится по коридорам, рассказывая санитарам о своих видениях, а санитары с доброй улыбкой его успокаивают:

— Все будет хорошо. Попробуйте немного поспать. А завтра поговорите с доктором.

Беседа с доктором — штука нехитрая; врачам еще не удалось вылечить ни одного психа, зато сами психиатры сплошь и рядом свихиваются или становятся морфинистами. Рассказывая о своей ужасной жизни, нельзя перегибать палку, а вот так называемое трудное детство — тема благодатная: как известно, нет человека, детские годы которого не были бы сущим адом. Только

не нужно подсказывать врачам, что причина нашей депрессии — семейная патология, а именно: отец — алкоголик, мать — нимфоманка, бабка — самоубийца, дедушка — садист и так далее. Наследственность — дело темное; тут ничего не стоит попасть впросак. Зато можно сколько угодна распространяться о наших мытарствах в странах народной демократии. Отличная тема — шантаж со стороны политической полиции. Нам предлагали сотрудничать, а мы отказались, и теперь от шагов на лестнице нас бросает в дрожь. Мы пугаемся, завидев мундир, даже если это мундир пожарного или солдата папской гвардии. Цепенеем, стоит кому-нибудь запеть «Очи черные». Но плачем при виде красного знамени — ведь мы покинули Страну под Солнцем Сталинской Конституции и чувствуем себя вроде как ренегатом. Наше представление о морали и чести подсказывает, что земля, на которой человек родился, дорога ему независимо от того, что на ней происходит. Вот главная наша беда: мы испытываем ностальгию по кошмару. Тут уж нас не подловишь; в этих случаях врачи попадаются как младенцы.

В беседах с немецкими психиатрами неизменно всплывает мотив оккупации. Мы рассказываем,

что в детстве бывали свидетелем экзекуций. Это очень важно. Рассказывать надо с мельчайшими подробностями; именно мелочи навсегда застряли в нашей памяти, и потому мы так многоречивы; другие эпизоды из детства мы помним смутно и не в состоянии связать воедино.

Врач. Вы можете припомнить, когда получили игрушку, о которой долго мечтали?

Мы. Игрушку?

Врач. Да. Какую-нибудь игрушку, о которой мечтали в детстве?

Мы (собираемся с мыслями, видно, как нас охватывает ярость от того, что не можем вспомнить, наконец выдавливаем). Жена подарила мне на свадьбу машину.

Врач. Нет, я прошу рассказать, когда вы получили игрушку, о которой мечтали в детстве. Когда это было?

Мы. Когда это было?

Врач. Да, когда это было?

Мы. Это было в декабре сорок третьего. На Рождество. Я возвращался домой, и на Гвардой нас задержали немцы… (Умолкаем)

Врач. Продолжайте. Не забывайте: я прежде всего врач и понимаю, что вам тяжело.

Мы. Да, доктор, мне действительно трудно го-

ворить с вами о таких вещах. У меня в Германии много друзей. Я понимаю: с помощью голода и террора с любым народом можно сделать все что угодно. Как католик (протестант, еврей, грекокатолик, баптист и т. д.), я не имею права считать, что один народ хуже или лучше другого. В определенных условиях всякий народ может желать уничтожения другого народа.

Врач. Пожалуйста, успокойтесь. Это очень важно. Значит, как было дело?

Мы. Я возвращался домой, а немцы нас задержали. Это было на Гжибовской площади. Все стояли и ждали; потом приехали два грузовика с заложниками. У них рты были залиты гипсом… нет, прошу прощения, заклеены пластырем. Вот таким… (Озираемся.)

Врач. Вы имеете в виду широкий пластырь, верно?

Мы. Да. Рты у них были заклеены пластырем. Их поставили к стене, а потом дали очередь из автоматов. Когда они уже лежали на земле, унтер-офицер подходил и стрелял между глаз тем, кто еще был жив. Приседал на корточки и стрелял сбоку, чтобы не было рикошета. Почему-то из револьвера, а не из парабеллума. Вы знаете, чем парабеллум отличается от револьвера?

Врач. Да.

Мы. Это меня и удивило — ведь в немецкой армии не было револьверов, у них были пистолеты: Р-38, маузеры, парабеллумы. А я точно помню, что у унтер-офицера был револьвер: когда в барабане кончились патроны, он стал его перезаряжать — пулю за пулей…

Врач. Но что вам подарили на то Рождество? Это ведь был сочельник, верно?

И тут наступает минута пугающего молчания и растерянности. Мы с ужасом осознаем, что ничего не можем вспомнить. И наконец говорим, что помнили, но в процессе рассказа забыли: было Рождество, мы получили какой-то подарок, но какой — одному Богу известно.

Деталь с револьвером чрезвычайно важна: зрелище публичной казни заслонило все остальное; в память врезалось, что у немецкого унтер-офицера был револьвер, а не пистолет; прошло уже двадцать лет, а мы не в состоянии это забыть. Изобилия деталей не нужно: достаточно одной, на первый взгляд незначительной, — не все ли, в конце концов, равно, убивали из маузера или из Р-38; но именно на этой мелочи мы зациклились, именно этого не можем забыть. Неважно, что у людей были заклеены (или загипсованы) рты, —

ведь мы наблюдали жуткие сцены целых шесть лет, и они бесследно забылись, так как смерть — самая неизбежная вещь на свете — в те годы стала обыденностью; в нашей памяти сохранилась малосущественная подробность, но как раз она многое говорит идиоту психиатру, сидящему напротив нас. Не надо играть на высоких тонах; экзекуции, печи крематориев, атомные бомбы — это все лишнее. Куда важнее одна маленькая деталь, которая, застряв в нашей памяти, со временем приобретает масштабы символа и в конечном итоге становится сущим наваждением. Это означает, что наше восприятие добра и зла неподконтрольно разуму; бесчеловечность перестала нас возмущать — нам не дают покоя пустяки, для которых мы не находим объяснения. Итак, мы помним только, что револьвер был нетипичный, а унтер-офицер стрелял в умирающих так, чтобы избежать рикошета. И неважно, что пять минут назад мы утверждали, будто он стрелял своим жертвам между глаз, что абсурдно, поскольку люди падали на землю ничком. Наш рассказ вовсе не должен быть логичным: мы не в своем уме и не способны собрать разбегающиеся мысли. Излишняя логичность может показаться подозрительной.

Если спустя некоторое время врач поинтересуется, не хотим ли мы вернуться к жене, мы скажем, что не хотим, а на вопрос этого болвана, чем мотивировано такое решение, ответим: мы пришли к выводу, что больного человека нельзя любить; мы решили уйти, чтобы не ломать жизнь любимой женщине, и уже написали ей письмо, признаваясь в изменах, которых не совершали. Это свидетельствует о том, что жену свою мы любим больше всего на свете, но одновременно доказывает, что не вышли из депрессии, хотя болезнь приняла более легкую форму. Все это, ясное дело, уместно в том случае, если у нас действительно есть жена и мы не прочь какое-то время побыть от нее подальше; если жены нет, надо сказать доктору, что у нас есть подруга, такая же несчастная, как мы; и что мы не желаем ломать ей жизнь. Для нас не секрет, что в нее влюблен сосед-мясник или молодой спортсмен — обладатель собственного автомобиля, а нам известно, что наша возлюбленная обожает быструю езду. Но даже этого мы не можем ей предложить. И потому решили с ней порвать.

Бедность — фактор необычайно важный; к самоубийству нас подтолкнула нищета. Какой позор: нам уже за тридцать, а единственное на-

ше имущество — электробритва, которую мы получили в дар от предоставившего нам политическое убежище американского народа. Нашу суть идеально определяет красивое английское слово loser, то есть неудачник. Писателю ничего не стоит придумать, как случилось, что он потерпел в жизни крах: год он работал на знаменитого голливудского режиссера; от этого зависело его будущее; они с режиссером подружились; но в писателя влюбилась жена режиссера-миллионера… короче, нас погнали ко всем чертям. Несколько подобных случаев и, как следствие, нищета и мучительное чувство стыда толкнули нас на отчаянный шаг; да, да: неудачи, нищета и унизительная необходимость жить на содержании у жены (если это на самом деле так). Тогда беседа между идиотом-врачом и идиотом-пациентом будет выглядеть следующим образом:

Врач. И что же все-таки заставило вас принять решение покончить с собой?

Мы. Пожалуйста, могу рассказать. Если вы готовы слушать меня тридцать два года. Столько, сколько я живу на свете. Вряд ли у вас хватит терпения…

Врач (мягко). Расскажите, что стало так называемой последней каплей? Это очень важно.

Мы. Да что тут может быть важного, если имеешь дело с таким человеком, как я? Важно другое: от нас (таких, как я) нужно держаться подальше. Но я все же попробую кое-что объяснить. Когда умирает нормальный свободный человек, заканчивается жизнь, полная опасностей, борьбы, радостей. Но когда умирает нищий, кончается только стыд.

На глазах у нас слезы. Последнюю фразу мы украли из кинофильма «Спартак». Керк Дуглас решил погибнуть вместе со своими соратниками, потому что Красс перекупил флотилию, на которой они собирались удрать; остался только один корабль; капитан корсаров уговаривает Спартака прихватить драгоценности, Джин Симмонс и начать новую жизнь; Дуглас с негодованием отвергает его предложение.

Капитан корсаров. Почему ты решил погибнуть, Спартак?

Керк Дуглас (после минутной паузы, с поначалу горькой, потом надменной улыбкой). Когда умирает свободный человек, заканчивается жизнь и т. д., и т. п. Но когда умирает раб — кончается только боль.

Вообще-то в Германии прикидываться ненормальным нетрудно, но еще лучше это получается

в Израиле. Во-первых, у нас есть знакомые врачи, которые сами с приветом и готовы сделать для нас все, что в их силах; во-вторых, психические заболевания среди иммигрантов из Европы очень распространены — слишком много довелось этим людям страдать по милости таких благодетелей человечества, как Гитлер, Сталин и наш товарищ Томаш. Трудное детство остается; кошмар оккупации остается; а вот вариант с гонениями со стороны политической полиции стоит изменить. В Польше в аппарате госбезопасности было изрядное количество евреев; сплошь и рядом их вербовали с помощью шантажа, но об этом мало кто знает. Великий Сталин сумел раздуть антисемитизм — один из самых позорных грехов польского народа. В своих планах Сталин проявил большую мудрость, чем Гитлер; он знал, какие чувства должны возникнуть в душе среднего поляка, попавшего на допрос к представителю семитской расы в мундире сотрудника УБ; вот вам: евреи, которые подвергались таким ужасным гонением во время войны, теперь отыгрываются на поляках; гениальный Зютек понимал, что страдание облагораживает только в книжонках для сентиментальных барышень. Странно, что ни один из польских публицистов

не поднял голос в защиту этих людей, которых прямо из тюрьмы НКВД отправляли в тюрьму УБ уже в новом качестве — палачей братьев своих.

В Израиле жизнь психа усеяна розами. Красивая страна, солнце, апельсиновые рощи, где можно гулять и жрать витамины. В некоторых психбольницах применяется трудотерапия; психи работают на строительстве домов или дорог, получают задарма пропитание и чистое белье, а заработанные деньги откладывают до лучших времен, чтобы по выходе из дурдома начать новую жизнь или вернуться к любимым вредным привычкам. Второй вариант кажется мне более распространенным: как эмпирик, в данном случае я полагаюсь на собственный опыт.

Остается только решить проблему наших отношений с политической полицией. Мы сохраняем трудное детство: публичные экзекуции, револьвер в руке присаживающегося на корточки унтер-офицера, — а вот как нас шантажировали агенты Управления безопасности, рассказываем по-другому. Нам предлагали стать осведомителем УБ; мы отказались, но с тех пор боимся решительно всего: шагов на лестнице, ночных телефонных звонков, мундиров папской гвардии и т. д.

Врач. Пожалуйста, расскажите, как это было.

Мы молчим.

Врач. Говорите. Не забывайте, что я прежде всего — врач.

Мы молчим.

Врач. Этот офицер был…

Мы не даем врачу докончить.

Мы. Да. Мне трудно говорить с вами о таких вещах. У меня в Израиле много друзей. Я понимаю: с помощью террора и голода с любым народом можно сделать все что угодно. При определенных обстоятельствах любой человек способен обойтись со своим ближним хуже последнего негодяя. Как католик (протестант, баптист, грекокатолик и так далее), я знаю, что все люди…

И снова мы выигрываем время, чтобы отъесться и придумать какую-нибудь книгу или рассказ. Через неделю-другую можно попроситься на работу на стройку; за несколько месяцев мы скопим немного деньжат, чтоб потом писать в свое удовольствие. Только чертовски важно правильно выбрать вид психического заболевания. Проще всего симулировать манию преследования; при этом, повторяю, в больнице необходимо первое время отказываться от пищи: ведь мы подозреваем врачей в сговоре с гестапо, УБ или мафией «Коза ностра», задумавшими нас прикончить.

Голода испытывать мы не будем — от этого нас избавят вливания. Неплохо притвориться, что нам слышатся голоса, приказывающие сделать то или иное: например, убить тещу, покончить с собой и т. п. Но если мы испытываем только временные финансовые затруднения, сойдет и неудавшаяся попытка самоубийства. За три месяца можно сочинить кучу занимательных историй.

2. Разочарование в коммунизме

Это уж совсем дохлое дело: на дивиденды рассчитывать не приходится. Commies создали абсурдный мир, но у нормального человека нет ни времени, ни охоты забивать себе голову такими вещами, как лагеря на Колыме, Лубянка и ночные допросы. Мне рассказывали, что в лагерях Крайнего Севера заключенные, задумав побег, иногда уговаривали присоединиться к ним кого-нибудь из новеньких, чтобы по дороге кормиться его мясом. Я знаю, что это правда; но поверить, тем не менее, трудно. Читая недавно «Воскресение», я наткнулся на аналогичную историю о каторжнике, который пытался убежать из Сибири; известно, что он взял с собой прия-

теля, которого убил, и сотни километров тащил на себе труп, питаясь человечиной. Но подобные истории никого не интересуют, да и нельзя заставлять нормальных людей в такое верить.

Когда я рассказывал на Западе, как живется в Польше, меня слушали с вежливым равнодушием. Потом я перестал говорить на эту тему; а потом мой гнев остыл. Вправе ли я был вынуждать западного человека поверить, что заключенные поедают друг друга; что проявления братских чувств нам недешево обходятся; что, работая как вол, я зарабатывал на жратву хуже той, которую дают в тюрьме в Яффе? Я плохо себе представляю, что такое мораль; кажется, это весьма растяжимое понятие; но одно я знаю твердо: нельзя требовать от людей, чтобы они в такие вещи верили.

У нас, поляков, вообще — в любом деле — шансы на удачу невелики. Русская книга, даже самая слабая, всегда будет пользоваться в тысячу раз большим успехом, чем хорошая польская. Книжка Херси[42] ерунда по сравнению с тем, что написал Адольф Рудницкий; даже само сравнение для Рудницкого, по-моему, унизительно.

---

[42] Примечания: 42

Джон Ричард Херси (1914–1993) — американский писатель. Речь, вероятно, идет о его романе «Стена».

Книгу Юриса «Миля 18»[43] вообще нельзя ни с чем сравнить, настолько она глупа. «Один день Ивана Денисовича» — повесть слабая, но имеет огромный коммерческий успех; «Иной мир» Грудзинского[44] — потрясающий документ, но не думаю, что расходится так же, как «Иван Денисович». «Слепящая тьма» Кёстлера, книга сегодня уже классическая, с литературной точки зрения беспомощна и полна ляпов, свидетельствующих о том, что автор плохо себе представляет, как выглядит тюрьма: например, герой романа видит из своей камеры друга, которого ведут на казнь, хотя увидеть что-либо через глазок можно лишь со стороны коридора. Другой герой во время прогулок по двору рисует Рубашову карту СССР — у него есть бумага и карандаш, что в тюрьме запрещено. Еще один носит часы на цепочке — и так далее. Все три персонажа — Рубашов, Иванов и Глеткин — фигуры одномерные; сам Кёстлер признается в своей автобиографии, что его герои — не живые люди, а изрекающие сентенции

[43] Примечания: 43

Леон Юрис (1924–2003) — американский писатель, автор историко-приключенческих романов.

[44] Примечания: 44

Густав Херлинг-Грудзинский (1919–2000) — польский писатель, узник сталинских лагерей; политический эмигрант, жил в Италии; «Иной мир» вышел на русском языке в издательстве «Прогресс».

марионетки. Когда читаешь сейчас «Слепящую тьму», невозможно отделаться от впечатления, что это всего лишь сентиментальная лекция о тоталитаризме; и дела не спасают ни цитаты из Библии, ни цитаты из Макиавелли. Однако все перечисленные книги написаны русскими или людьми «оттуда»; их успех легко объясним; если б мне захотелось что-нибудь узнать об Америке, я бы предпочел поговорить часок с не блещущим умом американцем, чем беседовать четыре часа с самым умным пуэрториканцем. И довольно об этом; на разочаровании в коммунизме и гроша ломаного не заработать.

3. Сутенерство

Сутенерство — профессия необычайно трудная, требующая высокого актерского мастерства, крепких нервов и умения быстро принимать решения. Кроме того, необходимо располагать широкой гаммой чувств: от крайней жестокости до поистине овечьей кротости. Однако даже уроки Рейнхардта, Казана[45] или Станиславского не

[45] Примечания: 45

Макс Рейнхардт (1873–1943) — немецкий режиссер и актер; Элиа Казан (род. в 1909 г.) — американский режиссер театра и кино, писатель.

помогут стать сутенером, если мы сами не овладеем ремеслом лицедея, проявив незаурядную силу воли и настойчивость. Мне рассказывали, что американский актер Берт Ланкастер заставлял своего слугу запирать его на много часов в комнате, где были только стул и зеркало; отпирать дверь он разрешал не раньше указанного времени, даже если начнет, озверев от одиночества, колотить в нее кулаками. Не знаю, насколько правдива эта история, но пример заслуживает подражания.

Вопреки распространенному мнению и представлениям, вынесенным из книг и фильмов, отобрать профессиональную проститутку у другого сутенера труднее, чем заставить пойти на панель порядочную девушку. Всякую женщину можно превратить в проститутку, пустив в ход такие аргументы, как обещание помочь с получением музыкального или медицинского образования, купить загородный домик, создать условия для новой жизни, сулящей нравственное возрождение. А увести у сутенера проститутку сложно по двум причинам. Во-первых, девица любит своего пастыря и, ежедневно ложась с ним в постель, как бы морально и физически очищается; во-вторых, нас могут «писануть» дружки

вышеупомянутого пастыря, причем полиция пальцем не пошевелит, ибо все полицейские в мире куплены сутенерами и их питомицами.

И все же поразмышляем на эту тему. Предположим, мы увидели красивую проститутку. Она сидит в кабаке; мы смотрим на нее голодными глазами. В первый вечер мы ничего не говорим; выпиваем кружку пива и уходим. В дверях на минуту приостанавливаемся и бросаем на нее последний взгляд — на этот раз исполненный ненависти; мы уже открыли рот, собираясь что-то сказать, но внезапно поворачиваемся и уходим. Затем мы отправляемся к своей невесте и долго убеждаем ее, что Шиллер лучше, чем Гете. Или наоборот; это не имеет решительно никакого значения.

На следующий день мы идем в кино на фильм с Хэмфри Богартом. Лучше всего на «Касабланку» — это жуткая пошлятина, но Боги там гениален и у него можно многому научиться. Особое внимание надо обратить на сцену, когда Ингрид Бергман, бывшая любовница Богарта, приходит к нему с просьбой помочь мужу, которого вот-вот арестует гестапо; только Богарт может его спасти. Почему во всей Касабланке кроме Богарта некому спасти этого зануду, не знаю; но это и неважно.

Полночь. Богарт сидит и пьет виски из большого стакана; перед ним пепельница с кучей окурков. За стеной негр наигрывает на пианино любимую мелодию Богарта и Бергман. Раздаются шаги, входит Ингрид Бергман. Приближается к Богарту. На лице Богарта не дрогнул ни один мускул.

Бергман. Ты должен ему помочь. Этот человек борется за самое благородное дело на свете.

Богарт. Извини. Кроме собственной персоны, меня никто не интересует.

Бергман. Если ты не поможешь, он здесь погибнет.

Богарт. Я тоже здесь подохну. (Минутная пауза; затем добавляет успокаивающе.) Тут очень уютное кладбище.

Бергман. Послушай. Этого человека я встретила совсем еще молодой девушкой. Он мне объяснил, что в жизни всего прекрасней, а…

Богарт (перебивает ее). Когда я была молода, я встретила мужчину, который… и так далее, и тому подобное. Трогательная история. Я таких черт-те сколько слыхал.

Бергман вытаскивает пистолет. Богарт разражается сатанинским хохотом. Но стакана с виски не отставляет.

Богарт. Стреляй. Ты только окажешь мне услугу.

Потрясающая сцена! Богарт говорит медленно, растягивая слова; лицо у него усталое, на губах кривая усмешка.

Как-то на вопрос журналистов, о чем он думает, когда на его лице появляется выражение усталости и покорности судьбе, Богарт ответил, что вообще никогда ни о чем не думает, а выразительности добивается очень простым способом: надевает правый башмак на левую ногу и наоборот; естественно, что при этом лицо не может быть таким спокойным и безмятежным, как у Зютека Солнышко на картине под названием «Утро нашей родины», где мы видим Отца и Учителя на фоне восходящего солнца; еще мы видим провода электропередачи, буровые вышки, самолеты и комбайны. Но не в том дело.

Самое важное — научиться вести диалог. В кино именно Богарт поставил все с ног на голову. До него актеры старались произносить свои реплики четко и гладко; Богарт в «Окаменевшем лесу» первый показал, как это правильно делать. Говорил он невнятно, глядя в сторону и запинаясь. Длинные фразы выпаливал скороговоркой, короткие — растягивал до невозможности. Созда-

валось впечатление, что он подыскивает слова, что говорить ему мучительно трудно; казалось, у него каша во рту. Брандо, актер школы Казана, говорит точно так же: мучается, сбивается, но в нем нет правды Богарта. Возможно потому, что Брандо не хватает богартовской отрешенности и спокойствия. Все прочие — Ньюмен, Клифт, Дин — дети Богарта, и, по-видимому, не случайно громкая слава пришла к нему через десять лет после смерти: за это время миллионы зрителей успели увидеть кучу его детей, ни один из которых не умел передать отчаяние и холодную решимость так, как их отец.

Назавтра, посмотрев фильм и ни на минуту не забывая уроки Богарта, мы входим в кабак, где сидит наша единственная. Одеты мы плохо и неряшливо; нам было некогда подумать о себе; мы думали о ней. По той же причине мы плохо выбриты; у нас криво завязан галстук и под глазами круги — след бессонной ночи. И морщины на лице стали глубже, и руки слегка дрожат, когда мы, широко расставив ноги, стоим в дверях и закуриваем сигарету; мы помним, как привлекателен человек, который знает, что неуклюж, и ничего не может с собой поделать.

Подходим к ней.

Мы. Сколько?

Она. Сто.

Мы ошеломлены: при нашей бедности на эти деньги можно прожить неделю. Постепенно ошеломление сменяется отчаянием: столько нам не наскрести. И вот уже мы смотрим на нее с ненавистью: ведь каждый может ее иметь; каждый, у кого есть такая сумма; а мы не можем. Потом эта ненависть обращается на нас самих: ведь нам уже за тридцать, у других в этом возрасте есть дома, машины и счет в банке, у нас же нет ничего. Мы проиграли жизнь; проиграли будущее; а теперь проиграли и эту ночь. И, погасив сигарету, мы уходим.

Она (вдогонку). Восемьдесят.

Мы резко оборачиваемся. На лице у нас уже нет ни ненависти, ни отчаяния — только холодное сознание очередной неудачи. Но через секунду мы вновь вспоминаем обо всех этих юнцах, разъезжающих на «ягуарах», соблазняющих несовершеннолетних и скучающих в Портофино. Мы смотрим на обтрепанные рукава своего плаща, и наши черты искажаются от гнева.

Мы. Я не нуждаюсь в жалости.

Уходим. Отправляемся к невесте и сообщаем ей, что Шиллер лучше, чем автор «Фауста», или

наоборот; это не имеет значения. На следующий день мы снова приходим в кабак и молча выкладываем требуемую сумму; потом идем с девицей наверх. Там, вытащив из кармана адресованное вымышленной особе письмо, говорим:

Мы. Если я завтра к тебе не приду, отправишь это письмо.

Она. Почему?

Мы. Я сегодня пришиб одного малого. Чтобы быть с тобой.

Диалог продолжается; мы рассказываем, что, повинуясь голосу сердца и поддавшись так называемому урагану страстей, но не располагая необходимыми средствами, двинули одного малого гантелью по голове и таким способом добыли деньги — пошли ради нее на преступление. Затем вручаем ей образок, купленный два часа назад у евреев; это — единственная оставшаяся у нас память о детстве; мы просим — если не вернемся до завтра — переслать его нашей матери, поскольку человек, совершивший убийство, недостоин носить образок или крестик.

Уильям Фолкнер когда-то на вопрос журналистов, какая профессия больше всего подходит пишущему человеку, ответил: для писателя ничего нет лучше, чем быть владельцем борделя.

Мотивировка Фолкнера проста: вкусная жратва, добрые отношения с полицией, окрестная шпана уважает и величает «хозяином», утром не надо спешить на работу, а вечером — развлекайся сколько влезет. Но в Европе на такую синекуру даже глупо рассчитывать. Сутенерство, впрочем, тоже неплохая профессия — если к этому виду деятельности отнестись разумно, как к временному занятию, позволяющему скопить нужную сумму, чтобы вместе с возлюбленной открыть где-нибудь маленькую гостиницу и возродиться морально. Сутенеры, имеющие несколько женщин, с ними не спят, известно, что, переспав с проституткой, альфонс утрачивает над нею власть. Но о «нескольких» нам нечего и мечтать. Если же мы все-таки заведем одну, надо первым делом заставить ее поклясться, что некоторые виды услуг она своим клиентам оказывать не станет: должно быть нечто святое, причитающееся только нам. Пусть, например, никогда не снимает лифчика. Конечно, проблема эта весьма деликатная, и пусть каждый решает ее по-своему — я, в конце концов, писатель-моралист, а не доктор Кинси[46]. Но без этого не обойтись; вы должны

[46] Примечания: 46
Альфред Чарльз Кинси (1894–1956) — американский сексолог.

настаивать, чтобы ваша девушка сохранила что-то святое исключительно для вас; и хлестать ее по щекам; и при всяком удобном случае закатывать сцены ревности. Она будет счастлива; и вы тоже. Но когда она впервые принесет вам деньги, разорвите их и выбросьте в окно, под которым будет стоять ваш приятель; назавтра он склеит купюры, а в банке объяснит, что ребенок вытащил у него из кармана бумажник и порвал все, что там было. Потом нужно попытаться покончить с собой; с этой целью мы берем бритву и пилим вены повыше локтя (ни в коем случае не на запястье!), где они защищены толстым слоем жира и мышц, о чем мы не подозреваем, поскольку действуем в состоянии аффекта. И так наша жизнь покатится среди роз и моря вина.

4. Тихая гавань

Попав в беду, не надейтесь, что кто-нибудь вам поможет. Я сам обращался за помощью к польским организациям дважды в жизни: первый раз, когда был в Израиле и, не имея разрешения на работу, подыхал с голоду; второй раз — в аналогичной ситуации. Оба раза мне отказывали; хотя, должен признаться, вежливо. Если у нас

ничего не получится с психлечебницей — в смысле тихой гавани — и с сутенерством — в смысле добывания денег для последующего морального возрождения и сочинения романа о весне чувств молодой женщины, — всегда можно отыскать прибежище, именуемое тюрьмой.

В мюнхенскую тюрьму попасть неплохо, особенно если хочешь послушать родную речь, столь необходимую для пишущего человека: каждый третий заключенный — поляк. В Мюнхене наши соплеменники ведут весьма немудреный образ жизни: спят на вокзале, а днем собираются в большом магазине в центре города, где скидываются на бутылку водки «Пушкин» (ее рекламируют как напиток для крепких парней: на этикетке изображены двое с рюмками; рядом сидит, благосклонно на них взирая, медведь). Затем эти господа снова отправляются на вокзал, чтоб немного поспать; там их арестовывают и сажают на восемь дней за бродяжничество. В тюрьме они отмываются, что недоступно на свободе по очень простой причине: у них нет ни жилья, ни документов. Несколько лет назад в Мюнхене существовала гостиница «Бункер», где можно было переночевать за одну марку; такой возможности больше нет. На вокзале ночуют также итальянцы

— незадавшиеся сутенеры и брачные аферисты; поэтому в мюнхенской тюрьме можно услышать три языка: немецкий, польский и итальянский.

Кормят, правда, в Мюнхене паршиво. Не верьте фильмам, герои которых бегают по камере; в тюрьме нужно побольше лежать, потому что от лишних движений усиливается чувство голода. И самое скверное — там не разрешают писать; ты тщательно все обдумываешь: эпизод за эпизодом, диалог за диалогом — а записать ничего нельзя; тюремными правилами запрещено трудиться для заработка.

Как бы того ни хотелось педагогам и кинорежиссерам, тюремные надзиратели не любят послушных и услужливых заключенных; им по душе «трудные ребята»: наглецы и пройдохи. Если твой срок подходит к концу, а у тебя нет ни гроша и хочется еще посидеть за решеткой, чтоб собраться с мыслями, рекомендуется прибегнуть к нехитрому способу: ты сбрасываешь со стены распятие и вызываешь надзирателя; за глумление над религиозной святыней тебе влепляют еще шесть дней: Бавария, где одерживал свои первые победы Адольф Гитлер, — край католический.

Упаси тебя Бог от дурацкой идеи попроситься

в тюремный лазарет: там нельзя курить и чертовски скучно. Но если ты и вправду неважно себя чувствуешь и не прочь пару дней полежать, скажись больным. Однако в воскресенье утром, припася немного хлеба из больничного пайка, заяви, что хочешь пойти на молебен; во время службы может представиться случай махнуться с ребятами из камеры: ветчину или хлеб выменять на сигареты у фраеров, которые не курят, но имеют право два раза в месяц покупать табак. Товарообмен лучше всего производить, когда выносят святые дары. В тюрьме запрещено читать «Джерри Коттона», но в лазарете брошюрок с Джерри Коттоном навалом; меняться нужно во время чтения Евангелия. Когда священник произносит:

— По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами… — ты должен прошептать через голову надзирателя:

— Есть Джерри Коттон. Про то, как он накрыл Джека Бульдога и скосил его из кольта «кобра»…

Тогда тебе в ответ прошипят:

— Катись куда подальше со своим Бульдогом. Нам нужна часть, где он шворит малайку.

Тогда ты им:

— Ту, которая путалась с Джеком Алмазом?

А они тебе:

— Нет. Которая путалась с братьями Райан из Сан-Франциско…

А священник:

— Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исайю…

Главное, говорить синхронно с пастырем. Тюремная церковь, правда, радиофицирована, но больные сидят отдельно, да еще рядом торчат надзиратели. Через пару воскресений приобретаешь такую сноровку, что за время молебна мог бы успеть поведать соседям всю историю Майка Хаммера и никто б тебя не застукал. Полезно иметь представление о Библии или, по крайней мере, о Новом Завете, чтобы примерно знать, когда священник патетически возвысит голос; вот тогда и действуй.

Сроки небольшие и неизбежно кончаются; непременно нужно позаботиться, чтобы было куда податься, особенно когда худо с башлями. Пересекаешь границу, и начинай все сначала. Но вот в Париже ввязываться в истории не стоит — это единственный город, где можно разжиться

деньгой, но и нарваться на неприятности нетрудно; а кто не получал в морду от французского полицейского, тот вообще не знает, что такое быть битым. Если окажешься в тюрьме в Яффе, тоже особо не ерепенься; тебя так измолотят, что волей-неволей поверишь: с израильтянами ничего не случится и они свои проблемы решат. В Палермо, когда тебя приведут в участок и снимут с шеи образок, преклони колено и поцелуй его; за это тебя угостят сигаретой, а будешь себя хорошо вести — даже пива на допросе предложат выпить. И вообще, будь паинькой, но стой на своем.

Ну а коли уж сидишь в камере с другими безвинно пострадавшими, не впадай в отчаяние и не лей слезы, потому что никто твоих актерских способностей не оценит, хотя владение драматическим искусством в прибежищах такого рода — штука крайне полезная. Принимай участие в беседах сокамерников, но не выпендривайся. Ни в коем случае не сетуй на несправедливость наказания; не забывай, что за всю историю существования тюрем на свете никто никогда не считал себя виновным. Не встревай в чужие разговоры, даже если сочтешь, что кто-то из собеседников несет околесицу. Когда я сидел в Штадельхайме, двое невинных несколько месяцев вели бесконечный

спор: куда пойти после освобождения, то есть в каком кабаке можно быстрей и дешевле всего надраться. Проблема была нелегкая: из тюрьмы в Штадельхайме выпускают в пять утра; все заведения в эту пору закрыты.

Один предлагал прямо из тюряги отправиться в Швабинг и там безотлагательно приступить к делу. Другой настаивал на Центральном вокзале; идти туда чуть подольше, зато спиртное дешевле и можно больше выпить; да и дальнейшая судьба известна: мюнхенские полицейские начинают razzia[47] именно с Центрального вокзала, и их сразу заметут.

Первый — видимо, более подкованный, — однако, не сдавался и твердил, что идти надо прямо в Швабинг. Наконец дискутанты пришли к компромиссу: решено было отправиться на рынок и в тамошней большой пивной, названия которой я уже не помню, сразу заняться делом. Продумано было все до мельчайших подробностей: выпустят их в пять, первый трамвай они поймают в пять пятнадцать, дорога займет полчаса, а оставшиеся пятнадцать минут — пивная открывалась в шесть — они скрасят беседой. В ближайшее

[47] Примечания: 47
Облава (*нем.*).

воскресенье я поинтересовался у этих господ, почему их не освободили; оказалось, что им сидеть еще шесть лет.

В тюрьме соблюдается некая иерархия обсуждаемых тем — по степени их важности. Тема номер один, естественно, — невиновность заключенного и печальная ошибка органов правосудия. Тема номер два — подлость и коварство женщин; затем спорт, переломные жизненные моменты и воспоминания времен войны; глупость нынешнего канцлера или президента; проблема существования Бога и сетования на плохую кормежку; последнее перемещается на второе место — то есть опережает тему женского коварства — в пятницу, когда на обед приносят кусочек рыбы с какой-то мерзкой размазней. В субботу жратва уже нормальная, и первоначальная иерархия восстанавливается.

Благодатная тема — воспоминания о пребывании в других тюрьмах. Немцы, как правило, сходятся на том, что самая приятная тюрьма в ФРГ — штутгартская. Она тебе и современная, и радиофицированная, и водопровод имеется; вдобавок — что составляет предмет особой гордости — тюрьма в Штутгарте снабжена радарной системой сигнализации, и своими силами на

свободу оттуда не выбраться. Итальянцы реже приходят к общему мнению, поскольку сицилийцы недолюбливают северян; но, похоже, тюрьма в Палермо не из худших; в американских тюрьмах лучше всего кормят, однако опытные зеки привередничают — говорят, там режим чересчур строгий.

Сидя в камере, будь компанейским, но не пытайся верховодить и ни в коем случае не становись «душой общества» — только вызовешь зависть сокамерников, от природы нелюдимых и немногословных. Поменьше трепись о себе; помни: все эти взломщики и сутенеры тоже попали в тюрьму по ошибке и желают всласть поговорить о своих обидах. Хорошо, если ты видел много фильмов и можешь изображать отдельные сцены в лицах. Если у тебя хорошая память, гони «Унесенных ветром», «Мост Ватерлоо» и «Касабланку»; гангстерские фильмы и детективы лучше в репертуар не включать, больно уж они все идиотские, кроме разве что «Асфальтовых джунглей», — и упаси тебя Бог от «Рифифи». Не забывай, что снять правдивый шпионский или полицейский фильм практически невозможно: настоящий шпион должен быть неразличим в толпе, а с каким-нибудь Гэри Купером или Шоном

Коннери ничего такого не получится. Ограничься бытовыми драмами и приключенческими лентами; зеки любят Эдди Константина; его фильмы «показывать» легче всего, поскольку один от другого мало чем отличается.

Если хочешь блеснуть эрудицией и начитанностью, рассказывай про Микки Спиллейна. Немецким заключенным он мало известен, и на этой ниве ты пожнешь славу. Но остерегайся компилирования; если тебя поймают, лишишься доверия сокамерников и никогда не получишь чинарика.

В тюрьме в Штадельхайме есть отделение, которое заключенные называют «Porsche Abteilung». Там сидят генеральные директора и президенты разных банков и концернов, отбывающие наказание за то, что были накрыты полицией за рулем в нетрезвом виде в обществе блядей. «Порше», как мы знаем, очень популярный спортивный автомобиль; отсюда и название отделения. Ребята из «Porsche Abteilung» держатся особняком и важничают; другие заключенные — бедняки — ненавидят их и осыпают насмешками. В тюрьме ты должен забыть, что «Бог всегда на стороне сильных батальонов»: богатый человек никогда и нигде тебе не поможет — по его

мнению, милостыня развращает; помни, что эту фразу сочинили не бедные люди. Если тебе захочется съездить по морде кому-нибудь из «Porsche Abteilung», чтобы завоевать симпатию товарищей по несчастью и угодить на три дня в карцер, повтори лучше обращенные к Богу слова шведского короля: «Господи, если Ты не хочешь нам помочь, хотя бы посмотри, как мы, шведы, умеем драться».

Когда тебя сажают в карцер, ты отдаешь свою обычную робу и вместо нее напяливаешь красную, чтобы выделяться на прогулке и чтоб другие заключенные к тебе не подходили. Но можешь не волноваться; если ты хорошо себя зарекомендовал, твои сокамерники затеют драку, надзиратели кинутся их разнимать, а кто-нибудь под шумок сунет тебе пачку махорки; если ее обнаружат по возвращении в карцер, скажешь, что нашел во дворе. Три дня — срок недолгий; но не вздумай, чтобы скоротать время, заниматься онанизмом — только расклеишься. Размышляй о своей книге: спокойно, сцена за сценой, обдумывай ее и рассказывай себе от начала до конца, а потом начинай все сначала. Такой совет мне дал Игорь Неверли; лучше советов я не получал. Сидя в карцере, не думай о жене и вообще о жен-

щинах; вспоминай пейзажи детства; лягушек, которым ты вспарывал животы бритвой; неплохо припомнить, как ты свистнул у своей бабушки золотое обручальное кольцо, когда старушка лежала на катафалке, а ты сказал родным, что хочешь побыть с дорогой покойницей наедине, и заменил золото высшей пробы томпаком. Не пой — устанешь, а чрезмерная усталость не позволит заснуть. Старайся вообразить, что ты пребываешь в бесконечности, вне времени и пространства; старайся не обращать внимания на бой часов. Помни о том, что Шатов сказал Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в беспредельности… в последний раз в мире».

Думать лучше не о сегодняшнем дне и не о завтрашнем, а о делах давно минувших; о чем-нибудь приятном, вызывающем добрую улыбку и легкую грусть. Я, например, вспоминал вторжение сталинских орлов в тысяча девятьсот сорок пятом году; я тогда жил в Ченстохове, на улице Собеского, восемьдесят четыре. Пришли русские; была разбита цистерна со спиртом, и потом люди лежали в грязи и лизали истоптанный снег, пропитанный спиртом. Но это все вещи общеизвестные; такое бывает во время любой войны и в любом городе. Интересно другое: мимо наших

окон русские шли две недели — дорога вела в Варшаву, — но про Варшаву никто не упоминал. Время от времени кто-нибудь, зайдя в дом, чтобы попросить кипятку, спрашивал: «Где дорога на Берлин?»; расстояние солдата не интересовало; позади у него остались Украина, Уральские горы и горы Кавказа; златоглавая Москва и каменный Ленинград; а теперь он шел в Берлин, даже не спрашивая, сколько до него километров, — ему важно было знать направление.

Русские шли много ночей и дней, распевая про героя Чапаева, который гулял по Уралу; по ночам они насиловали женщин, и те, что держали за руки мужа своей жертвы, говорили ему удивленно и благодушно: «Ты чего беспокоишься? Разочек женку выебем, и все дела». А те, которые шли по улице, пели про Чапаева и про то, как первого мая они получили письмо от матери, где она спрашивала, не убит ли еще ее сын. У них было много хороших песен: о том, что их ярость благородная вскипает, как волна; о том, чтобы матери не грустили и пожелали им доброго пути; и о том, что они пьют за Родину, за Сталина, выпьют и снова нальют. Сейчас я знаю, что понять русских очень помогают песни; их убогие книжки и глупые газеты врут; но в песнях, зовущих к победе, — правда;

и еще они отражают силу народа; любого солдата можно победить — только не русского.

Они укладывались спать на снегу в подворотне нашего дома и мгновенно засыпали; утром, проснувшись, отряхивались, как вылезшие из воды собаки, варили свою кашу со свиным салом и отправлялись в путь на Берлин. Они брали наши часы и наши обручальные кольца; брали наших женщин, но отказывались от нашего гостеприимства и нашего крова. Помню, как во дворе насиловали женщину, а потом одна из соседок, желая избежать подобной участи, подошла к застегивающему ширинку сержанту и, протянув ему рюмку водки, сказала по-русски: «Ваше здоровье, командир». Сержант взял у нее бутылку и шваркнул об стену; и тогда я понял, что нет презрения страшней, чем презрение русского человека. Солдаты растоптали осколки и пошли догонять своих, с песней про Чапаева идущих на Берлин.

А потом боевые части прошли и появились войска НКВД, и мы все побежали смотреть, как будут расстреливать семьи власовцев в соседнем доме. Энкаведешники въехали во двор на «виллисе», и сержант, не выключая мотора и не вылезая из машины, крикнул: «Выходите!», и те вышли;

их поставили к стенке, и сержант прошил всех автоматной очередью; потом они уехали, даже не проверив, не спрятался ли кто в подвале дома; мы же, кинувшись туда, чтобы чем-нибудь поживиться, увидели, что никто и не пытался прятаться; все лежали мертвые, припорошенные снегом. Так что, когда сидишь в карцере, думай об этом и помни, что если они когда-нибудь придут и сюда, убегать бессмысленно — от них не убежишь. Как и от судьбы. Не радуйся, что у тебя паспорт беженца и тебе разрешено жить в Швейцарии, Франции или Италии; в конце концов ты так или иначе останешься один; но прежде в одиночестве пройдешь весь долгий путь, и никто никогда не поверит, будто тебе есть что сказать. Хотя, пожалуй, в карцере об этом лучше не думать; об этом можно думать в камере, среди людей, которые еще верят, что через шесть лет отправятся в ту же самую пивную и будут пить то же самое пиво; и не смейся над их верой. Быть может, она святая.

5. Честный труд

Хорошей, по-настоящему честной работы нам не получить. На шпионском поприще мы не

преуспеем — полякам такое не по плечу. Когда — после того, как я выбрал свободу, — у меня спросили, не знаю ли я, где в Польше военные аэродромы, я ответил, что про некоторые мне известно. Мой собеседник оживился.

— Ну и где же они?

— В Варшаве на Бернерове, — сказал я.

— Где еще?

— Около Легницы.

— А еще какие знаете?

— Кажется, есть один в районе Гдыни. Между Гдыней и Гданьском. Точно не скажу. Но где-то там должен быть.

— Вы хоть один видели? — спросил мой собеседник.

— Нет, — сказал я. — Никогда.

— Так откуда же вы про них узнали?

— Из передач «Свободной Европы», — сказал я. И на этом моя шпионская карьера закончилась.

О том, чтобы стать шпионом, нечего и помышлять — к моему величайшему сожалению. Не могу не выразить личной претензии к Ежи Путраменту, который в своем блестящем романе «Ноев ковчег» гениально нарисовал портрет поляка, работающего на какую-то разведку; мои претензии распространяются также на Тадеуша Конвицкого

и Ярослава Ивашкевича. Как мы помним из их книжек, поляков, выбирающих свободу в Западной Европе, пытаются завербовать офицеры ЦРУ, вручая им симпатические чернила, пистолеты с глушителями, яд и динамит, — но наши соотечественники гордо отвергают предложения американцев и, раскаявшись, возвращаются в лоно отчизны. В фильме «Карьера», снятом по сценарию Конвицкого, Ян Свидерский играет человека, который соглашается работать на американскую разведку; в фильме «Погоня» мы видим шпиона, которого офицеры ЦРУ заслали в Польшу, чтобы он не то отравил, не то выхолостил всех жеребцов; в фильме Ванды Якубовской, названия которого я уже не помню, тоже есть диверсант, в другом ее фильме, «Солдат победы», — целых два английских шпиона: одного зовут Владислав Гомулка, второго — Мариан Спыхальский. Начитавшись таких книжек и насмотревшись таких картин, мы вправе предположить, что в свободном мире нас немедленно завербуют американцы и заставят отравлять жеребцов, кастрировать цыплят и перерезать телефонные провода; однако нас ждет ужасное разочарование: вместо динамита и пистолета с глушителем мы получаем пинок в зад и напрасно

станем ссылаться на то, что прочли вышеназванные книжки и посмотрели вышеупомянутые фильмы и потому, полные рвения и надежд, готовы служить иностранной разведке. Наши аргументы не убедят представителей соответствующего ведомства приютившей нас страны.

Писателям, желающим посвятить себя сочинительству шпионских романов, я бы посоветовал сперва хорошенько подумать. Забросить шпиона в страну за железным занавесом чрезвычайно трудно. Проникнуть туда может или американский офицер, которого готовили бог весть сколько лет, затратив на учебу бог весть сколько средств, или проходимец, которому страшновато доверять и который работает ради денег: всегда существует опасность, что он предпочтет служить тому, кто больше заплатит. По принципу простого расчета. Технически осуществить переброску шпиона через границу при современных системах сигнализации очень сложно; можно, правда, его отправить в составе торговой миссии или в качестве attaché culturel[48]; но и это непросто.

А вот русские и поляки могут без большого

---

[48] Примечания: 48
Советник по культуре (*франц.*)

риска перебрасывать на Запад тысячи шпионов в год. Агенты просят политического убежища по мотивам, выраженным в некогда популярной в Польше песне: «Трумэн, Трумэн, брось эту бомбу, больше терпеть нету сил»; зацепившись на Западе, они сидят тихо, занимаясь каким-нибудь невинным делом, и только спустя некоторое время приступают к выполнению заданий своего начальства. Это уже не случайные проходимцы, которым нельзя доверять, а убежденные члены партии, фанатики, прекрасно понимающие, что путь их, скорее всего, недолог и в конце его — двадцать четыре тысячи вольт, однако это их не пугает. Мы видели в сочиненной Леоном Кручковским мелодраме, как супругам Розенберг обривают головы, чтоб плотней прилегали электроды, а президент Эйзенхауэр томится у телефона, подсоединенного к их камере, все надеются, что Розенберги начнут выдавать других шпионов, но они только целуются и говорят о Сталине — пока палач, соединившись с «Вестерн Электрик», не пропускает через их тела ток; и тут Эйзенхауэр понимает всю глубину падения своего народа и краха своей политики и убеждается в идиотизме офицеров американской разведки.

Но, коль скоро мы попросили политического

убежища, надо хорошенько обдумывать каждое свое слово, чтобы не попасть впросак: друзья нашего детства, отрочества и юности, слинявшие раньше, успели нас полностью скомпрометировать, рассказав про все наши грехи, так что ведущему допрос офицеру ЦРУ известно даже то, чего мы сами не помним. Упаси нас Бог также от глупейшей идеи потчевать американцев вымышленными историями в расчете на то, что — пускай не сразу — мы обретем тихую гавань. Запросто можно угодить под копыта бешено несущихся коней, но предварительно так схлопотать по роже, что даже в могиле будем держать язык за зубами.

Итак, если мы принадлежим к категории людей пишущих и не были ни членами партии, ни питомцами Святло, Моната и Фейгина[49], мечту о занятии честным трудом надо оставить. Я бы с удовольствием стал американским шпионом, чтобы свести счеты с парочкой commies, хотя не сомневаюсь, что они б меня достали раньше. Но, повторяю, это пустые надежды — в нас никто не нуждается. Ведь мы, по сути, ничего не знаем о стране, в которой жили; знать, ка-

[49] Примечания: 49
Высшие чины Управления безопасности.

кая беда ее постигла, недостаточно. А что еще мы можем сказать о Польше, кроме того, что она перестала существовать в тот день, когда диктор московского радио объявил: СЕГОДНЯ, СЕМНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЯТОГО ГОДА, НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ ГОРОД ВАРШАВУ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ! СТАЛИН.

Имеются дверцы для двустворчатого шкафа застекленные

Вопреки тому, что пишут, недолгий период свободы слова в Польше начался не с приходом к власти Владислава Гомулки; наоборот, именно тогда он закончился под давлением «соображений государственного порядка», — как заявил тот же Гомулка, с которым связывались все наши надежды. Гомулке для подкрепления своего тезиса не понадобилось прибегать к помощи метафор или намеков: советские танки на улицах Будапешта и пятнадцать тысяч — если верить официальным данным — убитых венгров оказались достаточно впечатляющим предостережением.

В те дни на улицах Варшавы развевались венгерские флаги и тысячи людей добровольно сдавали кровь, которую затем на самолетах переправляли в сражающийся город; везде звучал венгерский гимн; «Po prostu» напечатала на первой полосе венгерскую поэму под названием «Воздуха!»; люди горевали и пили; так была удовлетворена национальная потребность в трагизме.

Сейчас нелегко писать и говорить об Октябре — неожиданно выяснилось, что никто тогда в перемены не верил. Да и не помню я в мировой истории случая, чтобы тиран вдруг разодрал на себе одежды и объявил, что с завтрашнего дня постарается исправиться. В одном из старых номеров «Po prostu» в статье главного редактора говорится, что «польский Октябрь» — результат революционного брожения рабочих и крестьян: здоровый инстинкт и политический опыт заставил их потребовать от партийного руководства демократизации и установления правопорядка. Не знаю, можно ли воспринимать всерьез гордое заявление рабочих Жерани: «Не пропустим». О том, способны ли три тысячи вооруженных простыми винтовками добровольцев остановить советскую армию, лучше спросить у военных. Так или иначе, партия провела свой тактический маневр безукоризненно: с чисто театральной выразительностью народу дали почувствовать, что он своими руками совершил перелом в национальной истории.

Найти в том, что произошло, забавные стороны довольно трудно. Не знаю, чего и на каком основании поляки ждали от Октября и давал ли им право надеяться опыт предыдущих одиннадцати

лет и близость советской границы. Быть может, правильно оценить ситуацию им помешала вера в одного человека: Владислава Гомулку. Быть может, народ верил, что человек, пострадавший от своих единомышленников, будет управлять страной, не забывая, что пережил и претерпел сам. Увы: такое свойственно скорее героям сентиментальных романов; материалы статистики и рассказы немало повидавших за свою многолетнюю практику следователей и директоров тюрем не дают оснований утверждать, что страдания облагораживают. И все же в этой истории есть один забавный элемент: разочарование в Гомулке. Как будто этот человек и вправду мог в короткий срок изменить что-то к лучшему! Сам Владислав Гомулка, придя к власти, вскоре заявил в одном из своих выступлений, что на быстрое повышение жизненного уровня нечего и рассчитывать: у правительства просто нет денег. Говоря о колоссальных задолженностях Польши, о катастрофической ситуации в экономике, он не забывал подчеркивать, что Советский Союз великодушно отказался от части своих претензий к Польской Народной Республике. Его слова, однако, не были внимательно выслушаны; когда Гомулке случалось уезжать в Москву, толпы на

вокзале приветствовали его радостным ревом, одновременно умоляя захватить с собой на всякий случай сухой паек и напутствуя добрым советом, который в те времена стал национальным девизом: «Держись, Весек». Совершенно упуская из виду, что этот человек — коммунист, и, пожалуй, один из самых оголтелых, бескомпромиссных и твердолобых. Вся эта история — находка для писателей-моралистов: угнетаемый и унижаемый целых одиннадцать лет народ уверовал, что по воле одного-единственного, немало пострадавшего человека все разом изменится; мне же, воспитанному на полицейской литературе, которую я с интересом почитываю и сейчас, она никак не может пригодиться.

Писатели и мыслители задним числом распространили легенду, будто Гомулка их возненавидел. К сожалению, вынужден их разочаровать. Эту легенду, боюсь, сочинили они сами. В конце сороковых Гомулка был объявлен шпионом и ренегатом; его оплевывали; его публично клеймили на массовых митингах, обвиняя в связях с французской, английской и американской разведками; его лишили права, которое дается даже самому страшному преступнику, — возможности предстать перед судом и рассказать

правду о себе судьям и народу. Авторам книг о работавших на Гомулку шпионах и о бедах, навлеченных на нашу голову «гомулковскими уклонами», вручались государственные награды; ценою огромных финансовых затрат, многолетних трудов и долгих размышлений был снят уже упоминавшийся фильм «Солдат победы»; над Гомулкой смеялись и издевались, и не нашлось ни одного Симона Киренеянина, который бы ему помог. Затем «поверженный» — по выражению Путрамента — Гомулка воспрял и вернулся. И ничего не произошло: те же люди, которые его топтали, продолжают снимать фильмы и писать романы; никому не снесли головы; никто не разделил участи Бориса Пильняка, Исаака Бабеля и Горького, семь смертей которого описал Густав Херлинг-Грудзинский. А ненависть это такое чувство, которое еще надо заслужить — конечно, если имеешь дело с настоящим человеком, независимо от того, коммунист он или не коммунист. Но легенда получилась отличная: глава государства нас ненавидит. Хорошо бы так оно и было в действительности; но я слишком стар, чтоб внушить себе, что презрение и ненависть — одно и то же. Как говорится: убить может всякий, но только царь может даровать жизнь. Так что

собратья по перу получили царский подарок; но от человека презирающего, а не ненавидящего. Весьма им сочувствую.

Мне уже в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году стало нечего делать. В пятьдесят шестом вышел сборник моих рассказов «Первый шаг в облаках»; но этот шаг оказался и последним. В литературе — кроме полицейского доноса — меня интересовало еще только одно: любовь мужчины к женщине и обреченность этой любви. Почему — не знаю: сам я любил всего раз в жизни; было это одиннадцать лет назад, и потом мне больше не удалось никого полюбить, хотя я беспрерывно и старательно себя обманывал. Всем, кто меня знает и помнит, известно, что по-настоящему я утратил интерес к литературе, расставшись с Ханей. Но Ханя не бросила меня одного; незадолго до разрыва я получил ордер на квартиру и, имея возможность выбирать между Старым Мястом и Охотой, выбрал Охоту, поскольку в доме, где мне предстояло свить гнездышко семейного счастья, размещались ясли, а у Хани были дети. Итак, Ханя ушла, а я остался в квартире над учреждением, в котором было полно детишек. В пять утра я в слезах возвращался из кабака, а уже в семь хор звонких ребячьих голосов силою в триста глоток

будил меня песней, из которой я помню только несколько строк:

Нам ли стоять на месте —

В своих дерзаниях всегда мы правы.

Труд наш есть дело чести,

Есть подвиг доблести и подвиг славы…

И так далее, в том же духе. Проснувшись, я снова заливался слезами; в восемь ко мне приходили первые гости: приятели, возвращающиеся с Зеленяка, куда они обычно заваливались после пяти утра, когда закрывался ночной «Камеральный», — на Зеленяке можно было пить по принципу overtime. Кое-кто из старых друзей приходил, чтобы излить мне душу, другие — перехватить пару злотых для продолжения гульбы. Я сидел в постели и плакал; гости пили и рассуждали о политике. Однажды Тадеуш Кубяк привел какого-то карлика, которого купил в подарок сыну, и попросил, чтобы я подержал его у себя до следующего Рождества — а дело было, кажется, в феврале; Тадек хотел устроить сынишке новогодний сюрприз; к счастью, карлика у Кубяка перекупил коллега Яницкий и удалился с ним в только ему известном направлении. Внизу пели дети; я плакал, а друзья бегали в ресторан «Эспланада» через две улицы за водкой. Время

от времени приходил Адам Павликовский с женщиной, склонной подарить ему так называемое счастье, и выгонял меня из моего собственного дома на время «романа»; я уходил, провожаемый проклятьями соседей и хором детских голосов. Однажды Павликовский объявил, что вступает в прочный брачный союз; и на этом закончилась история моего семейного гнездышка на Ченстоховской улице. Тогда я исповедался Польдеку Тырманду, сообщив, что не могу жить без Хани. Тырманд выслушал меня и сказал со зловещей улыбкой:

— У тебя один выход: острый нож. Впрочем, попробуй уехать из Варшавы. Куда угодно, подальше от Хани. И попытайся писать.

— Все равно ничего не получится, — сказал я.

На что Тырманд с той же зловещей улыбкой:

— Ну наконец-то! Научись работать, думая, что и не может ничего получиться. Только при этом условии иногда выходит что-то настоящее.

И верно — ничего у меня не получилось. Но пока, послушавшись совета, я поехал в Казимеж и взялся за рассказ о тоталитаризме под названием «Кладбища», который начал два года назад.

Я сидел в Казимеже и думал о своем доме на Ченстоховской улице. Тогда еще я не читал бле-

стящего эссе Хостовца[50] «Воронья и Сенная», но наш дом немногим отличался от дома, в котором жил Хостовец. И у нас разыгрывались ужасные сцены ревности, в которых принимала участие вся улица, устраивались грандиозные попойки и, как на всякой уважающей себя варшавской улице, был свой Злой — некий Лёлек Партизан. Лёлек обладал поистине медвежьей силой. Во время войны, пережив множество необыкновенных приключений, он каким-то образом попал в Югославию, где дрался в рядах партизан под командованием Тито. В Польшу Лёлек вернулся югославским офицером в увешанном медалями мундире; спустя некоторое время, когда русские рассорились с югославами, Лёлека Партизана пригласили в ближайшее отделение милиции и велели не только отдать все полученные за доблесть медали, но и подписать письмо своему бывшему командиру с заявлением, что он не намерен впредь поддерживать с тем отношения и считает его предателем рабочего движения. С тех пор Лёлек Партизан начал пить; деньги на водку он добывал очень простым способом: при-

[50] Примечания: 50

П. (Павел) Хостовец — псевдоним критика и эссеиста Ежи Стемповского (1894–1969); с 1940 г. жил в эмиграции, сотрудничал с парижской «Культурой».

хватив железный лом, шел к знакомому горбуну, у которого на углу был газетный киоск, и просил поставить ему четвертинку. Горбун отказывался; Лёлек переворачивал киоск вместе с владельцем, а затем предлагал поднять, но уже не за четвертинку, а за пол-литра. Поскольку поднять киоск могли только трое дюжих мужиков, горбун соглашался; Лёлек Партизан, орудуя ломом как рычагом, ставил киоск вместе с горбуном на место и, получив деньги, отправлялся за бутылкой.

Я никогда не мог понять, почему горбун не соглашался на первое предложение Лёлека, то есть на четвертинку, что в результате обходилось ему вдвое дороже. Видимо, как персонаж античной трагедии, он должен был пройти через страдания — чтобы не казаться смешным, пережить katharsis. Я знаю еще одного человека, скроенного по мерке героев античных трагедий, — Билла, бармена из «La Bohême». Будучи солдатом американской армии и завсегдатаем этого ресторана, он чаще других затевал там драки и из любой схватки выходил победителем. Владельцу «La Bohême», гениальному Тони, пришла в голову поистине сатанинская идея: когда Билл отслужил свое, Тони предложил ему должность бармена, и Билл предложение принял, поскольку к тому

времени успел жениться на очаровательной парижанке. Однако, став барменом, он не мог больше никого бить; наоборот: его обязанностью было разнимать и успокаивать клиентов, и даже лягнуть забияку в голень не дозволялось. Часто, сидя в «La Bohême» и наблюдая за дракой, я гляжу на лицо врезающегося в гущу сраженья Билла и представляю себе, что творится в его душе, как безумно ему хочется присоединиться к бойцам. Билл — самая трагическая личность, какую я когда-либо знал.

На Ченстоховской улице моим заимодавцем, советчиком и моральной опорой был сторож, отец трех сыновей. Ребята были славные и спокойные, зато мамаша их отличалась жутким нравом. Она постоянно ссорилась и воевала с соседями; конфликты улаживали сыновья, и поэтому втроем они за столом практически никогда не собирались: по меньшей мере один гостил в исправительном заведении. Дети обожали мать, и когда она влетала в комнату с развевающимися волосами и горящим взором, крича: «Тадек, пусть теперь поплачет мать Квятковщаков!..» — Тадек вставал из-за стола и, взяв у старшего брата нож с выкидным лезвием, выскакивал на улицу. Тадек был самым младшим, и его чаще

других посылали отстаивать интересы семьи в междоусобных распрях на Ченстоховской улице. Как-то я со сторожем и его семейством пошел в суд. Прокурор метал громы и молнии, а Тадек со скамьи подсудимых жестами успокаивал мать, время от времени восклицая пронзительным шепотом: «Не кипятитесь, мамаша! Я его сейчас сделаю!»

Подобные истории описаны у Веха. Его считают фельетонистом, но это чистое недоразумение; на самом деле Вех — величайший новеллист и бытописатель, некоторые его рассказы просто гениальны. Я же ничего нового не сообщаю и хорошо понимаю это, но вот одной вещи — даже будучи варшавянином, родившимся на Повислье, — до сих пор не могу понять: то ли Варшава говорит так, как пишет Вех, то ли Вех пишет так, как говорит Варшава. Помню, все наши шоферы из «Метробудовы», ВПК, ГРТ и варшавяне из «Пагеда» покупали «Вечерний экспресс» только ради того, чтобы узнать об очередных перипетиях веховских героев: Тени, шурина Пекутощака и Валеры Печенки. И если сейчас Веха не назовешь великим бытописателем, то фельетонистом он стал только после войны, когда сам сказал: «Не я переделал Пекутощака. Пекутощака переделала

история». И действительно: после войны шурин Пекутощак из «выкормыша винно-водочной монополии» превратился в любителя кефира; из рационалиста — в позитивиста; из пройдохи — в диалектика. Он перестал прислушиваться к голосу разума, приобретя взамен знания о том, как надлежит о тех или иных вещах думать. Так пришел конец самому забавному варшавскому персонажу.

Много лет я искал писателя, который заменил бы мне Веха периода Налевок, Смочьей и Дикой, и наконец нашел: это Дэймон Раньон[51]. Он, подобно Веху, сотворил галерею персонажей, говорящих на особом жаргоне пригородов Нью-Йорка. Среди них есть Гарри Конь — человек, так долго игравший на бегах, что сам стал похож на лошадь; Испанец Джон — бандит; Великий Потрошитель — специалист по взламыванию сейфов. Как-то мне довелось жить в тель-авивской гостинице, где за некоторыми постояльцами уже закрепились прозвища Испанец Джон, Великий Потрошитель и Гарри Конь. Осталось только одно вакантное место, и меня — это при моей-то антисемитской внешности — прозвали «Малышом

[51] Примечания: 51
Дэймон Раньон (1884–1946) — американский писатель.

Исидором». Так что нас собрался полный комплект. Все персонажи Раньона попадают в такие же переделки, переживают те же радости и печали, что и герои Веха. Когда Гарри Конь, Испанец Джон и Малыш Исидор приходят просить Великого Потрошителя, чтобы он вскрыл им сейф, тот поначалу отказывается: он — счастливый отец полугодовалого младенца, а жена пошла к матери и ночевать домой не вернется. После долгих переговоров решили взять ребенка с собой; и вот, пока Великий Потрошитель возится с сейфом, его дружки забавляют младенца, подсовывая ему напильники и сверла; Малыш Исидор по ошибке вместо бутылочки с соской даже сунул крошке бутылку с нитроглицерином. Раньон и Вех описывают похожие ситуации; у обоих жители предместья часами сидят перед своими домами и пялятся друг на друга. «У нас на Таргувке так принято», — говорит один из героев Веха. У Дэймона Раньона: «В нашей округе все, включая женщин и детей, сидят перед домами на крылечках; сидение на крылечках, можно сказать, вошло у нас в привычку». Оружие, как известно, штука тонкая; поляки называют пистолет по-разному: «бульдог», «дура», «пукалка», «шпалер» и т. п. Американцы из рассказов Раньона пользуются

еще более тонким и гораздо более точным названием: «великий уравнитель». Депортированные из Америки сицилийские гангстеры, ныне уже люди почтенного возраста, которых бармены и трактирщики величают comandatore, говорили мне, что «великий уравнитель» — изобретение некоего Мордашки Нельсона: страдая из-за своего маленького роста, он решил, что только «кобра 38» в руке может уравнять его с партнером по мокрому делу или собеседником.

Павел Хостовец в своем эссе о Вороньей и Сенной описывает и представителей преступного мира, орудовавших в тех краях; этот район Варшавы и после войны оставался самым бандитским, затмевая славу Маримонта и Воли. Получилось так по очень простой причине. Там, как известно, находится «Главная Варшава товарная», то есть станция для разгрузки товарняка; до пятидесятого года в округе еще полно было частных конюшен, владельцы которых работали на так называемых шестнадцатой и семнадцатой окружной, а также на первой и второй угольной, обслуживая разные строительные управления. Короче — если воспользоваться избитым, но точным определением, — район был гнездом коррупции. (Кстати, все три сына моего сторожа

были «виртуозами кнута», как и я в свое время — «виртуозом баранки», и в интеллектуальном плане нас это, конечно, сближало.)

Стоит рассказать, что там творилось на самом деле. Транспортные фирмы держали на шестнадцатой и семнадцатой окружной, а также на угольной экспедиторов, которым полагалось следить, чтобы вагон с предназначенным для фирмы товаром был разгружен за шесть часов — такой лимит установило управление Польских государственных железных дорог; если разгрузка затягивалась, фирма выплачивала железной дороге неустойку. Транспортных баз в те годы еще не было; фирмы нанимали возчиков с лошадьми у частных предпринимателей. Но как, не выходя «из лимита», разгрузить тридцатитонный вагон, если подвода поднимает не больше четырех-пяти тонн, а доставить груз надо, предположим, на Беляны? Да очень просто: частный предприниматель отправляется к экспедитору той или иной фирмы и угощает его сигаретами. Экспедитор, доверенное лицо данной фирмы, молча протягивает руку к пачке и… вытаскивает из-под нее сотенную купюру. Затем, так ничего друг другу и не сказав, они расходятся. Экспедитор в свою очередь отправляется к начальнику шестнадца-

той или семнадцатой окружной и угощает его сигаретами; представитель ПГЖД протягивает руку и вытаскивает из-под пачки полсотни; на краю банкноты написан номер вагона, которому вместо шести часов нужно простоять пятнадцать. Затем представитель ПГЖД расписывается в накладной и ставит печать, подтверждая тем самым, что вагон номер Икс, принадлежащий железнодорожному узлу Игрек, такого-то числа был разгружен своевременно. Вечером в одной из частных конюшен неподалеку от Вороньей и Сенной устраивалась пьянка, в которой принимали участие: частный предприниматель, доверенное лицо фирмы, то есть экспедитор, представитель ПГЖД и районные оперативники. После чего все отправлялись на Злотую, тридцать семь, где жили три проститутки, и там продолжали надираться, отрываясь для телесных утех.

Мне это все хорошо известно, так как я одно время работал экспедитором в «Метробудове»; зарабатывал я тогда в день по тысяче-полторы злотых; официальная ставка не превышала семисот при двенадцати– или четырнадцатичасовом рабочем дне. Вряд ли сейчас кому-нибудь удастся подсчитать убытки, понесенные Польскими государственными железными дорогами; суммы,

полагаю, исчисляются миллиардами, а причина убытков — простои вагонов. Это результат планирования сверху. С должности экспедитора меня, к сожалению, довольно быстро сняли, а вскоре был ликвидирован и последний частный бордель на Злотой: на его месте сейчас территория Дворца культуры и науки.

Вот что мне вспоминалось, когда я сидел в Казимеже и сочинял рассказ «Кладбища». До Хани все представлялось простым и ясным — все, кроме отношений между мужчиной и женщиной; ничего более сложного и трагического в жизни, казалось мне, не было. Но потом все вдруг начало обретать характер гротеска; я понял, что правдивый и вместе с тем трагический рассказ о тоталитаризме написать нельзя; по сей день не верю, что кому-нибудь такое удастся. Человек, входящий в ворота немецкого концлагеря, знает, что выбраться оттуда можно только двумя путями. Первый пролегает через печь лагерного крематория; второй может открыть вторжение союзнических войск или сталинских чудо-богатырей. Все роли четко определены: палач до конца остается палачом; жертва — жертвой; надсмотрщик до самого финала не выпустит плети из рук. Человек, переступающий порог советской

тюрьмы, не знает, что его ждет. Быть может, завтра его расстреляют; быть может, он отсидит десять лет и ему зачитают следующий приговор, лет эдак на пятнадцать; но, возможно, случится и такое: партия изменит тактику, и жертва станет палачом, а бывший палач будет ползать перед ней на коленях, выпрашивая кусок черняшки, пока не попадет в барак для доходяг. Трагедийная окраска блекнет: смертный приговор может быть заменен назначением на высокий пост, гонимому предоставлена роль палача, страдальцу дозволено мстить. Не хватает элемента катарсиса: его не может заменить клочок бумажки из НКВД, где значится, что человек, которому двадцать лет назад всадили пулю в затылок, был убит на основании наветов и ложных показаний.

В книге Херлинга-Грудзинского описан актер, который, играя в каком-то советском историческом фильме боярина, выглядел чересчур благородно — переусердствовав, он исказил идеологическую направленность фильма, за что и получил десять лет. Однажды в лагерь, где отбывает свой срок несчастный, привозят именно этот фильм; актер — изможденный призрак — видит самого себя в ситуации, весьма несхожей с нынешней. Он сидит за царским столом,

попивает вино из тяжелого кубка и обжирается фазанами. Даже если история выдуманная, это — правдивый вымысел. Причина фиаско, которое терпят авторы сочинений о тоталитаризме, в том, что описываемая ими правда не укладывается в сознании читателя.

В фильме Орсона Уэллса «Процесс» мы видим героя, Йозефа К., бродящего по Дворцу правосудия. В архитектуре этого Дворца смешалось множество разных стилей: барокко, готика, современный дизайн; идущий по грязному коридору Йозеф К. вдруг ни с того ни с сего оказывается в зале ожидания вокзала Сен-Лазар. Как целое, Дворец правосудия — образец идиотизма; странно, почему ни один кинокритик не обратил на это внимания — ведь здесь фактически спрятан ключ к пониманию уэллсовской интерпретации романа Кафки. Дворец правосудия — не что иное, как фантом, лишенный смысла, стилевого единства и определенности; к примеру, свод законов, в который однажды заглянул Йозеф К, — альбом порнографических фотографий.

Тогда, в Казимеже, я подумал: а что если написать рассказ, основанный только на подлинных фактах и событиях, включить в текст отрывки известных речей и, избегая какой бы то ни было

двусмысленности, поместить героя в сугубо реальную атмосферу? Получится ли такой рассказ? Поверят ли люди, на чьих глазах все это не первый год происходит, в факты, которые, попав на страницы книги, волей-неволей станут литературой, то есть фикцией; и вообще — можно ли в такое поверить? Я рьяно принялся за дело; для начала поехал в Варшаву и погрузился в чтение подшивки газеты «Нове дроги».

Решив при случае разыскать Эдварда Бернштейна, я отправился в общежитие, где он когда-то жил, и, проходя по коридору, услышал звуки гитары и следующий текст:

Мне от любимой чуть свет
Письмо принесли и букет.
От счастья весь мир полюбя,
Читаю: «Всё. В жопу тебя…»

Завороженный драматизмом и простотою песни, я постучался в дверь и, войдя, увидел двух знакомых студентов театрального училища. Один с гитарой сидел на кровати; второй с мрачно-задумчивым выражением лица стоял посреди комнаты в позе умирающего лебедя. Я поинтересовался, что происходит.

— Отрабатываем переживание, — сказал актер с гитарой. — Тему на экзаменах дают свободную,

но сыграть надо мастерски. Сюжет — содержание романса. А теперь погляди.

Я присел на край кровати; гитарист встал и, выйдя в коридор, начал стучать в дверь. Умирающий лебедь тем временем улегся на кровать и на стук не реагировал. Только когда коллега стал колотить в дверь кулаком, лебедь вскочил и с минуту смотрел перед собой невидящим взором. Потом стал искать тапки; искал довольно долго и наконец — не забывая, что еще не совсем проснулся, — босиком подошел к двери и открыл ее. Гитарист вручил ему нечто: то самое письмо и букет роз. Унылая физиономия героя проясняется; розы прислала возлюбленная, теперь ему ясно: она его любит, она его хочет, она ему спозаранку шлет цветы. Нужно дать посыльному на чай; влюбленный роется в бумажнике, но тщетно — минувшей ночью, сраженный отчаянием, он пропил последнее. Усадив посыльного на почетное место во главе стола, он бежит к соседям просить взаймы денег, с соседями он уже много лет не разговаривает из-за какой-то размолвки; но все это чепуха — ведь у него в руках доказательства чувств любимой женщины. Добыв в конце концов десять злотых, он сует их посыльному, и тот уходит. Теперь, естественно, надо что-то

сделать с розами; герой берет вазу, но, поскольку окончательно еще не проснулся, спотыкается, зацепившись за край ковра, и ваза превращается в кучу осколков. Он опять — теперь уже с букетом в руке — идет к соседям и, невразумительно, заплетающимся от счастья языком что-то им объясняя, выпрашивает безобразный хрустальный кубок, полученный соседом в награду за безупречную службу еще во времена Пилсудского; переговоры продолжаются довольно долго, но, поскольку бывший пилсудчик — человек романтического склада, в конце концов он дает счастливому влюбленному кубок, и тот засовывает в него розы. Он страшно взволнован; усевшись в кресло, закуривает и устремляет взор на лежащий перед ним конверт; у него нет сомнений, что письмо содержит нежные и упоительно сладостные слова. В голове его проносятся воспоминания о ночах, проведенных под окном возлюбленной; об ее муже, отказывавшемся дать развод; о болезнях, которые в кругу военных именуются «насморком» и излечиваются с помощью антибиотиков и сульфамидов. Болезни эти он, конечно же, подцеплял по пьянке, когда отчаяние толкало его в объятия дочерей Коринфа. И так он сидит, глядя на письмо и не спеша вскрыть конверт.

Наконец обжегший пальцы окурок возвращает его на землю; погасив сигарету, он решительным движением открывает конверт, в котором… те самые роковые слова. Он отворачивается; рука судорожно сжимает колючие стебли роз. Конец.

— Мы играем по системе Станиславского, — объяснили они мне. — В этой сцене есть все: любовь, надежда, отчаяние. Только на экзамене мы заменим слова «Все. В жопу тебя» на «Забудь про меня». Это, конечно, не одно и то же, да что поделаешь. А теперь мы сыграем эту же сцену по Страсбергу[52] и Казану. Начинай, Метек.

На этот раз ложится гитарист, а его коллега выходит и стучит в дверь. Гитарист на стук не реагирует; куря сигарету, он глядит в потолок и босой ногой отбивает такт по спинке кровати. Спустя некоторое время второй начинает дубасить в дверь кулаком.

Гитарист. Деньги, что ли, принес?

Посыльный. Нет, розы.

Гитарист. Тебе сказали, что я откинул копыта? Отдай розы домуправу.

Посыльный. Метек, опомнись, в Штатах нет домуправов.

---

[52] Примечания: 52
Ли Страсберг (1901–1982) — американский актер, режиссер, педагог.

Гитарист. Положи у двери.

Посыльный. Надо расписаться.

Гитарист встает и расписывается; розы он бросает на стол и принимается готовить себе завтрак, не глядя ни на розы, ни на письмо. Однако по выражению его лица мы понимаем: он знает, что это конец; прихлебывая кофе, он машинально отрывает лепесток за лепестком, а потом — когда розы становятся похожими на живые трупы из Берген-Бельзена, — вскрывает конверт. И тут его лицо проясняется; он начинает хохотать. Потом берет оставшиеся от роз скелеты и задумчиво их рассматривает.

Гитарист. Зря я так… Надо было преподнести цветочки Хеле. У Хели есть в Париже знакомый часовщик, я бы мог когда-нибудь у него на денек остановиться. (Задумывается; через минуту продолжает). Совсем забыл: Хеля — уже два года моя жена, сейчас она уехала отдыхать, а розы прислала баба, с которой у нас неделю назад завязался роман.

Затем меня спросили, какая концепция мне больше понравилась; я сказал, что не вижу между ними разницы, и вообще все это выглядит неправдоподобно; женщины, которые намерены с вами порвать, не станут выбрасывать

деньги на розы. В лучшем случае ваша бывшая возлюбленная, собравшаяся замуж за богатого садовода, напишет письмо, где сообщит, что решила уйти, чтобы не портить вам жизнь; но и это маловероятно. Адольф Рудницкий написал, что доступность женщин стала для всех нас адом; я, правда, не нахожу это огорчительным, но ребятам посоветовал почитать Рудницкого. Когда я наконец спросил про Эдварда, оказалось, что его уже два года назад выгнали из училища и где он сейчас, неизвестно.

Накануне возвращения в Казимеж, помню, я шел на рассвете по Краковскому Пшедместью в направлении Аллей и увидал человека, пытающегося связкой ключей сшибить стайку голубей с памятника тому, кто остановил солнце и заставил вращаться землю. Такой способ охоты мне знаком еще не был; подойдя поближе, я узнал в одиноком охотнике Павла Минкевича. Понаблюдав с минуту за его действиями, я спросил:

— Павел, что тебе нужно от этих несчастных птиц?

Павел объяснил мне, что сидит на мели и, если не сшибет птички, останется без обеда. Проникнувшись сочувствием к изголодавшемуся птицелову, я предложил ему позавтракать со

мной в привокзальном буфете; Павел охотно согласился. Я помню их всех — Метека, Здися Маклякевича, Мишку Станелевича, Польдека Тырманда и того актера, который обходил частные магазины на Хмельной и в каждом, прижав правую руку к сердцу, трагически восклицал, обращаясь к хозяину:

— Дай стольник. Артист погибает!

Сейчас мне тяжело о них думать; не знаю, сумел ли бы я разговаривать с ними так, как прежде. Самое страшное, что я совершенно не испытываю тоски по Польше и, когда сегодня задаю себе вопрос: что же такое для меня Польша? — не нахожу другого ответа, кроме как: это десять или пятнадцать человек, с которыми меня связывала дружба. О своих ровесниках, балующихся сочинительством, много написать я б не смог; они всю жизнь считали меня комедиантом; я же, в свою очередь, не очень-то знал, о чем с ними говорить, — нас интересовали разные вещи и разделял несхожий опыт. Тем не менее все последние годы я думал, что именно они олицетворяют для меня Польшу; однако и это оказалось иллюзией. Когда я начал печатать в «Культуре» свои доносы, один из моих близких приятелей, умнейший человек, прочитав первый отрывок,

сказал мне при встрече:

— Очень забавно. Только это Польша à la Джеймс Бонд. Такой Польши нет.

Человек этот никогда не был ни коммунистом, ни приверженцем коммунистической идеи; никогда не был оппортунистом и всю жизнь преодолевал препятствия, которые на его пути воздвигались во множестве: то его обвиняли в мещанских вкусах, то в порнографии; иногда в сюрреализме, а иногда — в глумлении над достижениями рабочего класса. Что я могу сказать в ответ на его упрек? Ничего, кроме одного: ну конечно, это я выдумал все беды, которые постигли Польшу; я выдумал политические процессы; я выдумал открытые убийства и убийства тайные; я выдумал, что меня два года шантажировали органы; я выдумал ликвидацию «Po prostu» и вообще все, о чем упоминал; и сделал это исключительно ради того, чтобы скрасить скучные вечера главному редактору «Культуры» Ежи Гедройцу. Решив, что Польша для меня — эти полтора десятка людей, я рассуждал как идиот; я не предполагал, что существует такая штука, как атрофия чувств. И еще я, усердный читатель Достоевского, не догадывался, что люди стесняются своих несчастий; возможно, даже больше

всего на свете.

Все эти ребята, с которыми мы вместе начинали, знали, что жизнь ужасна, но годами ждали возможности напечатать одно стихотворение, один рассказ; позволения нарисовать одну сюрреалистическую картину или выставить ни на что не похожую скульптуру. И все, вопреки фактам, вопреки реальности, не расставались с верой, что придет время, когда можно будет сказать «нет». Мы, уже лысеющие, и не красивые, и не двадцатилетние, все-таки сделали несколько шагов под солнцем — кто-то в правильном направлении, кто-то — не совсем туда, куда бы надо; особо выдающихся произведений мы не создали, но, быть может, они пригодятся будущим хроникерам как доказательство нашей убогости и бездарности — как доказательство немощи людей, живущих в нечеловеческих условиях, но не находящих в себе сил в этом признаться. Однако, повторяю, все верили, что настанет время, когда будет позволено произнести это единственное, самое важное в жизни слово «нет».

Когда я разговариваю с нынешними красивыми, двадцатилетними, меня пугает одно: все они знают, что в Польше плохо, все отчетливо понимают, что Польша — оккупированная стра-

на, но никого это особенно не колышет. Одна из самых красивых девушек, каких мне в последнее время доводилось встречать, хочет стать электронщиком; другой красивый, двадцатилетний изучает археологию Средиземноморья; третий — инженер-металлург. Никому из них не хочется быть писателем, художником или скульптором; никто не мечтает о наступлении дня, когда будет позволено сказать «нет». Убежавшего на Запад художника, писателя или режиссера ждут годы мытарств и случайной работы; ночевки в грязных гостиницах; женщины, которые платят; собственно, я не знаю случая — если не считать Милоша, — чтобы художнику, вырвавшемуся из-за железного занавеса, удалось не скатиться на дно. У новых красивых, двадцатилетних таких проблем не будет; попросив политического убежища, они останутся врачами, инженерами, кем угодно. Им не грозит ни голод, ни нищета, ни тоска по навсегда покинутой родине, где им не довелось страдать. Такие они — новые красивые, двадцатилетние.

Но тогда, в Казимеже, я еще не предполагал, что у меня наступит атрофия чувств. Повторяю: я потерял Ханю и взялся не за свое дело. Написал рассказ «Кладбища» — наивный и неудачный,

но построенный на подлинных фактах; я еще не знал, что в прозе главное — не факт, а правдивый вымысел. Фактография — не литература. История с собакой Самбой случилась на самом деле; речь, которую слушает герой рассказа, я переписал из «Новых дрог»; история о майоре и саботажнике, которую рассказывает высокопоставленный офицер политической полиции, услышана мною от полковника Яцека Ружанского; история скульптора, который ваял бюсты Вождя и Учителя для частного тира, известна всей Варшаве; эпизод с живущим в полуразрушенном доме ребенком, которого мать, уходя на работу, приковывает цепью к кровати, чтобы он не упал с полуразрушенной лестницы, есть в документальном фильме (кажется, Ежи Боссака); история девушки, которая сознательно забеременела от чахоточного коммуниста, чтобы возродить в нем желание жить, а он, узнав, что отец девушки политически неблагонадежен, ее бросил, произошла в семье моих друзей; факт же запугивания пьяного героя следователем, приписывающим ему антиправительственные высказывания, известен мне лучше чего-либо другого, поскольку таким незамысловатым способом вербовали осведомителей, — однако из всех этих фактов,

смонтированных вместе, ровным счетом ничего не получилось. И, полагаю, даже если б на тех же фактах построил рассказ более талантливый писатель, — все равно люди бы не поверили в то, что ежедневно видели и слышали и о чем говорили шепотом. Слабая книга Кёстлера «Слепящая тьма», которую я позволю себе назвать сентиментальной лекцией о тоталитаризме, изобилует нелепицами, о чем я уже писал, и тем не менее это — правдивый вымысел. Рубашов беседует со своим первым следователем — Ивановым, вместе с которым делал революцию, и Иванов — правда, не очень убедительно — доказывает Рубашову, что того шлепнут во благо партии. Иванов говорит: «Ежегодно несколько миллионов человек бессмысленно умирают от массовых эпидемий да столько же уносят стихийные бедствия. А мы, видите ли, не можем пожертвовать всего несколькими сотнями тысяч ради величайшего в Истории опыта». Поскольку аргументация Иванова должного воздействия не оказывает, его место занимает Глеткин — более молодой коммунист, сын Рубашова, однако и сын с отцом договориться не могут. Книга имеет какую-то ценность лишь потому, что в ней показан конфликт Рубашова с Глеткиным: став-

шие ненужными должны уйти (для литературы, кстати, линия чисто традиционная). Хостовец, рассуждая о «Диких пальмах», замечает, что, если рассматривать эту книгу как документальное свидетельство жизни среднего американца, читатель невольно придет к заключению, что деньги — самая редкая и труднодоступная вещь в Соединенных Штатах, богатейшей стране мира; и все-таки этот роман — правдивый вымысел. В другой книге Фолкнера человек стоит спиной к заходящему солнцу, и собеседник все время обращается к падающей от того тени; еще в одной книге этого же автора герой в одиночку сражается с крокодилами только затем, чтобы накормить женщину, которая родила на его глазах и к которой ему даже близко подходить не хочется; потом этот человек — спасший две жизни — получает дополнительно десять лет, ибо его пребывание на свободе затянулось, а тюремным уставом столь долгая отлучка не предусмотрена. Другого героя этого же романа приговорили к девяносто девяти годам лишения свободы лишь потому, что он побоялся очной ставки с какой-то истеричкой. И все это можно с полным правом назвать правдивым вымыслом.

Многие говорят, что изобразить кошмар наше-

го времени невозможно. Не согласен; великий провидец Федор Михайлович Достоевский все это уже давно описал в восьмой главе «Бесов», называющейся «Иван-Царевич». Не могу удержаться от искушения и не процитировать слов Петра Степановича Верховенского, излагающего Николаю Ставрогину программу Шигалева — теоретика созданной Верховенским группы революционеров.

Петр Верховенский: «У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще

не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!»

И дальше: «Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина».

После пятьдесят шестого года любимыми писателями в Польше стали Ионеско и Беккет, не говоря уж о Кафке или Гомбровиче. Никто больше не нуждался в литературе реального трагизма; авторам произведений такого рода приходилось нелегко: выбрав для себя одну из самых безнравственных профессий, каковой является сочинительство, человек должен хотя бы в общих чертах представлять себе, где он живет: в аду или в стране улыбок. Все зачитывались Гомбровичем; «Фердидурке» стал тем, чем для Достоевского была на каторге Библия — един-

ственная книга, которую разрешалось читать политзаключенным. Итак, Гомбрович сказал: «Нас уконтрапопили». Что миллионы погибли в тюрьмах и лагерях, узнали лишь от Хрущева; до того все было о'кей. Инженеры человеческих душ не ведали о том, о чем знал каждый служащий, каждый рабочий и вообще всякий, кто не принадлежал к новому классу привилегированных. Бегство в мир смешного и гротескного было единственным способом самому не превратиться в посмешище; лучше быть играющим перед полным залом шутом, чем Гамлетом, взывающим к пустым креслам. В одном из опубликованных в тот период рассказов описана следующая ситуация: конец света, в живых остались только двое мужчин, которые беспрерывно друг друга терзают; в результате один из них лезет в петлю из опасения, что другой его выдаст, он не желает замечать, что уже не существует ни тюрем, ни политической полиции, ни мира вообще.

Нелегально проникающая на Запад русская литература тоже спасается смехом. В книге Терца, советского писателя, которого ждет пребывание в местах не столь отдаленных, есть такая сцена: молодой человек на допросе говорит следователю: «Оставьте глупые шутки. Я еще не осужденный,

я — подсудимый». Следователь подводит его к окну, откуда открывается вид на огромную площадь, по которой идут люди. «Вон они где — подсудимые, — говорит следователь. — А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный».

В рассказе другого советского писателя, пишущего под псевдонимом Аржак, один малый утверждает, что может «зачинать, кого хочет» — сына или дочь, по заказу; и советские ученые с полной серьезностью подвергают его всестороннему медицинскому обследованию. Откуда же берут силы смеяться граждане этой страны? Объяснение, думаю, найти несложно. Никто не в состоянии поверить в правду — в людоедство, в нечеловеческие мучения, выпавшие на долю миллионов. Возможно, смех — защитная реакция, рожденная презрением к себе; мы столько лет все это видели и ничего не смогли сделать; смотрели на страдания наших братьев и тем не менее спали по ночам и наши организмы функционировали нормально; знали, что узники северных лагерей во время работы отмораживают руки и ноги, и тем не менее часами стояли в очередях за теплыми сапогами. Мы не имеем права раздирать на себе одежды, но вправе смеяться над собственным бессилием. Однако трагической

литературы нам не создать, ибо никто и никогда не поверит, что мы пережили такое. Опыт непередаваем; жителей Парижа или Милана, мечтающих о торжестве коммунизма, мы смогли бы убедить в идиотизме самой идеи, только если бы на улицах этих городов появились советские танки. Но пока такого не произошло, давайте смеяться. Наша жизнь во власти глупцов, которые могут нас уничтожить; но сами они не уверены в собственном будущем.

Профессор Ян Котт говорил когда-то своим студентам, что в книгах наших современников не найти споров о литературе и литературных героях, подобных тем, что постоянно встречаются у Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Действительно, в произведениях, написанных и изданных после войны, нет ни единой сцены, где бы спорили о прочитанном; впрочем, упоминания о цене костюма вы там тоже не обнаружите: люди, которые прочтут эти книги через сколько-то там лет, никогда не узнают, какова была реальная стоимость денег. Наряду с главной причиной, заставляющей писателя бежать в мир гротеска и смеха, — неверием в то, свидетелем чего ты сам был, и убежденностью, что и другие не смогут в это поверить, — есть еще

одна причина, очень простая, а именно: полная неосведомленность о жизни народа, незнание условий, в которых народ живет, и неумение пользоваться фактическим материалом — даже при понимании нравственного аспекта проблемы. Если герой какой-нибудь из написанных в последнее время книг говорит: «Нам тяжело живется», тем дело и кончается, и читатель так и не узнает, сколько этому герою нужно было денег, чтобы прожить, сколько он зарабатывал и сколько бы хотел зарабатывать. Мы не узнаем, сколько стоил билет в кино, потому что писатели посещают закрытые просмотры и им не приходится часами выстаивать в очереди за билетом; мы не узнаем, сколько стоил костюм и сколько платили крестьянину за корову или свинью. Эта мелочь кажется мне весьма характерной; читая Фолкнера, Стейнбека или других современных американцев, мы примерно себе представляем, как люди одевались, что ели и в чем нуждались. А из произведений польских и русских писателей мы ничего подобного не извлечем: раньше было хорошо, а теперь ужасно; вот и все. Как в книгах сюрреалистов, так и в книгах, тайком переправляемых за железный занавес, тема денег — табу.

Сегодня наши писатели не касаются денеж-

ных проблем. В любой из книг, которые можно считать выдающимися, нет ни одной сцены, где бы шла речь о деньгах или об их ценности, даже в самой примитивной форме — например, чтобы кто-нибудь торговался, покупая одежду, или уличал обсчитавшего его официанта; мы не узнаем, сколько стоила проститутка, за сколько можно было купить подержанный или новый автомобиль и во сколько обходилась обстановка квартиры. В книгах Бальзака и Достоевского, у Чехова и у современных американских авторов герои выуживают друг у друга рубли, франки и доллары; в современной польской литературе герои посещают рестораны и расплачиваются; покупают одежду и расплачиваются, но никогда не интересуются ценой; что при этом думает тот или иной персонаж, нам тоже не сообщают. Литература — важный пропагандистский фактор — разоблачает себя очень наглядным и довольно неожиданным образом; героям одного производственного романа наплевать на героев другого производственного романа, и это, пожалуй, их единственная человеческая черта. В книгах наших современников не найти того, что мы находим хотя бы у Достоевского, который расправлялся с Тургеневым на свой

лад, пародируя даже его стиль; приверженцам метода, рекомендованного и превозносимого никогда не ошибающейся партией, даже в голову не приходила такая простая вещь, как попытка замаскировать свое убожество и добиться того, чтобы их книги оставили устойчивый след.

Лишь теперь я отчетливо понимаю, что, сев писать «Кладбища», взялся не за свое дело; но мне хотелось проверить, можно ли построить рассказ исключительно на подлинных фактах. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать два года; я решил, что, если до сорока не напишу стоящей книги, займусь чем-нибудь другим. Я владею семнадцатью профессиями и в любую минуту могу пойти работать бетонщиком, шофером или сварщиком; но пока у меня еще восемь лет впереди. До сих пор я сочинил несколько десятков рассказов; из них читать могу только четыре; но ни один мне не нравится. Я люблю размышлять о том, что напишу; тогда мне все кажется о'кей. Хуже становится, когда я сажусь писать; и совсем скверно, когда перечитываю то, что опубликовал, — тут уж видишь только загубленную идею и начинаешь понимать, как бы это следовало написать. Артур Сандауэр не раз советовал мне не печатать тот или иной рассказ из прочитанных

им в рукописи; думаю, он был не прав. Нельзя увидеть свои ошибки, пока рассказ лежит в ящике письменного стола; нужно его опубликовать и покраснеть за него от стыда; это — единственная возможность научиться чему-нибудь на будущее. Если таковая вообще существует.

Помню свой первый визит к Сандауэру; я пришел попросить взаймы денег. Сандауэр начал читать мне стихи Бялошевского; я сидел и ничего не понимал. Наконец Сандауэр прервал чтение.

— Вы понимаете?

— Нет, — сказал я.

— Слушайте, — сказал Сандауэр и стал читать дальше. Я слушал и по-прежнему ничегошеньки не понимал.

— Понимаете?

— Нет, — сказал я.

— Ничего?

— Абсолютно ничего.

— Слушайте, — сказал Сандауэр и опять принялся читать. Я глядел на него, но, несмотря на сверхчеловеческие усилия, не понимал, о чем речь.

— Понимаете?

— Нет, — сказал я.

— Ничего?

— Абсолютно.

— Как это может быть?

— Не знаю, — сказал я.

(Через несколько сеансов Сандауэр убедился в моем идиотизме и выгнал меня из дома. Как раз тогда он вознамерился разгромить польскую литературу, никому не давая поблажек. Насколько помню, первым Сандауэр обрушился на Адольфа Рудницкого; в рукописи статьи, которую он мне читал, приводились цитаты из прозы Адольфа, где тот не совсем правильно строил польские фразы. Меня удивило, что такого умного человека, как Сандауэр, радуют чужие огрехи; критик имеет право приходить в отчаяние, но не имеет права злорадствовать. А дело было в самый ужасный период, когда по Польше прокатилась волна антисемитизма. Рудницкий никогда не скрывал своего еврейского происхождения. Я сознательно употребляю это казенное определение, потому что не могу назвать человека, рожденного в Польше, просто «польский еврей». Позволив себе мыслить подобными категориями, я бы неизбежно пришел к выводу, что на свете не существует Соединенных Штатов и что родившиеся там люди не американцы, а евреи, португальцы и поляки. Быть может, мои рассуждения примитивны, но я

признаю только простой способ мышления.)

— Ну а вы-то сами что хотите сказать? — вопросил Сандауэр.

— Не знаю, — ответил я. — Но, надеюсь, при случае вы мне объясните.

И он объяснил — позже, когда я получил Премию книгоиздателей и Сандауэр первым начал меня топтать; действительно без малейших поблажек. В то время меня уже не печатали; две мои новые книги были отвергнуты издателями, а критики-марксисты дружно объявили меня извращенцем и дегенератом.

Итак, закончив «Кладбища», я отнес рукопись в издательство. Ее не приняли. Я спросил: почему?

Мне сказали:

— Такой Польши нет.

Я спросил:

— Прикажете считать приговор окончательным?

Мне сказали:

— Да.

Потом я побеседовал с одним из умнейших критиков молодого поколения, который работал в том же издательстве.

— Ты взялся не за свое дело, — сказал он. — Политика не для тебя. Твоя тема: он и она; вот о чем

ты должен писать. И старайся при этом поменьше думать; в твоем случае это, ей-богу, лишнее.

Я пошел в другое издательство, где лежала моя первая короткая повесть, а вернее, длинный рассказ под названием «Следующий в рай». Мне заявили: такой Польши нет. Однако повесть издать согласились, если я изменю всего одну фразу: «Вы превратили Польшу в такой огромный концлагерь, что не нужны ни колючая проволока, ни собаки — все равно убежать некуда». Я сказал, что не уберу ни слова. Мне сказали, что книга плохая.

Потом я поехал во Вроцлав, где по этой же книге снимался фильм; режиссер Чеслав Петельский, получив от меня рукопись, пообещал в точности следовать тексту. Я просмотрел часть отснятого материала и, ознакомившись с изменениями, которые внес Петельский, потребовал, чтобы фильму дали другое название и мою фамилию убрали из титров. Изменения были сделаны по требованию полковника профессора Александра Форда — художественного руководителя творческого объединения, где снимали «Следующий в рай».

В своей жизни я встречал много проходимцев; знал людей, которые продавали сахар под видом

морфия; знал торговцев персидскими коврами, изготовленными два часа назад на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве; во время оккупации встречал одного мерзавца, который озолотился, продавая евреям муку и утверждая, что это яд, который избавит их от страданий, когда иного выхода уже не будет; знал людей, живших за счет шантажа; и видел, как работает фирма, предоставлявшая для опрыскивания калийными удобрениями полей такие старые и негодные самолеты, что ни одна компания не соглашалась страховать ни летчиков, ни машины; но такого фантастического пройдохи, как Форд, мне никогда встречать не довелось.

Полагаю, я имею право так о нем написать: я знаю, сколько людей, сколько идей и фильмов загубил этот человек — ловкий и хитрый оппортунист, притворяющийся ярым противником режима, возмущенным глупостью властей. «Восьмой день недели» — плохой рассказ, но из него можно было сделать хороший фильм, только делать фильмы нужно уметь. Форд, который изучал Варшаву из окна своего автомобиля, перенес действие с окраины в центр города; Агнешка бродит по нарядным улицам и отбивается от статистов в футболках, изображающих

люмпен-пролетариев. Я же в рассказе, который, к сожалению, не получился, хотя замысел был хороший, хотел показать, как девушка, видящая вокруг себя грязь и мерзость, мечтает только об одном: о красивом начале любви. А Форд снял фильм о том, что людям негде трахнуться, что, конечно, неправда: трахаться можно везде.

Итак, Форд снял фильм про то, что «негде»; на самом деле он просто не знал «как». Да еще старательно причесал все смелые сцены; фильм должен был принести ему награду в Канне, признание марксистской критики и легкий нагоняй от партийных боссов. Получилось дерьмо; к несчастью для Форда, но к счастью для меня. Впрочем, это тоже неправда; в результате мне пришлось жениться на снимавшейся в фильме инженю[53].

Знакомый кинокритик поинтересовался моим мнением об этом фильме; я тогда еще не видел его целиком, но читал написанный Фордом сценарий и сказал, что это халтура. Два дня спустя критик в точности повторил мои слова в своей газете. Еще через несколько дней со мной пожелал встретиться один из помощников Форда,

---

[53] Примечания: 53
Речь идет о немецкой кинозвезде Соне Циман.

директор картины Страшевский.

— Мне надо с тобой поговорить об одном неприятном деле, — сказал он.

— Других дел у меня сроду не бывало, — сказал я. — Валяй.

— Читал Богдана Венсерского в «Вечернем экспрессе»? Он пишет, что «Восьмой день» — халтура.

— Это ничего не стоит опровергнуть. Переделайте фильм заново от начала до конца.

— Форд сообщит на пресс-конференции, что ты фильма ни разу не видел, явился на съемки пьяным и пытался изнасиловать инженю.

— Это будет первый случай, когда Форд скажет правду, — заметил я. — Подожди минутку.

Я пошел в раздевалку и, позвонив знакомому адвокату, спросил, как мне следует поступить и не попахивает ли тут шантажом. Адвокат поинтересовался, есть ли у меня свидетели, и, узнав, что есть, сказал, что я могу на него рассчитывать. Слышавший разговор приятель посоветовал мне этого не делать, если я хочу когда-нибудь еще получить работу в кино, поехать на Запад и т. д. Я сдрейфил и написал в «Вечерний экспресс» открытое письмо, где сообщил, что Венсерский меня неправильно понял и что я прошу про-

щения у создателя польского романтического кинематографа и выдающегося режиссера за то, что невольно его обидел.

И «Восьмой день», и «Следующий в рай» написаны мной десять лет назад; сейчас я не только читать, но даже слышать о них не могу. Хотя из «Следующего» мог получиться хороший фильм: автокатастрофы, мордобой, взрыв, у героини на заднице мозоли, оттого что ее все без передышки употребляют; для юного зрителя лучшего не надо. Но Форд тщательно уничтожил все, что там было забавного и ребячьего. Я так и не посмотрел этой картины, только читал рецензии Зигмунта Калужинского и Кшиштофа Теодора Теплица; именно тогда Теплиц написал, что Польша показана такой, какой ее видит юный Маречек.

Во время съемок этого чертова «Восьмого дня» между мной и исполнительницей главной роли протянулись нити так называемого подсознательного влечения. Помню, на второй день Пасхи мы ехали из Варшавы в Казимеж на ее машине, в Польше это самый хмельной день: «деревня женится». До Казимежа на «БМВ» — автомобиле, легко делающем сто шестьдесят в час, — мы добирались несколько часов. На дорогах полно было пьяных крестьян, пьяных возчиков, пьяных

велосипедистов и мужиков, гоняющихся друг за другом с цепами, ножами, вилами и прочими атрибутами народных гулянок, которые обошла своим вниманием Мария Домбровская в рассказе «На деревне свадьба»; рассказ этот одно время считался вершиной не то реализма, не то позитивизма, а может, романтизма; во всяком случае, вершиной. Пока я дополз до Казимежа, с меня семь потов сошло; очень трудно ехать на чужой легковушке по пьяной стране. То ли дело грузовик; у нас был свой способ устранения с дороги пьяных мужиков вместе с телегами, а именно из старой автомобильной камеры изготовлялся кнут, в котором резина искусно переплеталась с проволокой, и если развеселый возчик при звуке клаксона не освобождал пути, помощник вытягивал его этим кнутом, а лошадь, взяв под уздцы, отводил на обочину; оставалось кое-как протиснуться на грузовике. На этот раз при мне вместо кнута была инженю; перед самым Казимежом я вынужден был остановиться; трое пьяных, двое из которых гнались за третьим, налетели на капот нашей машины и на моих глазах этого третьего пырнули ножом; после чего я поехал дальше.

— Через три дня они снова подерутся, — сказал

я своей спутнице. — На его похоронах.

— На чьих похоронах?

— Малого, которого они только что зарезали.

— Кого зарезали?

— Человека. На капоте твоей машины, — сказал я.

Она улыбнулась — не поверила. Видела и не поверила; вот почему я когда-то обижался на commies: они лишили меня отличной возможности изо дня в день наблюдать отчаяние, жестокость, одичание; тогда еще я считал, что об этом можно писать и что это и есть правда. Сейчас, когда мне хочется увидеть что-нибудь леденящее кровь, я вынужден идти либо в кино, либо на catch[54], либо на собрание какой-нибудь из ветеранских организаций. В фильме «Третий человек» Орсон Уэллс, оправдывая совершенные им преступления, говорит «Борджиа продержались у власти тридцать лет. За это время было создано столько произведений искусства, что их даже трудно описать. Швейцарцы пятьсот лет живут в стране, где царит мир, демократия и свобода. И что им удалось изобрести? Часы с кукушкой. Good-bye». Быть может, лет через две-

---

[54] Примечания: 54

Кетч (*англ.*) — борьба, в которой допускаются запрещенные приемы.

сти кто-нибудь с приятным волнением вспомнит сталинские времена; сейчас ни у кого нет на это ни охоты, ни сил. Да и ни к чему требовать от людей, чтоб они верили в мерзость, преступления и безнравственность.

Мне хочется рассказать о некоторых связанных с кино курьезах. В выдающемся фильме Полянского «Нож в воде» один из героев едет на уик-энд на своей машине; он молод, хорош собой, умен; у него есть собственная яхта, красотка жена, и денег, видать, куры не клюют. В Польше это каждому ясно с первого взгляда: как же иначе можно себе позволить иметь яхту, машину, путешествовать? И проблемы у него, как у всякого мужа красивой жены, стандартные; нетрудно себе представить: человек бреется, зажмурив глаза, чтоб не попала пена, а за стенкой приятель, с которым вместе служили в армии, нагло — пока друг не видит — клеит его жену. Короче, насчет этого персонажа у нас сомнений нет: хладнокровный пройдоха; яхту и машину ему не родственники из Штатов прислали — он сам всего добился с помощью разных махинаций, при мысли о которых польский зритель начинает испытывать зависть и презирать самого себя. Тот же фильм немецкий зритель воспринимает

совершенно иначе: молодой приятной наружности журналист, обладатель машины и яхты, вызывает не ненависть, а уважение: видно, что своими успехами он обязан лишь собственному уму, способностям и воображению. А вот парень, останавливающий машину журналиста, немцам неприятен; это разрушитель, бунтарь, не имеющий ни программы бунта, ни оснований издеваться над человеком, который подбирает его на шоссе, дает поесть и предлагает приятно провести время, ибо прогулка на яхте может быть только приятной. Главное достоинство фильма в том, что он фактически представляет собой картину гона: два самца постоянно схватываются, в то время как лань невозмутимо пощипывает травку. В какой-то момент жена героя говорит юному бунтарю, имея в виду своего мужа: «Он был таким, как ты, а ты будешь таким, как он» (не ручаюсь за точность цитаты, поскольку видел фильм дублированным на немецкий). Действительно: этот красивый, двадцатилетний тоже когда-нибудь обзаведется собственным автомобилем, моторкой, холодильником и телевизором, а может, даже узкопленочным киноаппаратом. Пока еще он бунтует, но это последние жалкие попытки; раз уж мы не можем жить, как свобод-

ные люди, постараемся позаимствовать хотя бы внешнюю оболочку их жизни.

Другим забавным фильмом — правда, не того класса, что фильм Полянского, — была советская картина «Летят журавли». В ней один из героев, музицирующий на вечеринке, внезапно, с треском захлопнув крышку рояля, восклицает: «Если б не эта проклятая война, я бы теперь сидел в зале консерватории и играл Чайковского». Всякий нормальный человек, естественно, предпочтет играть Чайковского, а не носиться с винтовкой по полю под ураганным огнем; но совсем иначе обстоит дело, когда в бой идешь по приказу Отца Народов. Беспомощная попытка режиссера скомпрометировать своего героя вызывает у западных людей лишь симпатию и сочувствие к этому персонажу. Оба упомянутых мной фильма и реакция зрителей могли бы стать темой очередного эссе Хостовца; но на это нечего рассчитывать. Хостовец любит только Анну Маньяни и ходит только на ее фильмы, а когда Маньяни нет в кадре, сидит с закрытыми глазами — в точности как я на фильмах с Орсоном Уэллсом.

Итак, в пятьдесят седьмом году меня совсем доконали: задержали две книжки, загубили два фильма. Завершилось и мое сотрудничество с

«Po prostu»; сам я стал объектом язвительной критики и разоблачений, не всегда хорошо написанных. И все-таки мне жаль «Po prostu»; перелистывая сегодня пожелтевшие страницы старых номеров, я заметил, что в пятьдесят седьмом стиль репортажей, статей и дискуссий день ото дня становился все хуже и хуже. Создается впечатление, что авторы всех этих материалов с минуты на минуту ждали конца. Сейчас «Po prostu» читается как хроника, причем хроника, наводящая страх. Об этой газете написал в своей книге Виктор Едлицкий. В частности, он вспоминает, какой трагедией стало закрытие «Клуба кшивего кола». И я туда пару раз заходил, но темы, которые меня интересовали, я предпочитал обсуждать не на собраниях, а с глазу на глаз, и то лишь будучи уверенным, что успею раньше собеседника добежать до отделения милиции и сообщить, о чем был разговор. Верят, как известно, обычно первому. Впрочем, «Po prostu» и «Клуб кшивего кола» — уже легенда.

Незадолго до отъезда из Польши меня пригласили на работу в журнал «Европа», но он так и не вышел в свет. Начиналось все как нельзя лучше; главным редактором был Ежи Анджеевский, находившийся тогда в отличной форме; журнал

делали Юлек Жулавский, Зигмунт Мычельский, Януш Минкевич, Генрик Кшечковский; я занимался кино. Мы подготовили первый номер; кажется, он получился хорошим, но в ЦК нам разъяснили, что на данном этапе партия не видит необходимости издавать журнал такого типа. Помню, как все мы сидели и пили кофе; настроение было препоганое; внезапно мрачный как туча Кшечковский встал и сказал:

— Друзья, не позволим свести нас с ума.

Эта фраза стала девизом моей жизни — пожалуй, навсегда. В конце пятьдесят седьмого года снова подняла голову всякая сволочь; снова начали писать о соцреализме; митинг студентов, протестующих против закрытия «Po prostu», был разогнан; цензура взяла на вооружение слова Гомулки об охране государственных интересов. Так закончилась моя карьера сотрудника журнала «Европа»; и так закончился год эйфории. Это совпало с сороковой годовщиной Великой Октябрьской революции. Помню, Янек Роевский сказал: «Что ж, сорок лет пролетели как один день».

В то время я немного подрабатывал в кино; воспоминания, с этим связанные, не из приятных. Началось все еще в пятьдесят четвертом, в Лод-

зи, где студенты Высшей киношколы снимали фильм под названием «Конец ночи»; я поехал туда в качестве одного из сценаристов. На съемках я познакомился с человеком-дьяволом: он мог левой стороной лица изображать парня, охмуряющего девушку, — девушкой был его правый профиль. Говорили, что этот человек запросто может сыграть… дверную ручку. В «Конце ночи» у него была маленькая эпизодическая роль; ни один из снимавшихся в этом фильме студентов Театральной школы и в подметки ему не годился — а учился он даже не на актерском, а на режиссерском отделении. Он не играл — просто был. Стоило ему «войти в кадр», как все замирали, зная: сейчас начнется. Был он худой и нервный; однажды, в середине мирного разговора, ни с того ни с сего запустил в меня стоявшей на столе бутылкой. На вопрос, почему он это сделал, ответил, что просто захотел проверить мою реакцию. По сей день не понимаю, зачем ему это понадобилось; он же объяснить так и не удосужился, поскольку вскоре «запустил хищный взгляд своих зениц» — по гениальному выражению Жеромского — в душу новой жертвы. Мы встретились только много лет спустя, в Мюнхене. Он тогда, чтоб меня позабавить, изобразил ки-

тайского детектива, которому надлежало застать in flagranti[55] какую-то парочку; взобравшись на дерево и наблюдая в бинокль за так называемым «ураганом страстей», детектив, не удержавшись от искушения, повторяет грех Онана, столь жестоко наказанный Богом, в результате чего падает с дерева и ломает ногу. Китайским детективом был Роман Полянский.

В первом его фильме — короткометражке «Люди со шкафом» — я ничего новаторского не усмотрел; тогда я еще верил, что только трагизм может чему-то научить, Полянский же начал с того, что я в ту пору считал гротеском, а сейчас с маниакальным упорством называю правдивым вымыслом. Два человека, несущие по городу шкаф, неведомо откуда взявшиеся и неведомо куда направляющиеся, не показались мне тогда правдивыми — это сейчас я знаю, что каждый тащит по какому-нибудь городу свой шкаф, цену которому знает только он сам. На первый полнометражный фильм Полянского «Нож в воде» я пошел, не ожидая ничего хорошего; но теперь, если б меня спросили, какой из польских фильмов я считаю самым выдающимся, я бы назвал

---

[55] Примечания: 55
На месте преступления (*лат.*).

«Нож в воде». Посмотрев этот фильм, я впервые убедился, что в Польше есть и киноактеры.

Школа, из которой вышел Полянский, была самым любопытным учебным заведением в Польше; у каждого из ее выпускников был собственный стиль и хороший вкус; все были начитанны и умели мыслить. Их просто смешно сравнивать с французскими или немецкими ровесниками. Я не могу толком объяснить, что означает понятие «новая волна»; и что такое «неореализм», мне до сих пор неясно; но когда я вспоминаю усталых ребят в вельветовых брюках, с которыми я познакомился в пятьдесят четвертом году в Лодзи, во мне закипает гнев: почему такие бездари, как Годар, могут делать картины, где обсасывают эротические проблемы, давным-давно решенные каждым шестнадцатилетним онанистом, а ни один из этих парней не снял выдающегося фильма. «Пепел и алмаз» Вайды меня прямо-таки ошарашил. Чего там только нет: и тебе советские танки, и бывшие участники испанской войны, и малышка Зискинд поет про плакучие ивы, и полонез танцуют, и граммофоны взад-вперед таскают; Цибульский без конца забавляется пистолетом и убивает свою жертву в тот момент, когда небо озаряется салютом побе-

ды; хорошие коммунисты, плохие коммунисты; допрос в УБ и чертова прорва часовен с трупами, придорожных распятий и каких-то жутких диверсантов. Вайда не понял, что замечательная книга «Пепел и алмаз» — при всех ее достоинствах — далеко не первая такого рода. Проблема Цибульского не выдумана, но это проблема Джесси Джеймса: стрелять или не стрелять. Думаю, если б этот фильм делал Полянский, на экране была бы просто кровать с Цибульским и девушкой да празднующий победу пьяный город за окном; вот это был бы настоящий «Пепел и алмаз». Я знаю еще только один такой же глупый фильм: «Восьмой день недели». Но Цибульский из «Пепла» и Цибульский из «Восьмого дня» — два совершенно разных актера; глядя, как Цибульский в «Пепле» поигрывает пистолетом, я ни на секунду не мог поверить, что этот человек убивал других людей и теперь вынужден убить еще раз; а глядя на Циба в «Восьмом дне», безоговорочно верил, что передо мной хороший и умный мальчик, который умеет по-настоящему любить и знает истинную цену любви; Циба спас этот фильм; второй раз смотреть «Восьмой день» я пошел только из-за него. И мои личные пристрастия тут ни при чем.

Самым забавным человеком в польском ки-

но был Геня Шляхет — личность, вошедшая в легенду. Это Геня первый начал называть меня «Хласковером»; к актеру Кенстовичу он обращался исключительно «дражайший пан Кенстовер». Однажды, когда снимался «Следующий в рай», он по телефону вызвал меня во Вроцлав — что-то доработать в сценарии. Геня сказал: «Хласковер, я вам уверяю: это не кино, это что-то особенного». После чего, на следующий день, разбудил меня словами: «Это не что-то особенного, это кино». Как-то во время выбора натуры, любуясь закатом солнца, он указал на лежащее в долине озеро и сказал мне: «Вы только посмотрите: это просто цимес»; так Геня пытался живым словом передать красоту пейзажа. Но бессмертную славу Шляхет стяжал благодаря истории с пушкой. Будучи директором фильма о солдатах, он приобрел в одной из частей Войска Польского списанную пушку, но что-то напутал в платежных документах и не смог отчитаться за покупку; в результате деньги содрали с него, и таким образом Генрик Шляхет стал владельцем мортиры. Я вспоминал его в Израиле, глядя на Олека Пфау, снимавшего какой-то документальный фильм; за Олеком бегал по пятам продюсер, в отчаянии крича: «Господин Пфау, умоляю вам — только без искусства»;

речь шла о том, чтобы Пфау не тратил пленку на дубли. На самом деле «Шляхету», как сам Геня любил себя называть, говорил по-польски не хуже Хостовца, но все упрашивали его коверкать язык на местечковый лад; никто лучше Гени не умел этого делать.

Мои старшие коллеги из Союза литераторов настойчиво уговаривали меня на некоторое время уехать на Запад — естественно, в Париж. Мне посоветовали подать заявление на стипендию. Стипендии распределяла специальная комиссия Союза; мой вопрос был решен положительно. Обзаведясь заграничным паспортом и заключив договоры с издательствами «Жюльяр», «Даттон компани» и «Кипенхойер унд Вич», я попросил выдать мне деньги; и тут оказалось, что это — принятое коллегиально — решение отменено. Мне было велено обратиться в министерство культуры; в министерстве не смогли сообщить ничего нового, только подтвердили, что стипендии не будет. Я попросился на прием к министру культуры; министром тогда был Курылюк, который принял меня очень любезно и сказал, что стипендии меня и вправду лишили, но он не может вмешиваться, поскольку стипендию без его участия назначила специальная комиссия

при Союзе польских литераторов. Сожалея, что он не в состоянии мне ничем помочь, министр по-дружески порекомендовал обратиться в Союз, где эта специальная комиссия заседает. Я снова туда отправился; мне сказали, чтобы я пошел в министерство культуры, поскольку, хотя Союз этими стипендиями и распоряжается, выплачивают их из стипендиального фонда министерства — и так далее. Янек Вильчек, предыдущий министр, был куда забавнее. Он любил рассказывать, что ненавидит участвовать в официальных панихидах, так как, несмотря на многолетний опыт, обязательно умудряется поскользнуться и всякий раз боится, что свалится вместе с высокопоставленным покойником в могильную яму. Справедливости ради замечу: министр Курылюк даже не очень скрывал, что врет. Все легенды о том, что он слетел из-за меня, не имеют ничего общего с действительностью; стипендию он отменил, еще не зная, что я заключил кучу договоров с разными издательствами. Короче: мне даже не разрешили купить билет за злотые, пришлось выкладывать доллары.

В пятьдесят восьмом году я получил Премию книгоиздателей; мне ее дали за две неопубликованные книжки — вероятно, авансом, в знак

доверия; но через несколько дней я уже был в Париже. Прощавшиеся со мной в аэропорту друзья не сомневались, что я не вернусь; я ни минуты не думал, что могу остаться. Иллюзий у меня не было; я знал, что на Западе Польшей интересуются только как российской провинцией; не испытывая сам интереса к творчеству молодых болгарских или румынских писателей, я понимал, что смешно требовать от западных читателей, чтоб они ни с того ни с сего отложили Камю и Фолкнера и набросились на молодую польскую прозу. Но мне хотелось посмотреть, как этот Запад выглядит; ну и, поскольку мои «Кладбища» и «Следующий в рай» были отвергнуты с оговоркой, что я имею право найти другого издателя, я решил этим правом воспользоваться. Моим издателем стал Ежи Гедройц.

Я прошел таможенный досмотр; серебряная птица взмыла в небо; дома как спичечные коробки, поля как шахматная доска — все это известно. Рядом со мной сидела старушка, которую пригласила в Штаты сестра; за время пути в полупустом самолете соседка успела радостно мне сообщить, что больна раком и едет умирать. Я отказывался верить и произносил какие-то сочувственные слова; старушка предъявила медицинскую

справку, в которой я прочитал, что у гражданки такой-то обнаружен запущенный рак; врачи подобных справок, как правило, не выдают, но сестра моей спутницы, вероятно не очень состоятельная, согласилась ее принять только при условии, что визит надолго не затянется. Еще соседка продемонстрировала мне рентгеновские снимки, в которых я ничего не понял; была у нее, разумеется, и липовая справка, свидетельствующая об ее отменном здоровье, — без такой справки американское посольство не выдало бы старушке визы. Летя со скоростью шестисот километров в час на роскошном четырехмоторном лайнере и глядя на сияющее от счастья лицо соседки, я думал обо всех этих стариках, ползущих к могиле со своими жалкими привычками и нелепыми планами; я тогда еще не знал, что не она одна, а оба мы уезжаем, чтобы умереть вдали от Польши. Мне было двадцать четыре года, и дома на мне поставили крест, ей — почти семьдесят, и она впервые ехала в страну, о которой знала лишь одну, существенную для нее, вещь: что страна эта лежит за тысячи километров от места, где прошла ее жизнь. У меня было при себе восемь долларов; у нее — рентгеновские снимки, подтверждающие, что она скоро отдаст концы; и

так мы развлекали друг друга приятной беседой: она, сияющая, как Белоснежка после седьмого аборта, и я — мрачный и уверенный, что без Польши долго не протяну. Тогда я еще не знал, что мир состоит из двух половин, в одной из которых невозможно жить, а в другой — невозможно выдержать. Сидя рядом со старушкой, я вынул из кармана газету и прочитал на последней странице объявление следующего содержания: «Имеются дверцы для двустворчатого шкафа застекленные, жду предложений». И внезапно понял, что в этих нескольких словах больше правды о прожитой мною жизни, чем во всем, что я написал на сотне-другой страниц; только в этом самолете я уразумел, что король-то голый. С ощущением краха и собственной смехотворности я вступил в новый мир и в новую жизнь; на том и закончу попытку рассказать о погоне за счастьем, которая, как говорят, почти всегда бессмыслена, но которой стоит посвятить жизнь.

Гостиница «Виктория»

В Париже я вел себя как последний идиот. Я страдал от одиночества и почему-то — на фоне сидящих в уличных кафе улыбающихся людей — казался себе ужасно смешным и жалким. Разумеется, мне даже в голову не пришло записаться на какие-нибудь курсы и поучиться французскому хотя бы ради того, чтоб суметь убедиться, что кроме меня в Париже проживают еще несколько идиотов; я ходил в ресторан «Chez Wania», где русские таксисты пили водку «Смирнофф» и, вспоминая о своих пропавших миллионах, всякий раз, подымая рюмку, восклицали: «Это все из-за евреев». Знакомые поляки беспрестанно меня спрашивали: «Вы уже побывали в Лувре?»; в Лувре я не был до сих пор.

После того как в «Культуре» вышла моя книжка, «Трибуна люду» опубликовала статью под названием «Прима-балерина на одну неделю»; полностью пересказать этот донос невозможно; начинался он словами: «Международная банда торговцев оружием для борьбы с коммунизмом на этой неделе пополнилась новым членом». Я отправил в редакцию «Трибуны люду» письмо,

объясняя, что, поскольку мою книгу отказались печатать в Польше, я имел священное право подыскать издателя за границей; еще я добавил, что судить о достоинствах книги может читатель, другой писатель или критик, но никак не цензор. Я попросил опубликовать письмо, предложив, чтобы «Трибуна люду» снабдила его своим комментарием; содержание комментария было мне безразлично. Письмо мое, конечно, не опубликовали; зато меня стали посещать разные журналисты; самыми глупыми оказались репортеры из журнала «Экспресс». На вопрос, какую роль в литературе я отвожу себе, я ответил: роль свидетеля. Меня попросили уточнить, на каком процессе; я сказал, что даю показания на процессе против человека. Меня спросили, намерен ли я возвратиться в Польшу; я ответил: конечно, — не такой уж я болван, чтобы добровольно лишить себя удовольствия смотреть на преступления, отчаяние и тому подобные вещи — единственное, о чем я умею писать. В ближайшем номере «Экспресса» меня отделали с профессиональной сноровкой: автор заметки, оговорившись, что высоко ценит мой лирический пессимизм, объявил, что все мною сказанное — бредни: до войны поляки эмигрировали на Запад в поисках зара-

ботка, а сейчас ничего похожего не наблюдается. В связи с этим мне припомнились дверцы для двустворчатого шкафа застекленные; я подумал, что писать больше не имеет смысла, о чем и сообщил журналистам. Меня спросили, как нам лучше понять друг друга; я сказал, что советские танки на улицах Парижа могли бы очень поспособствовать взаимопониманию, да и времени для дискуссий было бы предостаточно; в лагерях, правда, трудятся с утра до вечера, но поболтать можно и ночью.

Дело было уже после доклада Хрущева на Двадцатом съезде; из французской и итальянской компартий тогда вышли кое-какие интеллектуалы; однако в конечном счете победа осталась за Хрущевым: пообещав выкорчевать сталинизм, он убедил людей в возможности перемен к лучшему — главная идея при этом, естественно, сохранялась; признавалось лишь, что с ее воплощением вышла накладка. Благодаря Хрущеву с его докладом доверие к восточному блоку было восстановлено, чем в итоге компенсировалась потеря нескольких десятков разочаровавшихся западных коммунистов. Последующие события в Познани и Будапеште не только не подорвали вновь обретенного доверия, а, напротив, несколь-

ко его упрочили: не так уж, видать, там страшно, если у людей находится мужество отстаивать свои права; а ведь беглецы из-за железного занавеса уверяли, что это невозможно. Даже мольбы несчастного премьера Венгрии, просившего не вмешиваться в решение его судьбы, так как это дело исключительно венгерского народа, не вызвали возмущения и не поколебали веры в Советский Союз. Обо всем этом я читал и думал уже по другую сторону железного занавеса; первые впечатления от Запада подтолкнули меня именно к таким размышлениям. На Запад я попал в очень сложный период; обожаемая поляками Франция, символ свободы и демократии, переживала трудное время; поминутно сменялись премьер-министры; Елисейские поля были запружены отрядами солдат и полиции, что мне напомнило Уяздовские Аллеи тысяча девятьсот сорок третьего года; на улице у меня на каждом шагу проверяли документы; потом вдруг забастовали полицейские. Помню, сидя однажды на вокзале Сен-Лазар в ожидании первого утреннего поезда, я видел, как двое молодых полицейских издевались над старым алжирцем; им было лет по двадцать; алжирцу, вероятно, не меньше семидесяти. Полицейские били его по лицу и при

этом смеялись и острили; старик не только не защищался, а, скорее, подставлял лицо. О том, что избиваемые не уклоняются от ударов, я слыхал от тех, кто сидел в наших тюрьмах. «Не нужно злить палача, — говорили они. — Лучше даже ему помогать». На вопрос, легче ли от этого становилось, они отвечали по-разному, но в общем сходились на том, что вреда не приносило. Каждый знал: помочь не может ничто; нужно лишь старательно избегать всего, что чревато ухудшением участи истязуемого, — в этом состоит искусство жизни. Но откуда это мог знать Христос, рекомендовавший в Нагорной проповеди подставлять мучителям щеку; и предполагал ли он, что его слова, призывающие к милосердию, в тюрьмах станут своего рода неписаным законом; и предчувствовал ли, произнося их, как сложится его собственная судьба; или он уже настолько хорошо познал людей, что сумел дать им совет на все грядущие времена вплоть до конца света, — вот о чем я думал, слоняясь по улицам Парижа. Я уже точно знал, что больше никогда ничего не напишу: коммунисты искоренили во мне единственную человеческую черту — ненависть. Жизнь, меня окружавшая, была мне чужда; чужими были толпы на Елисейских полях; чужим

— старый алжирец, которого избивали на моих глазах; чужими были встречавшиеся в Париже поляки, которые объясняли мне, что там, за железным занавесом, мы загубили все имевшиеся у нас возможности. Ни одна из прочитанных тогда книг не произвела на меня впечатления; увиденные в Париже фильмы воспринимались совсем по-иному, чем фильмы, которые я смотрел в Варшаве; на выставках художников-абстракционистов мне было чертовски скучно, а ведь в Варшаве мы замирали перед любой мазней; глядя на картины Бюффе, я вспоминал выставку, открывшуюся в сорок пятом году в Арсенале, когда на полотнах наших молодых художников вместо тракторов и каменщиков впервые появились натюрморты и женщины. А я, бродя по Парижу, не переставал думать о человеке, у которого имеются дверцы к двустворчатому шкафу и который ждет предложений. Когда я рассказывал об этом моим здешним знакомым, они помирали со смеху.

У меня было немного денег; я решил поехать в Штаты и обратился в американское посольство с просьбой выдать мне туристскую визу. Однако, поскольку польский паспорт ограничивал свободу моих передвижений «всеми странами

Европы», я отправился в польское посольство в Париже и попросил вписать еще и «все страны мира». Встретили меня любезно и нужные слова вписали; воспользовавшись случаем, я попросил продлить паспорт.

— Мы хотим вам помочь, — сказал занимавшийся мной чиновник. — Американцы потребуют, чтобы паспорт был действителен по меньшей мере год. Как только американская виза будет готова, придете к нам, и мы продлим ваш паспорт.

— А почему вы не можете сделать это сейчас? — поинтересовался я. — Мой паспорт действителен только до пятнадцатого октября пятьдесят восьмого года. Полагаю, вы не собираетесь в октябре менять печати?

— У американцев свои консульские правила, у нас свои.

— Я могу быть уверен, что все будет в порядке?

— Ну конечно! Вы получаете визу, мы вам продлеваем паспорт, и езжайте на здоровье в Штаты.

— А где гарантия, что вы мне продлите паспорт?

— Даю вам честное слово, — сказал чиновник; мы расстались, обменявшись любезностями. Чиновник пригласил меня в воскресенье к себе;

тем временем я посетил американское посольство, где заполнил анкету, в которой требовалось написать, что я не стану насильственно свергать правительство United States of America; сообщить, что я не являюсь ни душевнобольным, ни гомосексуалистом; указать количество самоубийств среди моей родни и т. д.

В воскресенье, слопав две или три баночки сардин и надев темный костюм, я отправился на ужин к сотруднику консульства. У него был еще один гость, который не счел нужным представиться, но по роже которого не составляло труда догадаться, что он не принадлежит к окружению кардинала Вышинского. Мы крепко выпили; у меня спросили, как я решился опубликовать книгу во враждебном издательстве. Я сказал, что любое издательство враждебно писателю, так как вычеркивает неприличные слова и, чтобы выцарапать аванс или гонорар, приходится жаловаться на свои болезни и беды. И предложил обратиться в польские издательства — там им сообщат мотивы, я же ничего более определенного сказать не могу: меня отказались печатать, и точка.

Жуткая пьянка продолжалась; чиновник держался хорошо, но убек расклеился — нам при-

шлось запихивать его в машину. На прощанье он меня расцеловал, и мы уговорились как-нибудь вместе поехать в Польшу и побродить по лесным дорогам в местах, где мой новый друг партизанил; при этом он почему-то величал меня «товарищем генералом», хотя я упорно втолковывал ему, что являюсь всего лишь дезертиром запаса. То же самое, впрочем, я говорил на всех комиссиях, когда меня спрашивали, годен ли я для прохождения военной службы.

— Не годен.

— Почему?

— Потому что я нервный.

— Это не причина.

— Но я, когда волнуюсь, начинаю заикаться.

— Это тоже не причина.

— А если нужно бросить гранату?

— Гранаты у нас хорошие.

— Да, но ведь предварительно нужно сосчитать до трех.

Заканчивалось это всегда скандалом.

Убек с криком «товарищ генерал, я не таких, как они…» растворился в парижской мгле; мы же с чиновником решили, что нам необходимо срочно уладить личные проблемы в районе площади Пигаль. До тех пор мне не доводилось бывать в

настоящем борделе; к нам вышла красивая седовласая пожилая дама; я обалдел и поцеловал ей руку; мой спутник держался гораздо увереннее и непринужденнее. Потом мы расстались закадычными друзьями.

Встречался я еще с одним приятелем из Польши; он позвонил мне и попросил к нему приехать. Я приехал; он молча взял меня под руку и провел по квартире; молча открыл шкаф, в котором висели два паршивых костюма и несколько скверных платьев его супруги, купленных, вероятно, на барахолке возле Сен-Поль, и напоследок показал радиоприемник, телевизор и холодильник.

— Ты помнишь, как я жил в Польше? — спросил он.

— Помню, — сказал я. — Не беспокойся. Я больше никогда к тебе не приду и не позвоню. Ты ведь это хотел услышать, да?

— Да, — сказал он. — Можешь думать обо мне что угодно.

— Я еще больше для тебя сделаю, — сказал я. — Даже думать не буду.

— Это было бы лучше всего.

Потом я поехал в Ниццу и знакомство с Лазурным берегом начал по классической схеме: подхватил триппер. К несчастью, мне никак не

удавалось объясниться с портье в гостинице; наконец, когда я указал на нижнюю часть живота, он понимающе кивнул и сказал:

— La femme[56]?

Я испуганно замахал руками; в глазах у портье мелькнул проблеск понимания.

— Attendez[57], — сказал он и стал кому-то звонить и что-то объяснять; затем вручил мне ключ и велел идти в номер. Успокоившись, я пошел; минут через пятнадцать в комнату влетел атлетического сложения негр и, крикнув: «Привет, малыш!» — принялся стремительно раздеваться. Я попытался разъяснить, в чем проблема, но не успел; пришлось заплатить ему тридцать франков за визит и отправиться искать спасения самостоятельно.

За домами я увидел купола церкви, и тут меня осенило: ведь можно зайти к попу и попросить у него адрес какого-нибудь врача. Священник — русский — выслушал мой рассказ в неодобрительном молчании, сокрушенно покачивая головой, однако согласился пойти со мной к врачу и изложить причину моих страданий. Мы шли

---

[56] Примечания: 56
Женщина (*франц.*).

[57] Примечания: 57
Подождите (*франц.*).

по улицам Ниццы, и поп читал мне мораль: ну что же вы, молодой человек, надо себя беречь, и т. д.; каждую тираду он заканчивал словами:

— Как вам не стыдно, молодой человек!

Я шел понурившись; поп, поглаживая бороду, читал нравоучения, и так мы шагали по залитым солнцем улицам. Вдруг священник схватил меня за плечо и указал на дверь какого-то ресторана.

— Здесь я однажды познакомился с девушкой, — прошептал он. — Красавица была. А ж… — как печка.

После посещения врача мы пошли в русский ресторан. Более странного бизнесмена, чем владелец этого ресторана, мне встречать не приходилось. Когда я поинтересовался, хорошие ли у них бифштексы, хозяин язвительно рассмеялся.

— Говно, а не бифштексы, — сказал он.

— А блины?

— Тоже никудышные.

— А рыба?

— В рот нельзя взять.

— Может, тогда бифштекс по-татарски?

— Фарш несъедобный.

Я совсем сник, но все-таки попросил бифштекс и бутылку минеральной воды. Он принес мясо, налил воду в стакан и опять сардонически рас-

смеялся.

— Вода поддельная, — сказал он. И поспешил объяснить: — Это все из-за евреев.

В том же ресторане я как-то познакомился с очень красивой девушкой. Я пил виски у стойки бара и вдруг почувствовал на себе взгляд: на меня томно смотрела юная особа; не сомневаясь в своих силах, я заказал еще порцию виски и предложил ей ко мне присоединиться, на что она с энтузиазмом согласилась. По-английски девица не говорила, но из ее очаровательного щебетанья можно было заключить, что у меня то ли красивые глаза, то ли красивые руки и вообще я очень симпатичный.

— Вы американец? — спустя некоторое время спросила она.

— Нет.

— Немец?

— Нет.

— Англичанин?

— Нет.

— А кто же?

— Поляк.

На лице ее появилось — если воспользоваться лексикой романа «Леди Гамильтон, или Прекраснейшие глаза Лондона» — выражение ужаса и

презрения; нервно схватив лежавшую между нами на стойке сумочку, она опрометью выбежала из ресторана. Хозяин посмотрел на меня и мрачно констатировал:

— Это все из-за евреев.

Потом я перебрался в Германию, где мы с моим другом Роевским исправно посещали ночные заведения. Большинство немецких заведений такого рода отвечает некому стандарту: хозяин — поляк иудейского вероисповедания, шлюхи — дочери народа мыслителей и поэтов, клиенты — американская солдатня. Мне часто доводилось слышать, что полякам еврейского происхождения не надо бы жить и зарабатывать деньги в Германии; пожалуй, в этом есть свой резон. Но, с другой стороны, я не уверен, можно ли требовать от людей, потерявших по шесть лет жизни в Освенциме или Дахау, чтобы они ехали в Израиль и работали там на строительстве дорог: им и двух часов на такой работе не выдержать. И тем не менее пребывание поляков еврейского происхождения в Германии добром не кончится; боюсь, однажды немцы потеряют терпение, и тогда на свет божий снова появится свастика.

Один приятель рассказал мне, каким способом в Германии делают деньги. Он открыл магазин

по продаже радиоприемников напротив немца, который уже десять лет занимался тем же самым, аккуратно платя налоги и поставляя клиентам товар наивысшего качества. Мой приятель стал продавать свои приемники на пятнадцать процентов дешевле; немец спустя некоторое время разорился, а приятель прилично заработал, но тут оптовики из-за протестов других торговцев отказались его снабжать, и он по уши залез в долги, но остался на свободе; за долги — если у тебя есть свое дело — в Германии в тюрьму не сажают: наивные немцы полагают, что от владельца собственного дела деньги можно выцарапать законным порядком через суд. Но не тут-то было: пока мой приятель крутил заработанные денежки, вместо него за прилавком сидел мрачный субъект, получавший двадцать марок в день за то, что торчал в пустом магазине, где мог предложить покупателям один пылесос и три дешевеньких транзистора. Разумеется, ни один из пострадавших немцев не позволит себе употребить слово «еврей» — как и я сознательно его не употребляю, — но все они охотно пользуются выражением «эти проклятые польские свиньи».

Мы с Янеком Роевским не стали задерживаться в Германии и отправились на Сицилию, где мне

пришлось несладко: Янек имел обыкновение на каждом шагу предлагать дамам руку и сердце. Едва приехав в Монделло, мы прочитали в газете, что накануне две семьи затеяли перестрелку, длившуюся часа три; несколько человек были убиты. Причина — кровная месть. Двадцать лет назад один сицилиец в поисках заработка уехал в Америку, пообещав невесте вызвать ее в Штаты и там с ней обвенчаться. Обещания своего он не сдержал, девушка осталась без мужа и с младенцем, а две семьи все эти двадцать лет пребывали в состоянии вражды; конец распри совпал с нашим приездом. Романтические склонности Роевского заставляли меня пребывать в постоянном напряжении; добавлю еще, что сицилийцы обижаются, когда их называют итальянцами, и не расстаются с оружием. Я видел парней, которые, точно в ковбойских фильмах, стреляли в подброшенный кверху камень, и камень в воздухе разлетался на мелкие кусочки.

Мы жили у рыбака; на стенке, около изображения Мадонны, перед которым всегда теплилась лампадка, висел портрет молодого человека в траурной рамке. Я думал, это кто-то из членов семьи, но, зайдя однажды в другой дом, увидел рядом с Мадонной этого же молодого мужчину.

Я решил, что семьи состоят в родстве и их объединяет общее горе; однако вскоре, по пути в Таормину, опять увидал знакомое лицо по соседству с Мадонной. Я спросил, кто это; незабвенным покойником оказался capitano Сальвадоре Джулиано, убитый десять лет назад собственным двоюродным братом, которого сицилийцы называли assistento. Assistento недолго радовался жизни — его падение было не менее стремительным, чем взлет: бедолагу отравили в тюрьме преданные «капитану» люди. В тюрьму его посадила полиция, по приказу которой он убил своего шефа; таким способом бывшего assistento хотели уберечь от мести.

Несколько лет спустя я опять попал на Сицилию и подружился со многими сицилийцами, депортированными из Штатов. Про одного из них мне рассказали, что он долгие годы был профессиональным наемным убийцей. Мне удалось познакомиться с этим человеком, и я поинтересовался размером его гонораров. Он задумался, а потом сказал: «Я никогда не получал больше трех кусков за голову». И стал описывать свои подвиги, но внезапно, посмотрев на часы, прервал рассказ и заявил, что должен уходить. Я встал, чтобы пожать ему руку; при этом рубашка у меня

на груди распахнулась, и мой собеседник увидел образок, подаренный мне чикагскими друзьями: на нем была изображена Мадонна; надпись под изображением гласила: «Our Lady of Mercy, pray for me»[58]. Мой собеседник поцеловал образок и ушел.

Наше пребывание на Сицилии закончилось; мы решили поехать в Рим, где я намеревался — помня о данном мне обещании — продлить в польском посольстве паспорт. Остановились в гостинице; я пошел в посольство.

— Мы должны запросить Варшаву, — сказали мне.

— Да ведь в Париже мне дали честное слово, что, когда понадобится, вы продлите паспорт.

— Подождите два дня.

Через два дня я опять явился в посольство; мне велели ждать.

— Я не могу ждать, — сказал я. — Моя итальянская виза истекает через два дня. В Италии мне больше задерживаться нельзя. А у меня есть только немецкая виза, и никакой другой уже не получить, потому что паспорт через несколько дней кончается.

---

[58] Примечания: 58
Милосердная Богородица, молись за меня (*англ.*).

— Поезжайте в Берлин и обратитесь в Польскую военную миссию. К тому времени ответ придет.

Я поехал в Берлин; человек, который меня принял, сказал, чтобы я немедленно возвращался в Варшаву.

— Почему? — спросил я. — На Запад я поехал на свои деньги, никаких официальных поручений не выполняю, стипендии не получал.

— Возвращайтесь в Варшаву.

— Вы всю жизнь учили меня, что мы, граждане социалистической страны, самые свободные люди на свете, — сказал я. — Почему американцу можно поехать в Европу и сидеть там сколько вздумается, а мне нельзя? Я от вас ничего не требую — кроме таких же прав, какие есть у американца или англичанина.

— Это следует понимать как отказ вернуться?

— Нет, — сказал я. — Но позвольте задать вам один вопрос. Если польский дипломат и член партии дает честное слово, ему можно верить?

— Да.

— Польский консул в Париже дал честное слово, что мой паспорт будет продлен. Этот консул — член партии.

— Вы возвращаетесь или нет?

— Вернусь, но только когда сам захочу.

— Даю вам два дня на размышления.

Через два дня мы встретились — на этот раз не в Польской военной миссии, а в кафе «Кемпински». Я заранее попросил Янека Роевского, который тогда еще не думал оставаться на Западе, пойти со мной и присутствовать при разговоре. Я сказал ему: «Ты знаешь, что обо мне будут писать, если я останусь. Расскажешь тем нескольким людям, которых мы оба любим, как все было на самом деле». Роевский согласился.

Мы пришли в кафе «Кемпински»; дипломат уже меня ждал. Я представил ему Янека.

— Свидетеля привели? — спросил он.

— Да, — ответил я. — Что решили в Варшаве?

— Надо возвращаться. Посидите две недельки в Варшаве и — обратно на Запад.

— А зачем нужно там сидеть две недели?

— Ходят слухи, что вы намерены остаться на Западе.

— Моей вины тут нет, — сказал я. — Не я распускаю слухи. Это вы написали, что я шпион. Это Богдан Чешко писал, что ему неохота об меня руки марать. Это Сокорский написал, что я предал польский народ.

— Вернетесь в Варшаву, покрутитесь немного в городе и снова уедете.

— А откуда мне знать, что так будет на самом деле? — спросил я.

— Даю вам честное слово.

— Это я уже слышал в Париже.

Туг Роевский, до сих пор в разговоре не участвовавший, взвился, побелев от ярости.

— Не верь ни единому слову, — сказал он. — Я был в России — я их знаю. Тебя сгноят. Не верь ни клятвам, ни обещаниям. Пусть продлят паспорт здесь — без этого не возвращайся.

Я встал.

— Не буду говорить вам «до свидания», — сказал я. — Мы больше никогда не увидимся.

Хотя, возможно, я ошибся и когда-нибудь мы увидимся. Беседовавший со мной человек был одним из лучших в Европе специалистов по похищению беглецов и переброске их на Восток; несколько месяцев назад он сам попросил политического убежища — «по мотивам нравственного характера». Политическое убежище он получил; и никто никогда не осудит его за тех несчастных, которых он послал на смерть; никто никогда не напомнит ему о людях, которые по-многу лет провели за решеткой. И голодать он не будет, так как сможет сообщить немало полезного; еще и подзаработает на интервью для печати,

после чего, вероятно, получит от какого-нибудь фонда какую-нибудь стипендию, чтобы съездить в Америку и собственными глазами убедиться, что Америка — не ад и не тюрьма, а прекрасная и могущественная страна; и, быть может, напишет книгу, в которой заявит, что ошибался — как ошибались полковник Святло и полковник Монат. И будет жить припеваючи, пока его имя не исчезнет с газетных полос; потом, когда его забудут новые покровители, о нем вспомнят бывшие коллеги; и так закончится карьера господина Тыкочинского.

В Германии — уже после того, как я попросил политического убежища и прошел всевозможные проверки, — мне пришлось нелегко. Не могу ничего сказать об этой стране; в свое время мне предлагали написать сценарий: два раза для кино и один раз для телевидения, — я отказывался. И о немцах ничего не могу сказать; в войну я их не боялся и после войны никогда не вспоминал, но мне стало по-настоящему страшно, когда я пробыл в Германии некоторое время и увидел, как они живут: спокойно, уютно и тихо. От одного немецкого таксиста я услыхал: «Американцы нас предали. В сорок пятом у нас еще оставалось много боеспособных дивизий; если б мы вместе

пошли на Россию, всего этого бы сейчас не было». Я уехал из Германии, потому что она слишком напоминала мне Польшу; тут тоже никто ничего не знал. Среди людей, с которыми мне доводилось беседовать, попадались упитанные господа лет пятидесяти, разъезжавшие на роскошных «мерседесах»; во время войны они были мальчишками и, конечно, понятия не имели о том, что творили молодцы из СС. Немцам приказывали убивать, и они убивали; приказали жить спокойно, и они живут спокойно. Помню, один немецкий писатель сказал мне: «Бегите отсюда. Вы никогда ничего не напишете ни о Германии, ни о немцах; как и я ничего не напишу. Германия — тема для слесаря, а не для пишущего человека».

Некоторое время я жил в Мюнхене, где познакомился с Яном Новаком — директором польской службы радиостанции «Свободная Европа»; Новак показал мне циркуляр, предназначенный для внутрипартийного пользования. Вот что сказал обо мне Леон Кручковский: «Как мы видим, товарищи, недолог путь от первого шага в облаках <…> до последнего шага в болото империалисти-

ческой разведки»[59]. Прочитав этот документ, я поехал в Берлин, отправился в Польскую военную миссию и попросил разрешения вернуться на родину. Разговаривавший со мной человек велел написать заявление, предупредив, что мне придется отвечать перед судом. Я написал и ушел.

Я сказал себе: Польша — это не Путрамент с Кручковским и им подобные. Польша — это все те люди, которые меня читали и которые в меня верили. Я вернусь и предстану перед судом как шпион; пускай доказывают, что я передал на Запад секретные материалы: шпион с пустыми руками — не шпион. Я сказал себе: вы имели смелость меня оплевать; вы имели смелость назвать меня агентом; вы лишили меня возможности жить в стране, где пишется лучше всего на свете; мои близкие стыдятся меня; что ж, берите меня и наказывайте. Я — псих и ни в чем не признаюсь, какие бы жестокие меры вы ни применяли; вы имели смелость меня обвинить, имейте же смелость меня засудить. Естественно, я понимал, что никто не верит в мое сотрудничество с

[59] Примечания: 59

Цитата взята из протокола XII пленума ЦК (15–18. X. 58 г.); документ, датированный ноябрем 1958 года, снабжен грифом: «Исключительно для членов партии». Приведенный отрывок находится на странице 167 (*прим. автора*).

враждебными Польше разведками; но если среди моих читателей найдется хотя бы один, который поверил, пусть прочтет эту книгу — она написана для него.

Но мне не дали въездной визы; я поехал в Израиль и решил ждать ответа там, поскольку вопрос о моем возвращении в очередной раз должен был рассматриваться в Варшаве. Я обивал пороги польского консульства на улице Алленби, где мне без конца повторяли, что ответ еще не пришел. В Израиле я тогда встречал много поляков еврейского происхождения, которые хотели вернуться на родину, но их туда не пускали. Коммунисты, признающие за собой право на ошибку, отказывали в таком праве людям, приехавшим на землю обетованную лишь затем, чтобы убедиться, что у них нет ничего общего с еврейством, с еврейскими обычаями и с государством Израиль. Эти люди уехали из Польши, когда по стране прокатилась волна антисемитизма; только в Израиле можно было укрыться от поляков. Эти люди, в основном уже пожилые, не могли вынести ни израильского климата, ни тяжелой работы, ни неприязненного отношения евреев, родившихся в Израиле; и они решили вернуться, но commies их не впустили; так они начали ненавидеть Польшу и все поль-

ское; и так поляков еврейского происхождения унизили еще раз и еще раз навлекли позор на Польшу; круг ненависти — благодаря commies — замкнулся; теперь уже навсегда.

Я тогда работал на стройке; однажды в польском консульстве мне сказали, что со мной будет говорить советник Вида. Мне было любопытно на него поглядеть; многие утверждали, будто Вида — прототип Щенсного, героя книги Игоря Неверли «Под фригийской звездой». Щенсный был, как я помнил, решителен и смел: на свой страх и риск убил агента «дефы»[60]; сидящий передо мной и внимательно изучающий мой паспорт старик был типичным бюрократом, даже не очень прикидывавшимся, что говорит правду. Он спросил, почему я работаю на стройке; я ответил, что у меня нет ни гроша. Тогда он сказал, что работа на стройке — не дело для польского писателя. Я поинтересовался почему, но не получил ответа. Он сказал, что для меня единственный способ вернуться — снова поехать в Берлин и, созвав пресс-конференцию, объявить, что нигде не живется лучше, чем в Польше.

— Вы хотите сказать, мне следует взять обратно

[60] Примечания: 60

От «дефензивы» — так в Польше в период с 1918 по 1939 год называли политическую полицию.

все, что я говорил, верно? — спросил я. — Плюнуть в лицо людям, которые меня приютили и старались помочь. Если я вас правильно понял.

Вида посмотрел на меня.

— Задумайтесь на минуту, чьи спутники летают выше всех, — сказал он. — Вы поедете в Берлин и в том самом городе, где попросили убежища, заявите, что совершили ошибку.

— Об этом я намерен сообщить судьям в Польше.

— Если вам представится случай.

Он отдал мне паспорт, и я ушел. Я подумал: видно, не так уж хороши их дела, если они не осмеливаются посадить меня в Польше и бить до тех пор, пока я во всем не признаюсь. Но признаваться мне было не в чем; я еще долго ходил в консульство, и всякий раз мне говорили, что ответ не пришел. Хотел я поиграть в гусара, но даже это не получилось.

Одно время я сотрудничал с газетой «Маарив»: редакция пригласила меня на месяц в Израиль с условием, что я раз в неделю буду писать для них заметку, а они мне оплатят дорогу. Сразу же по приезде я вручил свой авиабилет Филипу Бену; Бен сунул его в карман и сказал:

— За деньгами приходите завтра в редакцию.

— Пусть лучше пока полежат у вас. Я зайду за ними накануне отъезда. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Филип Бен.

И я стал писать для газеты «Маарив», начав с рецензии на немецкий фильм «Девица Розмари»; выбрал я этот фильм потому, что — несмотря на полную художественную беспомощность — он верно воспроизводил царящую в Германии атмосферу; кроме того, в Израиле тогда не показывали немецких фильмов, и я подумал, что именно эта картина, пользовавшаяся колоссальным успехом в Германии и за границей, заинтересует израильтян. Потом я написал еще несколько заметок; прошел месяц; я явился в редакцию и сказал Бену:

— Я еще немного побуду в Израиле; возвращаться в Европу мне незачем. Позвольте попросить у вас деньги.

— Какие деньги?

— За дорогу — вы мне обещали от имени редакции.

— За какую еще дорогу?

— За авиабилеты. Как условились.

— Кто с кем уславливался?

— Мы с вами.

— А договор у вас есть?

— Нет. Мы договаривались на словах. А устный договор имеет такую же силу, как письменный.

Я хорошо запомнил ту сцену, потому что ни раньше, ни позже не видал человека, который бы веселился так, как Бен, услышавший, что устный договор имеет юридическую силу. Бен просто подыхал со смеху; я ему вторил; оба мы смеялись над моей глупостью. Выйдя на улицу, я еще долго хохотал; полагаю, Филип Бен тоже.

Потом я пошел к издателю, который опубликовал мою книгу на иврите, даже не спросив разрешения; когда я попросил у него денег, он сказал, чтобы я зашел через неделю. Через неделю секретарша сообщила мне, что у издателя заболела мать; через две недели он сам занедужил; через три его забрали в армию; через два месяца он разорился. Я пошел к адвокату; адвокат посоветовал плюнуть и забыть.

Настали тяжелые времена; со стройки я ушел, потому что рассчитывал вернуться на родину, а наш прототип положительного героя не рекомендовал мне — как человеку, пишущему по-польски, — там работать; по сей день не понимаю, что в этом зазорного. Работа, кстати, была отличная; я попал в компанию бывших боевиков

из группы Исаака Штерна[61], и в обеденный перерыв только и разговору было, что о покушениях, терроре и о смерти Штерна. Все эти люди после сорок восьмого года оказались никому не нужными; в аналогичной ситуации были тогда в Польше солдаты Армии Крайовой. Боевики дрались доблестнее всех; боевики сделали свое дело и были отправлены на покой.

На стройке я больше не работал; мой давний закадычный приятель Янек Роевский, получив работу по специальности — он был архитектором, — исключил меня из круга своих друзей; я просто подыхал с голоду. После десятидневного поста у меня начались галлюцинации; помню, как-то вечером я пошел на пляж и увидел пожилую даму, которая вошла в воду, оставив на берегу бинокль; я схватил этот бинокль и поплелся в гостиницу, где когда-то жил.

— Послушай, — сказал я портье. — Пару дней я еще протяну. Дай мне комнату. Хочу умереть в постели. Бинокль и башмаки твои.

У меня тогда были роскошные полуботинки, купленные в фирменном магазине «Будапешт» в Берлине, портье смерил меня профессиональным

[61] Примечания: 61

Командир боевой организации, сражавшейся за независимость Палестины.

взглядом и сказал:

— Хорошо. Хозяин в Америке. Ботинки и бинокль вперед. Получишь «единичку».

«Единичкой» именовалась комната рядом с сортиром; когда-то там была ванная с унитазом, но хозяин гостиницы посчитал, что из нее можно выгородить еще один номер, и унитаз отделили тонкой фанерной стенкой; вот в эту клетушку я и отправился умирать. Не сомневаясь в своей скорой кончине, я отдал портье башмаки и бинокль и прямо в брюках плюхнулся на кровать — раздеться у меня уже не было сил. Ни беспокойства, ни отчаяния я не испытывал — вообще ничего такого, о чем мы привыкли читать; просто я знал, что умру. Портье принес мне кувшин воды; время от времени, просыпаясь, я пил воду и тут же опять засыпал. Меня одолевали видения; но только безмятежные и приятные. Достоевский, описывая сны своих героев, утверждает, что у больных людей они очень яркие и мучительные. Но я тогда не был болен; я был здоров как бык и умирал с голодухи двадцати пяти лет от роду, имея сто восемьдесят три сантиметра росту и восемьдесят килограммов весу. Иногда в комнату заходил портье и, молча приблизясь к кровати, приподнимал мне веко, после чего уходил. Нико-

гда не забуду его руки, ловко открывавшей мой глаз; подобную сцену я потом видел в фильме «Асфальтовые джунгли»: гангстер, выстрелив, подходит к убитому и приподнимает ему веко; после чего продолжает беседовать с друзьями, и никто ни словом не вспоминает покойника.

Не помню уж, на который день портье разбудил меня и дал чашку чертовски крепкого кофе и булку с ветчиной; поев, я опять заснул, но через час он снова меня разбудил, влил в рот кофе и долго о чем-то толковал; я ничего не понял. Наконец он объяснил: меня разыскивают из американского консульства; я должен туда пойти и получить какие-то причитающиеся мне деньги. Портье принес горячий обед; сам я есть не мог, и ему пришлось меня кормить.

— Ладно, — сказал я. — За деньгами надо сходить. Давай ботинки.

— Какие ботинки?

— Мои.

— Ты же мне их отдал.

— Да, но я сказал, что окочурюсь. А не окочурился.

— Меня это не касается, — сказал портье. — Я уже много таких перевидал. Не думал, что ты оклемаешься. Ботинки я продал.

— Но не могу же я идти в американское посольство босиком.

— А откуда мне было это знать наперед? Ты сказал, что загнешься. Я оказал тебе услугу.

— Но ведь я живой.

— Твое дело. Когда ты пришел, я думал, дня через три тебе каюк. Хорошо еще, хозяин уехал в Штаты, не то подыхал бы на пляже.

Наконец он ушел и выпросил для меня башмаки у какого-то миссионера; ботинки священнослужителя мне жали, но все же мы кое-как доплелись до американского консульства; я получил чек и потащился покупать обувку; продавец был знакомым моего благодетеля. Примеряя в магазине обувь, я увидел какого-то малого, сидевшего напротив и передразнивавшего меня; у него были ввалившиеся щеки, дикий взор и двухнедельная щетина. Когда я надевал башмак на правую ногу, он делал то же самое; когда я вставал, чтобы проверить, удобно ли ходить, повторял мои движения.

— Миша, — обратился я к моему портье. — Скажи этому парню, чтоб отцепился. Ты ведь знаешь, я не умею говорить на иврите.

Портье с продавцом выкатили шары; и этот, напротив, тоже на меня уставился; и так мы все

четверо стояли и молчали. Но было нас только трое; это похоже на сцену из плохого рассказа или очень плохого фильма; но моя книга — не рассказ, а всего лишь попытка кое-что кое-кому объяснить.

Одно время я снимал жилье вместе с Дызеком Т., молодым ученым, большим любителем выпить. Казалось бы, в Святой Земле, где жили Иисус Христос, Варрава и Давид, ничем никого не удивишь, но Дызеку это удавалось. Помню, шли мы с ним по улице Бен-Иегуда; было, наверное, градусов сорок, и Дызек предложил распить бутылочку коньяка. Мы зашли в кабак; там было еще жарче, после каждой рюмки с нас градом катился пот. Когда мы опорожнили бутылку, Дызек сказал:

— Вообще-то мне совершенно не хотелось пить.

— Тогда зачем мы вылакали эту бутылку? — спросил я.

— Да так, по велению разума, — ответил Дызек.

Со мной в то время случилась пренеприятная история; зайдя однажды в бар на улице Яркон, я заказал рюмку коньяка. Ко мне подсела какая-то девица и попросила ее угостить. Я сказал, что

пустой, и предупредил бармена, что плачу только за себя. Потом взял еще одну рюмку, и еще одну; девица пила наравне со мной. Наконец я попросил счет, бармен посчитал за шесть рюмок.

— Ничего не выйдет, — сказал я. — Я предупредил, что плачу только за себя.

Бармен дал мне правильный счет; я потянулся за пепельницей, чтобы стряхнуть пепел, но разъяренная дочь Коринфа отодвинула пепельницу.

— Для таких, как ты, даже пепельницы жаль, — заявила она.

— Это ты сказала, — ответил я и погасил сигарету об ее щеку.

Меня арестовали; несколько лет спустя я прочитал, что мой любимый Хэмфри Богарт в аналогичной ситуации повел себя точно так же и на вопрос судьи: «Вы тогда были пьяны?» — ответил, глядя на него с величайшим изумлением: «А кто ж бывает трезв в четыре утра?» Когда я покидал тюрьму, из «Маарив» прислали фотографа, чтобы он меня снял; на фото я запечатлен между двумя полицейскими. Снимок принес мне большую популярность; через некоторое время, когда я женился на Соне, ушлые немецкие журналисты купили эту фотографию, и она обошла страницы всех бульварных газет, снабженная подписью: «И

ты думаешь, тебе удастся его исправить?» Вопрос был адресован моей жене.

В то время получить работу, да еще левую, было нелегко; из восточных стран понаехало множество новых иммигрантов: в основном люди в возрасте и каждый третий — врач. Проходя по тель-авивским улицам, я видел на каждом подъезде по нескольку табличек с фамилиями врачей. Черную работу трудно было найти и в Тель-Авиве, и в Хайфе; знакомые посоветовали поехать в Эйлат, добавив, что даже если на работу я не устроюсь, мне там понравится — Эйлат веселый город.

Прямо у трапа самолета определить, какой Эйлат замечательный город, было довольно трудно, но не успел я пройти и десятка шагов, меня остановил незнакомый молодой человек.

— Это ты Хласковер? — спросил он.

— Я.

— Я видел твое фото в газете, — сказал он. — Приходи вечером вон в тот ресторан.

Я пришел; молодой человек уже поджидал меня с двумя своими приятелями. Один из них, как я узнал, в войну сорок восьмого года был командиром танка; получив приказ идти в атаку, он подъехал к арабскому банку, несколькими

меткими выстрелами развоpотил сейф и уложил служащих, после чего экипаж танка, набив карманы деньгами, отправился выполнять задание. Другой был когда-то известным контрабандистом; повздорив в Иерусалиме на улице с двумя арабами, он их пристрелил, а на суде заявил, что они его спровоцировали. Оба в свое время дезертировали из советской армии и, совершив на территории Германии множество грабежей и убийств, перебрались в Израиль. Потом к нашему столику подсел еще один обитатель веселого города Эйлата, в прошлом офицер НКВД; он убил целую украинскую семью, выдавшую его родных немцам, и через Польшу и Чехословакию удрал в Германию. Но самым страшным оказался четвертый, присоединившийся к нам позже; этот о себе ничего не рассказывал — его историю я прочел в газете. Родился он в Польше и оттуда эмигрировал в Израиль, где случайно узнал, что немец, собственноручно расстрелявший его семью, служит в Иностранном легионе; убежав из Израиля без паспорта во Францию, он вступил в Иностранный легион и во время войны в Индокитае застрелил убийцу своих родных; затем, дезертировав из Легиона, на пароходе без билета вернулся в Израиль. Там его ждало обвинение

по нескольким статьям: за нелегальное пересечение израильской границы и службу в армии чужого государства он подлежал суду в Израиле, Франция же требовала его депортации, чтобы судить за дезертирство из Легиона и расправу с эсэсовцем. Мы выпили по паре рюмочек, и тут к нам подсел пятый — сын богатых американских родителей; в один прекрасный день он вздумал ограбить банк; его схватили и дали пятнадцать лет; он убежал из тюрьмы и через Мексику и Латинскую Америку добрался до Израиля.

Все мои новые знакомцы попали в Эйлат не по своей воле: их туда — кого на три, кого на пять лет — сослала полиция. Выглядел каждый лет на десять старше своего возраста; в Эйлате люди быстро теряют зубы и волосы. Некоторых ужасно разносит; другие высыхают, и лица их покрываются морщинами. За едой полагается принимать по две таблетки соли; в тамошнем климате вся соль из организма выходит с потом. Пиво местные жители поглощают в огромных количествах; ночью пьют коньяк. Кино в Эйлате тогда еще не было; зато были клубы, где играли в карты. Самым ужасным было отсутствие женщин; женщины, родившиеся в Европе, не хотели ехать в Эйлат, зная, что через два года превра-

тятся в старух; сабры[62] же не испытывали ни малейшей охоты связываться с уголовниками.

Когда я там был, температура достигала пятидесяти градусов, но мне говорили, что бывает и хуже. Пили, тем не менее, в Эйлате по-черному; работавшие на медном руднике горняки, получив вдень зарплаты чек, шли в кабак и бросали чек хозяину со словами: «Скажешь, когда»; еда и ночлег у них были дармовые. Некоторые копили деньги, чтобы, отбыв положенный срок, начать новую жизнь; кончалось это, как правило, одинаково: смертельно истосковавшись без женщин, кино и развлечений, они отправлялись в какой-нибудь клуб играть в карты; потом, просадив все деньги, снова начинали экономить, благо в Эйлате не надо было платить налоги.

Для меня в Эйлате работы не нашлось; возвращаясь в Тель-Авив на автобусе, я по дороге остановился на два дня у знакомого в Беэр-Шеве. И угодил в самый разгар бурных событий: так называемые «черные» евреи подняли мятеж против «белых». «Черные» — сефарды, сохранившие арабские обычаи, — не владели никакими ремеслами и не знали языка. Платили им, естественно,

---

[62] Примечания: 62

Сабра — коренной житель Израиля (от названия кактуса, растущего в Палестине).

меньше, чем европейцам или аборигенам; положение и вправду незавидное. Все два дня, которые я провел в Беэр-Шеве, разъяренные «черные» гонялись за мной с ножами, крича: wus-wus. Зная на иврите лишь одно это слово, они называли так всех «белых» евреев. Первым делом мятежники разгромили почту и перерезали телефонные провода; через несколько дней полиция овладела ситуацией, и в городе восстановился порядок; подобные инциденты тогда произошли и в Хайфе. Пробегав сорок восемь часов по улицам, преследуемый толпой вооруженных ножами сефардов, я отказался от затеи подыскать работу в Беэр-Шеве и вернулся в Тель-Авив.

В Тель-Авиве я снова отправился в польское консульство; визы для меня не было. Евреи из России, которым я рассказывал свою историю, умоляли меня не возвращаться, твердя: «Коммунисты не прощают». Но я тогда был глух и слеп: мне хотелось вернуться в Польшу и предстать перед судом по обвинению в шпионаже; только таким я видел свое будущее. Они там посмели назвать меня шпионом, но побоялись взять на себя ответственность за собственные слова; думая о них сегодня, я склоняюсь к мысли, что трусость — их единственная человеческая черта.

Работу мне нашел мой варшавский приятель Ежи Бухбиндер. Он устроил меня на фабрику, производящую стеклянную вату; работка была — одно удовольствие. Снаружи температура достигала пятидесяти градусов; внутри, в цехе, стояла плавильная печь. А главное — порхавшие в воздухе стеклянные волоконца проникали сквозь наши комбинезоны и рубашки и забивались глубоко под кожу; припудренные тальком и покрытые волдырями, мы походили на статистов, изображающих прокаженных в фильме «Бен Гур». Утром после ночной смены все отправлялись на пляж, где пытались спалить свою шкуру; это чуть-чуть помогало: кожа переставала гореть, но начинала чесаться; или наоборот; я утверждал, что у меня кожа горит, мой мастер — что зудит. На фабрике я числился под чужой фамилией — туристы не имели права работать. Беседуя по ночам с мастером, уроженцем Венгрии, я делился с ним своими семейными тайнами, жаловался на сложные отношения с женой и дочерью; постепенно я так вжился в эту роль, что стал придумывать все новые и новые перипетии супружеской жизни — разумеется, как Бухбиндер-Пресс. Слушатели наперебой давали мне советы, как себя вести с женой и дочкой,

а я постоянно придумывал новые коллизии, и так мы коротали ночи. Перейдя в конце концов с этой фабрики на другую работу, я никак не мог привыкнуть к мысли, что у меня уже нет ни жены, ни дочери, и продолжал рассказывать о семейных неурядицах. Надеюсь, что Ежи Пресс — если когда-нибудь прочтет эту книжку — меня простит, но простит ли меня его жена Ханя, которая знать не знала, что долгое время имела двоих мужей, — на этот вопрос ответить я не берусь.

Я никогда не смогу написать об Израиле репортаж или вообще что-нибудь толковое по очень простой причине: израильтяне спасли мне жизнь. Когда я помирал с голоду, меня взяли на фабрику, хотя все знали, что я пользуюсь чужими документами; в другой раз меня направили на стройку как душевнобольного — в моем случае была показана трудотерапия, и я трудился бок о бок с шизофрениками и алкоголиками. Мне помогали люди, только что прибывшие из Польши, хотя с ними самими судьба обошлась сурово и они имели полное право ненавидеть всех моих соплеменников. Многие из них, приехав, только убедились, что они поляки, а не евреи; но commies не принимали их обратно. В книге Херлинга-Грудзинского описано выступление

моряка, исполняющего песню «Раскинулось море широко»; дело происходит в советском лагере; и тем не менее зеков, подпевающих матросу Всеволоду, охватывает чувство ностальгии и тоски по стране, которая от них отвернулась, — стране, где царит голод, террор и отчаяние. Подобные сцены я наблюдал в Израиле: человек, имевший обыкновение представляться: «Капитан Абакаров, бывший сотрудник Народного комиссариата внутренних дел», лирическим тенором исполнял арию Ленского; другой житель Эйлата, сидя ночью на веранде ресторана в одной майке, пел, что «много-много в жизни пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде». Мои польские знакомые обычно распевали что-нибудь из репертуара Мечислава Фогга; только приехавшие из Германии не пели ничего и никогда. На мой вопрос: «Зачем вы сюда приехали?» разные люди всегда отвечали одно и то же: потому что стали выпускать.

Ассимилироваться им было непросто: сабры недолюбливают пришельцев из Восточной Европы — им стыдно, что евреи во время войны покорно позволяли себя уничтожать. Однажды, по случаю годовщины восстания в варшавском гетто, перед польским консульством установили

витрину с фотографиями; я случайно проходил мимо с одной красивой саброй.

— Посмотри, Эстер, — сказал я. — Вот так примерно это выглядело.

Она глянула мельком на фотографии расстрелянных детей и вереницы людей перед газовой камерой и сказала:

— Мы опаздываем. Я хочу посмотреть Монти Клифта.

В кино напротив показывали фильм «Внезапно прошлым летом» с Монтгомери Клифтом и Элишевой Тейлор. Актриса, как известно, перед вступлением в очередной брак приняла иудейство и из Элизабет превратилась в Элишеву; израильская пресса захлебывалась от восторга; помню, я проходил тогда по городскому базару, где продавец дамского белья, демонстрируя покупателям лифчики, сшитые по размерам бюстов популярных кинозвезд, примерно так расхваливал свой товар:

— Лоллобриджида — прошу вам. Пампанини — прошу вам. Мэнсфилд — прошу вам. — После чего, выдержав эффектную паузу и вытащив из кучи бюстгальтер необъятных размеров, восклицал: — Элишева Тейлор, шесть лира, прошу вам! Налетай!

Итак, Эстер пошла смотреть на Элишеву, а я постоял немного перед витриной с фотографиями; рядом останавливались люди, приехавшие из Европы; молодые и сильные уроженцы Израиля, скромно назвавшие себя сабрами, равнодушно проходили мимо. У них, воспитанных в презрении к смерти и готовых в любую минуту отдать жизнь за родину, не могли вызвать сочувствия соплеменники, покорно идущие на гибель. Приезжие из Европы не пользовались их симпатией; привыкшие к тяжелой физической работе, они со снисходительной жалостью смотрели на иммигрантов, старавшихся пристроиться в магазины, конторы или больницы. Расположение сабры можно завоевать только одним способом: любовью к работе. Человеку, боящемуся солнца и физического труда, нечего и рассчитывать, что когда-нибудь один из рожденных в Израиле назовет его настоящим евреем.

Но и с работой не все было просто. Помню, устроились мы с приятелем — молодым способным журналистом из Катовиц — отливать бетонные пороги. Дело, казалось бы, нехитрое: берешь форму, весящую около семидесяти кило, и заливаешь в нее сто десять кило бетона; затем форму откладываешь в сторону и ждешь, пока

бетон застынет. Работать мы начали в пять утра, но уже в десять вынуждены были прерваться: мой приятель не выдержал.

Оставшись без напарника, я принялся в одиночку грузить эти чертовы пороги на машину; но другие рабочие — арабы — как огня боялись конкуренции; хотя охотников на такую кошмарную работу не находилось даже среди сабров, арабы, которых она кормила, видели угрозу для себя в каждом, кто за нее брался. Ну и один из них чуть не размозжил мне руку бетонным блоком; пришлось в полдень все бросить и тащиться в больницу. В больнице врач поинтересовался, как это произошло; я сказал, что во время работы. Он спросил, где я работаю; я ответил, что, к сожалению, не могу сказать, так как не имею разрешения и у моего хозяина могут быть неприятности. Доктор посмотрел на меня и, когда я уже собрался уходить, велел не валять дурака и молча занялся моей рукой.

— Теперь вы оказались нарушителем закона, — сказал я.

Разглядывая рентгеновский снимок, врач сказал:

— Вы, конечно, не еврей, иначе б не говорили такие глупости. Евреи всегда нарушают законы,

но не по своему желанию. Откуда вы?

— Из Польши.

— Забавно, — сказал он. — Вчера у меня был пациент, который служил в вашей политической полиции и удрал сюда. А здесь его порезали ребята, на которых он у вас стучал и которые удрали раньше. Теперь, наверное, он опять куда-нибудь убежит, но там его уже будут поджидать другие, убежавшие от кого-то еще. И так без конца.

Он перевязал мне руку; через два месяца я снова к нему попал: на этот раз по собственной глупости — не надел защитные рукавицы во время шлифовки; работа, конечно, была левая. Врач опять сделал все, что нужно, и опять я отказался ему назвать место работы; такое со мной происходило постоянно; и всегда кто-нибудь мне помогал. Одно время я был помощником землемера; устроил меня к нему человек, всю семью которого в войну выдали вымогатели. Я бегал по полю с рейками, а шеф через все поле мне что-то кричал.

— Не слышу! — кричал я в ответ.

Он махал рукой; я мчался к нему добрых полкилометра.

— Х… вас в ж..! — кричал он. — Вы плохо натянули трос!

— Не х… вас надо говорить, а х… вам! — весело кричал я и под палящим солнцем бежал обратно. У этой работы была своя приятная особенность: ядовитые змеи, ползавшие под ногами. Для защиты от змей и других пресмыкающихся приходилось надевать высокие сапоги; со мной работал англичанин, который убивал змей голыми руками, приговаривая:

— The fucking snake…

— Что он говорит? — допытывался шеф.

— Ё…ная змея! — рупором складывая руки, орал я в ответ.

— Что, что?! — кричал мой шеф. Я в сотый раз, обливаясь потом, бегом пересекал поле; отказать шефу не мог: как человек любознательный, он непременно должен был знать, о чем мы с англичанином разговариваем. Так что я бежал к нему через все поле.

— Он говорит ё…ная змея! — кричал я, когда от шефа меня отделяло уже только сто метров.

— Скажите его, чтоб не морочил голову, а работал! — грозно выкрикивал шеф.

— Ему! — кричал я.

— Что ему?

— Не говорят «скажите его» — «скажите ему»! — вопил я. И так целый день; вечерами шеф обычно

пребывал в добром расположении духа. Мы вкалывали по четырнадцать часов в сутки; поднимали нас в три утра, а заканчивалась работа в сумерки. Однажды, когда мы трудились в окрестностях Тверии, я увидел шефа, бегущего к нам по полю и размахивающего газетой.

— Поймали ему! — вопил он. — Поймали ему!

— Кому? — спросил я.

— Эйхман! — сказал мой шеф. Все уселись и стали читать газету, где сообщалось о похищении Эйхмана; я, отойдя в сторонку, закурил. Шеф кинул на меня грозный взгляд.

— Вы тут мне не выё… — сказал он. — Вы шейгец. Я вам прошу продолжать работать.

У шефа мои единоверцы тоже перебили всю семью; он мог с полным основанием выгнать меня в шею, но не выгнал. Поэтому все, что я пишу об Израиле, не укладывается в придуманную мной категорию «правдивый вымысел» — слишком многим я этим людям обязан. От меня нельзя требовать объективности: я им обязан вообще тем, что живу; это важно только для меня, но не для других. Мне спасли жизнь люди, которых преследовали мои единоверцы; так что в данном случае я не могу быть объективным. Я тогда жил в гостинице «Виктория», где порядки были первозданно

просты: войдя в вестибюль, вы раздевались и отдавали одежду портье, который ее запирал, вы же в одних трусах отправлялись в общий зал; сдавать шмотки было, к сожалению, необходимо, так как некоторые постояльцы жили в основном за счет краж Конечно, и речи не могло быть, чтобы один профессиональный вор увел одежку у другого, но дело портила вступающая в жизнь молодежь, еще не знакомая с этикой преступного мира. Работал я землемером; потом перешел в некую кинокомпанию. Помещения у этой компании не было; присутственным местом служило кафе «Нога». Президентом фирмы являлся некий господин Зискинд, вице-президентом — господин Фишбайн; акционерами — все официанты и завсегдатаи кафе «Нога». Когда не было денег на кофе, в компаньоны приглашался очередной официант, соблазняемый будущими прибылями, и благодаря этому акционерное общество процветало; мои гонорары уходили на спиртное. Я был актер, сценарист, консультант президента Зискинда по художественной части и, само собой разумеется, пайщик.

Я тупо сидел в кафе и, пропивая свой гонорар, сочинял сценарий, поминутно меняя сюжет; вначале это был сценарий фильма об Эйхмане, потом

историю Эйхмана я превратил в драму сабры, вышедшей за богатого американца и тоскующей по родине; потом президент велел мне все переделать, чтобы было смешно и чтоб герои плавали, поскольку тогда девушек можно раздеть, а публика это любит; я переделал сценарий в драму из жизни эйлатских рыбаков; потом рассказ о рыбаках превратился в леденящую кровь историю о подонках, в войну продающих евреям под видом цианистого калия аспирин; через четыре дня из всего этого получился сюжет об отряде израильских солдат, застрявших посреди минного поля, а затем — история о хорошем немце, который приехал в Израиль, чтобы искупить вину своих родителей; в конце концов, после нескольких мелких поправок, получилась история о девушке, которая забеременела и, покинув кибуц, пошла на панель.

Порой, когда заходила речь о деньгах, — а мне об этом щекотливом предмете лишнего знать не полагалось, — президент с вице-президентом запирались в сортире и там подсчитывали будущие доходы; закончив обсуждение, они возвращались в зал. Несколько лет спустя я поехал в Лондон по приглашению одного из самых известных в мире режиссеров, который решил стать еще и продю-

сером; в какой-то момент, извинившись передо мной, он вместе со своим финансовым советником удалился в сортир, где они беседовали ровно полчаса; и в данном случае мне не следовало знать слишком много. Жаль, что хороший фильм всегда получается случайно, а не в результате работы ума и воображения. В Мадриде мне пришлось сидеть в одной комнате с режиссером, его секретаршей и коммерческим директором; еще там постоянно торчали два агента, представлявшие интересы своих клиентов — голливудских актеров. Если, предположим, мы обсуждали какую-то сцену с участием актера Икс, в разговор немедленно встревал агент Игрека и выражал протест: мол, сцена чересчур длинна и публика начнет интересоваться актером Икс больше, чем актером Игрек Режиссер приходил в бешенство, но он зависел от десятка дураков, пекущихся об интересах актеров, продюсера, банка и так далее. Не могу сказать, откуда берутся хорошие фильмы; и не знаю, есть ли человек, который способен это объяснить.

Сидя однажды в плавках в гостинице «Виктория» и ведя светскую беседу с соседями-головорезами, я увидел, что в вестибюль входит моя бывшая жена, с которой я во гневе порвал

два года назад. Я только-только кончил бриться и держал в руке бритву и дырявую салфетку — свои туалетные принадлежности. Чтобы поздороваться с любимой женщиной, я положил их на стол и шагнул к ней навстречу, но тут же, поняв, какую ужасную совершил оплошность, обернулся: бритва и рваная тряпка исчезли. Кто-то, воспользовавшись тем, что я на мгновение отдался страстям, слямзил и то и другое. У меня осталась только жена; посмотрев на нее и будучи по натуре романтиком, я произвел беглый анализ своих чувств; убедившись, что абсолютно ничего не имею против западногерманской валюты, я решил жениться на Соне вторично.

Так я уехал из Израиля и перестал думать о commies. Появились заботы поважнее: немецкая оккупация, закончившаяся для всех много лет назад, для меня началась снова.

1966

Повести. Рассказы

Вечерние беседы

Когда вечер уступает место ночи и на город спускается тьма, когда дома, деревья и скверы теряют свои очертания и звезды отправляются в плавание по реке, откуда-то с Праги выходит луна и все мы усаживаемся за стол. Стол весьма ветхий, шатается, осуждающе скрипит, и наш отец — лысый, тучный — начинает таким тоном, будто возвещает всем нечто чрезвычайно важное и никому в этом мире не известное:

— Делать надо что-то с этим столом. Скрипит, точно черт человека щиплет.

— Почему он говорит «щиплет», а не, допустим, «берет», то есть не так, как ругается любой нормальный человек, — неизвестно. Есть у отца свои, странные словечки.

— Та-ак, — вздыхает бабушка и откладывает свитер, который штопала. — Да, скрипит. Только без этих czertiej, пожалуйста.

Бабушка родилась на Украине, там прошла ее молодость, среди благоухающих садов, чудо-буйной пшеницы, что выше человеческого роста, и, кроме смутных воспоминаний, сотен голосистых czastuszek и рассказов о широкой земле россий-

ской, сохранила она грустную певучесть речи.

Теперь дед зловеще кашляет, шевелит усами:

— Да, — говорит он хриплым голосом. — Надо будет что-нибудь сделать…

На этом вопрос о столе решительно закрывается. Закрывается до завтрашнего вечера. Завтра стол опять заскрипит, опять выругается отец и опять закашляет дед Константин. Так уж повелось с незапамятных для меня времен, восходящих к пеленкам и шлепкам по попе.

— Костусь! — вступает в разговор бабушка. — Помнишь, когда мы жили на Огродовой? Там такой же был скрипучий стол…

Долго и упорно препираясь друг с другом, такой был тот стол или другой, светлый орех или дуб, на Огродовой или на Тамке, где жил тот, что так хорошо играл на мандолине… Всплывают фамилии неизвестных мне людей, воспоминания сталкиваются и переплетаются, десятилетия перемешиваются, как итальянские макароны. Владек называет такие вечера «вечерами призраков».

Лишь теперь, когда старички оживились и разговорились, вроде как раскрутились, наступает тот самый момент.

— Бабуль, — говорит Владек, — расскажи что-

нибудь.

— Что же тебе рассказать, milenki?

— Про жизнь, — говорит Владек, как, впрочем, каждый вечер.

— Э-э-э-х, жизнь! — вздыхает бабушка. — Длинная она, всего не упомнишь, годы что колоды, сдвинуть трудно…

— Расскажи, — теперь уже просят все. — Расскажи… Как там было с дедом и с тобой…

Мы-то знаем, как было. Но бабушка всякий раз рассказывает иначе: то словечко какое новое вставит, детальку добавит, перышко поцветастей воткнет… История почти что шестидесятилетней давности, но четкая, контрастная и колоритная, как старая гравюра.

Бабка молчит, с мыслями собирается, ее глаза горят тем удивительным и чудным блеском, какой пылает во взоре стариков: есть в нем что-то от поздней осени, богатой, многоцветной и полной теплого, ласкового, как зрелый мед, солнца. Далекие, вылеживавшиеся годами воспоминания, порой мрачные, тяжким грузом на сердце давящие, иногда туманные, такие далекие, что страх к ним возвращаться.

— Что ж, — наконец начинает она. — Все вы это знаете.

— Ну еще разок. С самого начала. О том, как вы стали встречаться.

И бабушка начинает рассказ.

Дед работал в столярных мастерских Лукерского на Лешне. К тому времени, после долгих голодных лет ученичества, он уже стал уважаемым паном Константином, подмастерьем «при деньгах». Мебель они делали, а бабка — молодая тогда plocha девушка — принесла плетеное кресло в починку. Так, пустяк, подлокотник приклеить.

— Через неделю будет готово! — заявил дед и шумно задвинул кресло в угол, потому как всегда все с размахом делал, скорый, точно искра горел — никогда не знаешь, что он выкинет. Тогда уже добрые люди говорили: «Ты поосторожней с ним, панна Леня: лоб кучерявый, не человек — горячка».

Пришла бабка через неделю — не готово. Через две пришла — то же самое. Через четыре, пять, а на шестую дед в любви признался. Потом уж, когда законным мужем стал, рассказал, что нарочно с заказом тянул.

— …Всегда любил хитрить — строго говорит бабушка, — и из-за этой…

Из-за этой его хитрости могли б никогда до

алтаря не дойти. Дед был горяч, бабка тоже; зацепились как-то раз друг с другом и, понятно, разругались насмерть. Бабка бросила в него обручальным кольцом и ушла навсегда, гневно колыша юбками.

Только ведь, знамо дело, если баба тебя захомутает, сети свои накинет — пропал с потрохами. Так и дед пропал. Целую неделю жестоко боролся с собственным гонором, потом выругался как сапожник (всегда любил rugalsie) и отправился к бабке. Взбешенный пошел: он, первый подмастерье, пан Константин, а ничего поделать не может — женщина.

А тут из ворот выходит бабка, да не одна, а с тем самым Иполитом, что у Бронского дерево портил. Дед не сдержался — разломалась трость на Иполитовой башке.

— Что ж это ты с таким-сяким ходишь, что даже двух дощечек вместе склеить не умеет, с таким лахудрой немытым, что три раза в цехе экзамен проваливал?

Потому как тот тоже был столярным подмастерьем, только куда ему было до деда. Ни один из хозяев видеть его не желал, разве что Бронский этот, что халтуру в провинцию гнал.

Но и бабка тоже не хотела видеть деда. Гордо

так ушла. Ушел и Иполит с распухшей головой (в аптеку за свинцовой примочкой), ушел и дед с сердцем, разодранным в клочья. На Вислу топиться.

— Иду я за ним, — говорит бабушка, — а он стоит над Вислой, голову обхватил руками и смотрит. А глаза у него — само отчаяние. Потом садится, гамаши снимает. Не выдержало sierdce мое, подошла к нему. А он…

Известно, что с теми, у кого вихры черные да крученые, шутки плохи. И дед, вместо того чтобы отдаться волнам, с сердцем, все еще разодранным в клочья, измителил бабку по первое число.

— Это я-то должен жизнь свою топить? Пальцем поманю, и десяток таких прилетит.

А потом, когда вся злость из них вышла, сели рядком и, обнявшись, смотрели сквозь слезы на звезды, широкими косяками падавшие в темную реку…

И лишь много лет спустя признался блудник: потому гамаши стягивал, что ноги горели и в Вислице хотел помочить их.

Дальше уже легко догадаться: алтарь, скромненькая свадебка, кто-то городового стукнул горшком с фуксией, и сразу — долг со свадьбы на всю жизнь. А годы летели. Фотография осталась:

бабушка в шевиотовом платье, в шнурованных до половины икры высоких ботиночках, дедушка в до смешного узкой тужурке, с новой тросточкой, грозно уставился в аппарат фотографа. Зная дедулю, можно на миллион поспорить, что тогда он в душе чертыхался.

Не хочет больше бабушка говорить об этих годах. Один на другой похожих, голодных и тревожных, изредка прорываемых светлым воспоминанием. К чему говорить о тех годах, если сегодня человека тешит совсем другое.

— А как там было с собраниями, бабуль?

И как теперь отвечать, если годы такие давние, четвертые и пятые нового века, и все поблекло, как та фотография?

— По сорок мужиков иной раз собиралось. Надымят, насорят, пол — оттереть потом не могла. А этот… как бишь его там? Болек Шибинский, всегда пепел в цветочные горшки стряхивал. А раз даже фуксию опрокинул… Так красиво говорил, — вздыхает бабушка, — в дочку Михальского был влюблен…

— Ну и что? — трагическим, можно сказать черным голосом спрашивает Владек, потому что у него сейчас первая (самая большая, единственная и последняя) любовь, а потому все так

трагично и черно.

— Ну и ничего, — мрачно говорит дед. — Попался в конце концов.

— В Сибирь его сослали?

— Если бы! Хуже — женился.

— Константин, — строго говорит бабушка, — Константин.

…В маленькой комнатке звучали лозунги, грозные и сильные. Тогда бабушка впервые услышала слово «революция». А отец наш, мальчишка еще, стоял у ворот и смотрел, не идет ли garadawoj. 1905 год был тогда, год бунта, гневно сжатых кулаков и красной песни: «На баррикады…». Отца и дядю выгнали из школы за забастовку. «Они всегда были шебутные» — говорит бабушка и смотрит на лысого отца с какой-то укоризной.

— А тот жилец, что снимал у нас, как его? — тут же спрашивает кто-то, желая увести разговор от темы дяди.

— Борисевич… Ах, что у меня из-за него было! Помнишь, Костик, как с нелегальной литературой вышло?

— Угу, угу, — бормочет дедушка, ловко уворовывая у отца сигарету, потому что своих за все восемьдесят четыре года, что живет и грешит на этом свете, у него не водилось. — …А как же,

помню, помню.

— Только с самого начала! — требуем мы. — Как там было, бабуль, с этим akalotocznym nadzieratelem?

Влюбился этот akalotoczny сразу, с первого взгляда, как только бабку увидел, и постоянно об этом говорил на своем прекрасном, певучем русском языке. За руку бабку держал и в глаза смотрел. «А глаза у него были!» — вздыхает бабка и лукаво посматривает на дедушку.

Barynia, ujdiom at siuda na maju rodinu! Ujdiom nad szyrokij, prekrasnyj Don…

Говорил бабке о том, как они будут ночью выходить из хутора в степь, ложиться средь острых бурьянов. И считать zwiozdy, которые льются дождем в глубокий, грозно шумящий Дон. Землячку свою нашел, прильнул к ней сердцем, стосковавшись по родимой земле, и все обещал ей, что жить будут, как вольные птицы, средь широких и пахнущих горечью степей, вдали at etoj praklatoj strany, где каждый на него волком смотрит, хоть он никого здесь не обидел, а это, мол, царь велит людей преследовать.

…В сорок пятом году я его встретила, — говорит бабушка, — уже офицером был, полковником, наверное, седенький весь, старенький, а орденов

на нем было жуть сколько… Сказал он мне тогда: «Ну, матушка. Теперь и твоя rodina свободна, и моя, и обижать никого больше нельзя. Кланяйся своему городу от меня, а я дальше пойду. На Берлин. Живи счастливо, Леночка…» И знаете что: тогда я первый раз тебе изменила, Константин, — он в щечку меня поцеловал.

Вздыхает бабушка:

— И так красиво, нежно меня называл — Леночка… А я ведь просто — Элеонора.

— Ишь чего надумал! — ворчит дед и глазами бешено сверкает. — Я бы показал ему!

— Ничего бы ты ему не показал! — быстро обрывает его бабушка и стукает рукой по столу. — Он выше тебя в три раза, на его усах ты покачаться смог бы. Уймись, пустомеля. Что ж ты, Константин, гриб старый, повспоминать не даешь!

Надо знать, что дедушка невысокий, коренастый, но года не смогли пригнуть его к земле, держится прямо, что церковная свеча, а глаза его, глаза — горят так же беспокойно, как и шестьдесят лет тому назад. Руки у него твердые, хваткие, не дай бог такой оглоблей по хребту схлопотать.

А было все это так: пришел он к бабке и говорит *praszczaj.*

Бледный пришел, грустный. «Ну, прощай, гово-

рит, не обрадую я больше глаз своих тобою…»

— Мог чин получить, — говорит бабушка, — а он все бросил и внезапно сгинул. Только в сорок пятом сказал мне, как дело было. «Не мог я, — говорит, — смотреть на обиду человеческую… Кровью душа моя плакала». И убежал в Россию, к своим, в гражданской одежде, революцию делал, орден из рук самого Владимира Ильича получил… «Это, Леночка, — сказал он мне, — лучшие воспоминания моей жизни: этот орден и ты…»

Кивает бабушка седою головой, глаза вдаль устремлены, все годы видны, пронзают, искорки в них какие-то мигают, всполохи воспоминаний…

— Ну, бабуль, — говорит Владек, — а как же все-таки было с той нелегальной литературой? И с тем городовым?

— Сейчас, сердце мое, сейчас. Дай с мыслями собраться.

Жилец прилетел, дрожит весь и бледный, будто смерть на лестнице увидел. Бабка как раз стряпней занималась («Крупник варила, как сейчас помню…»). А жилец сразу: «Спасай, женщина. Кто-то заложил, что с нелегальной литературой иду, накрыли меня, сейчас здесь будут»… и совсем как ума лишился, все мечется, мечется. Весна стояла, окно открыто, и снизу голоса слыхать,

спрашивают, проходил ли здесь высокий, со шрамом на лбу. Сторож был заикой, и его ответ тянулся бесконечно.

— Давай сюда!

Взяла у него литературу и спокойно запихнула в вырез на груди. И снова встала к кастрюлям, тихонько так напевая: Czubczyk, czubczyk, czubczyk kuczeraivyj…

В следующее мгновение влетает garadawoj со шпиком. Жильца к стене, и полный обыск. Ничего, конечно, не нашли, и тогда шпик к бабке: «А что это вы здесь на груди прячете?» и пятерню свою бабке за пазуху. И тогда бабка точным ударом горшка по голове распластала шпика на полу, оттолкнула одуревшего городового и прямиком в околоток, do akalotocznowo nadzieratela. Как буря налетела, а за ней, конечно, запыхавшийся полицейский с крупником на усах и едва живой шпик.

Что было потом — трудно описать. Плач, крик, вой. Как он посмел приставать, за пазуху заглядывать? Что я теперь мужу скажу, как в глаза людям смотреть?…

…А тут и дедуля ваш. Я волнуюсь, гордая вся из себя, что удалось-таки их выпроводить, а он приходит домой и скандал мне закатывает, что обед

ему не приготовила. Понимаете? А Борисевич — в Сибирь бы за это пошел. Но тогда я показала ему.

— Эхе, — желчно говорит дед, — всегда такая была, ей лишь бы только мужика с носом оставить…

Ночь. Месяц катится среди звезд, прямо над самым рынком Старого города. Мертвенный отблеск многоцветия, золочений, тени, посеребренные светом: странные и мерцающие, ползут они по земле. Отрывисто и звучно куранты отбивают время, горланит пьяница, чьи-то шаги звенят по тротуару.

Отец заснул, и дедушка, пользуясь случаем, безбожно облегчает его от сигарет. Смотрю на почти что лысую в серебряном венчике голову моего отца, лежащую на руках, и никакими силами не могу представить, вызвать откуда-нибудь образ мальчишки, швыряющего камни в окна школы, петарды под ноги полицейских, срывающего флаги и бьющего фонари в день рождения царя, идущего в манифестации, взбудораженного бунтом и песней «Кровь нашу…»

Я усмехаюсь, и бабушка подхватывает мою усмешку.

— Годы что колоды, — повторяет бабушка свою излюбленную поговорку. — Прошли они, сердеч-

ко мое, минули, жизнь, она тоже изменилась. Жаль, что твой дядя не дождался.

Знаю и эту историю. Завершается она в Березе, а начинается… Неизвестно. Может, в Равиче, где он просидел пять с лишним лет, может в Люблинском замке, как раз там, в карцере, а может, еще раньше, когда они били фонари и молчали, бледные и торжественные, отказываясь петь «Боже, царя храни». В бабушкиных глазах слезы: тот был первенцем, любимчиком. Тогда дед неловко откашливается, встает, поднимает сгорбленную бабушку и обнимает ее.

— Нет, мать! — говорит он строго, твердо, голосом, не потрепанным годами, — он дождался!

Вытягивает руку в окно, указывая на дома, свет в окнах, на лениво и широко текущую реку, на световую скобу моста…

— Неужели ты не видишь его? Не чувствуешь, что твой сын живет вместе с нами?

Стоят у окна двое старичков, пылко прижавшись друг к другу. Далеко, на железнодорожном мосту, гудит паровоз. Внезапно луна вышла из-за тучки, пролила серебряный свет на их головы и пошла дальше, к Запецку — по небу над спящим городом.

А я понял, что это был еще не конец истории.

1954

Окно

Никто почти ко мне не заходил. Я живу один, уже много лет, в грязном уродливом доме на глухой улочке. Луна не заглядывает в окно моей комнаты, не видно отсюда ни неба, ни звезд, только кусочек двора да стену дома напротив, очень высокую, кое-где поросшую диким виноградом. На стене всего два окна. За одним, как я со временем понял, живет обойщик, за другим — молодые супруги с ребенком; иногда я видел светлую ребячью головку, так и не знаю, мальчик то был или девочка; потом я узнал, что ребенок тот умер, и потерял охоту смотреть на стену дома напротив; как понял, что не увижу больше ребенка, так сразу заметил, до чего безобразна эта стена.

Изредка меня навещал чиновник со второго этажа; сам-то я жил на первом. Он был из тех добродушных похабников, в устах которых и отборные ругательства звучат невинно, теряют остроту, — из тех, кто то и дело хлопает тебя по колену и спрашивает, подмигивая: «Ну что? Каково, а? Правда, здорово?» Сперва я не выносил этого человека с его сальными шуточками. Он казался мне омерзительным и ужасно глупым;

над его остротами потешались, верно, еще во времена Франца Иосифа, думал я не без злорадства, но потом он перестал меня раздражать, я даже ощутил потребность в нем, потому что понял, что человек этот, живущий на втором этаже, так же беден и одинок, как я на первом. И мне захотелось сделать ему что-нибудь приятное: я без особого труда выучил несколько анекдотов и, когда он пришел ко мне, их ему выложил. Помню, он молчал, не проронил в тот вечер ни слова. И перестал меня навещать. Почему — бог его знает.

Под моим окном росла акация. Старое, сухое деревце. Помню, последней весною на нем цвела одна только ветка. Тогда я впервые заметил того мальчишку: я сидел близ окна и вдруг увидел рыжую голову — кто-то пытался заглянуть ко мне в комнату. Сперва я испугался, но тут же понял, что это детская головка, и решил обождать. Я наблюдал, затаив дыхание; бедняжка никак не мог взобраться повыше. Помочь ему, что ли, подумал я, спросить, чего он хочет? Но побоялся, а вдруг спугну?

На следующий день я опять заметил, что обладатель рыжей головы жаждет заглянуть ко мне в комнату. Но, видимо, ростом не вышел, — ничего не получалось. И тогда я решил высунуться и

увидел его: это был презабавный рыжеволосый мальчуган и в самом деле небольшого росточка. Зато на боку у него висел огромный палаш; меня это, помню, удивило: у такого маленького такой большой палаш. Я рискнул окликнуть его:

— Эй, малыш!

Он обернулся, но кинулся прочь. Я с грустью подумал, что, верно, спугнул его и больше он не захочет сюда заглядывать. Ан нет; вечером я опять увидел рыжую головенку, уже чуть повыше. И тут вдруг понял, что его привлекает: картина у меня на стене. Жалкая такая мазня, представляющая морское сражение; корабли с изодранными парусами, вспененные волны, обломки разбитых кораблей и прочее. Мальчонка смотрел на картину со двора и мало что видел: самые верхушки мачт и странного цвета небо — неизвестный художник не поскупился на краски. Я решил помочь мальчишке и, когда он явился вечером, внезапно высунул голову и крикнул:

— Ты хочешь картину мою увидеть, так ведь?

Он с минуту смотрел на меня, потом сглотнул и мужественно ответил:

— Да.

Я подал ему руку. Он с ловкостью обезьянки вскарабкался на подоконник; помню короткую

вспышку восторга в его глазах. Но спустя минуту я заметил, что он уже вовсе не смотрит на картину, а внимательно оглядывает мою комнату. Я увидел, как гаснет восторг на его лице, как он погрустнел: стал серьезным и сосредоточенным, словно за те минуты, что сидел на подоконнике, и лет ему изрядно прибавилось, и забот. Он долго молчал, понурив рыжую свою головенку. А потом сказал:

— Везде одно и то же.

— Да, — сказал я. — Везде одно и то же.

— И нигде не бывает иначе? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— И даже далеко-далеко отсюда? Там так же?

— Да. Там такие же комнаты. Во всем мире такие комнаты. Мир — это, вообще говоря, несколько таких вот комнат.

— Это я еще посмотрю, — сказал он.

Соскочил вниз и убежал. Назавтра я вернулся домой позже обычного, и первое, что увидел, войдя в комнату, — какой-то предмет под окном. Я поднял его; это был палаш. Но сам мальчонка никогда больше ко мне не заглядывал.

1955

Пьяный в полдень

Случилось это в самый полдень, когда мучительный зной проник во все закоулки каменного города; листья на деревьях поникли, от горячего асфальта несло смолой. По улице шел пьяный. Шляпа странным образом держалась у него на самой макушке — так умудряются носить шляпу только пьяные; у трезвого она свалилась бы с головы через пару шагов, пьяный же пройдет в ней все круги ада. Шел он широким, но не поддающимся измерению шагом; искуснейший геометр сел бы в калошу, заставь его измерить это переплетение ромбов, эллипсов, зигзагов. Прохожие оглядывались на пьяного, а он себе шел; у него было пугающее лицо безумного пророка, а руками он с такой силой раздвигал воздух, будто то и дело натыкался на препятствие. И невнятно бормотал при этом.

Впрочем, путь его был недолог. Вот он пошатнулся, повалился на траву, да так и остался лежать там. Шляпа, ясное дело, продолжала держаться на его голове, лицо — красное, опухшее — оказалось на самом солнцепеке. Изо рта струйкой стекала слюна, глаза закатились; когда он

падал, рубаха вылезла у него из штанов, и обнаженное, потное тело являло зрелище в высшей степени отвратительное.

Понемногу начали сходиться люди; дело происходило на Праге, где, как известно, всех развлечений — медведи да пьяные. Прага и сейчас словно бы другой город в составе Варшавы, человека из центра многое здесь удивляет. Тут полно «человеческих обломков» — как выразился один молодой одаренный критик, который, очевидно, полагает, что человек, как и машина, может в конце концов сломаться. Для людей, смотревших на пьяного, зрелище это было обыденным. Стоял среди них человек в темно-синем костюме и светлой кепке. Он говорил:

— Была жизнь? Была. Жил я? Жил. Бывало, мог что ни день напиваться в стельку, и свояк мой тоже мог. Прежде была забегаловка на Ратушовой; когда мы со свояком туда входили, оркестр «Легкую кавалерию» играл. Литр, помню, стоил четыре злотых; и свояк был пьяный, и я был пьяный. Что ни день — в дымину. А теперь что? Да ничего. Теперь если я подзаправлюсь раз в неделю, считай, уже хорошо. Очень даже хорошо. А бывало, каждый божий день. Со свояком. Тут, на Праге, кого ни спроси, все Владека Майтлоха

знают.

— А что сталось с вашим свояком? — спросил один из толпы. Низенький, сухой человечек с загорелой лысиной. Мужчина в синем костюме повернулся к нему.

— А тебе-то что за дело? — спросил он с вызовом.

— А я, может, знал вашего свояка — сказал низенький. — Я двадцать лет на Праге живу. Кучу людей тут знаю.

— Генека Яблоновщака знал? — спросил человек в синем костюме.

— С Бялостоцкой, что ли?

— Нет. У него еще на Зомбковской мастерская была.

— Нет, — сказал человек с загорелой лысиной. — Этого не знал.

— Так на хрена встреваешь? — сказал тот, что в синем костюме. — Страх как не люблю пронырь, которые повсюду нос суют. У меня правило твердое: держать язык за зубами.

Пьяный лежал на солнце, людей вокруг все прибывало. Среди них стояла девушка; вздернутый носик, светлые волосы; лет двадцати от силы. Девушка говорила:

— Как можно было так напиться? Ну не стыдно?

Облик человеческий теряет, здоровье губит — за свои же денежки. Мне его нисколечко не жалко. Пусть бы загребли в милицию да ночку там продержали. Что он, жить иначе не может? Может. Работать может, семью завести. А если у него есть семья? И сейчас его дома ждут? И учиться он мог бы, теперь даже старые люди еще могут учиться.

— А с чего вы взяли, что ему учиться охота? — сказал кто-то сзади. — Может, он сам по себе? Может, его никто отродясь не любил и не любит? Может, он один живет и ему неохота в пустой дом возвращаться? Может, он один-одинешенек…

Девушка обернулась, с минуту смотрела на говорившего, потом разразилась смехом.

— Ну, вы прямо как ребенок! Никто не любил… одинешенек… Ему надо цель себе в жизни найти. Ясно? Цель. Одиночество? Да не бывает такого. Нет теперь ни одиноких, ни несчастных. Нету.

— Понял, — сказал тот, что перед тем обращался к девушке. — Спасибо.

К девушке подошел парень в чудной какой-то рубахе; его коротко остриженные волосы торчали ежиком.

— В кино пойдете? — спросил он. — У меня два билета.

— А на что?

— Не знаю. Про любовь вроде.

— Муть небось?

— А кто его знает, — пожал плечами парень. — Может, и ничего… Пойдем, скоро начинается.

Он взял ее за руку, и они ушли. Человек в синем костюме и светлой кепке говорил, прикрыв глаза:

— Был в шестом отделении сержант знакомый. Бывало, заберут нас: меня и свояка. Как всегда, на двадцать четыре часа. Ну, сержант свояку и говорит: «Я, Хенек, тебя посажу. Будешь ты у меня, Хенек, сидеть. Чтоб мне провалиться, упеку как миленького». Но дольше суток мы никогда не сидели. Горя не знали… мы со свояком.

— Порядочная свинья, должно быть, этот ваш свояк, — сказал кто-то сзади.

Это был приземистый человек в таких вытертых штанах, что и в аду по ним можно было признать монтажника. На нем была спортивная майка, на левом плече — татуировка в виде змеи. Был он приземистый и коренастый, как медведь; широкая спина и мощные плечи выдавали недюжинную силу — человек этот внушал доверие. Наклонившись к лежавшему, он резко его встряхнул. Пьяный приоткрыл один глаз и тут же закрыл. Человек в вытертых штанах

выпрямился.

— Скотина, — сказал он. — Нализался в самый полдень. Ну что теперь прикажете делать с этим сукиным сыном?

— Постеснялись бы, — сказал кто-то сбоку, лицом похожий на учителя. — Постеснялись бы так выражаться. Как можно, тут ведь женщины, дети… Небось по воскресеньям сами не лучше выглядите.

— Я знаю этого пьяницу, — сказал другой мужчина. — Когда-то на Брестской бар был. Назывался «Приют моряка». Владелец побольше двухсот килограммов весил; издалека приезжали на него поглазеть. Дебошей там никогда не устраивали, посетители развлекались, как воспитанные дошколята. Я иногда захаживал туда; моряк этот мастер был рассказывать: ты прямо как собственными глазами все видел. Этот крошка, что на земле валяется, тоже туда приходил. Встанет, бывало, у стойки и говорит: «Я, хозяин, отсюда уеду. Уеду отсюда, и все позабудут, что я в этом городе жил. Но вы-то меня будете помнить, а? Ну пьянчужка я, ладно. Пил тут у вас каждый день. Даже по воскресеньям. Всю неделю ждал, вот будет воскресенье, подамся куда-нибудь, а в воскресенье никуда идти не хотелось. У тех, к

кому хотел бы пойти, выходных не бывает. Вот я и прихожу к вам. Будете меня помнить, а?»

— Он псих был, что ли? — спросил мужчина со змеей на плече. — Чего так странно говорил?

— Люди, они все странно говорят, — сказал тот, что встречался с пьяным в баре «Приют моряка». — Людей всегда трудно понять. Но психом он не был. Он раньше мировой был парень, порядочный.

— Многие теперь спились — сказал мужчина с худощавым лицом и в очках. — Дали бы людям все, что требуется для хорошей жизни, они бы не стали пить. Зарабатывают мало, вот в чем дело.

— Чего? — возмутился обладатель змеи. — Вы это кому говорите? Мне? Да я тысячу злотых зарабатываю! Но у меня же баба и двое ребятишек. И это вы мне говорите? — Он перевел дух. — Лучше помогли бы. Давайте-ка отведем этого типа.

— О, нет! — мужчина в очках поднял кверху палец. — Прошу прощения, но это омерзительно. Я не намерен помогать пьяной скотине. К тому же я нездешний и в Варшаву приехал вовсе не за тем, чтобы сопровождать пьяных скотов.

— Ах, вон оно что, — сказал человек со змеей. — Вы сюда пожаловали, чтобы увидеть город и нашу красивую жизнь. А ну-ка убирайтесь!

Сейчас лето, вам поправиться надо, загореть. А в больнице ведь солнышка не будет. Какая он тебе скотина?

Господин в очках удалился мазурочным шагом. Мужчина в синем костюме и светлой кепке сказал:

— Он сейчас блевать начнет. Мой свояк…

— Черт побери! — сказал кто-то сзади. — Эй, Майтлох, ты что, не узнаешь меня? Я же и тебя знаю, и свояка твоего знаю. Мы вместе в тюрьме на Гусовке сидели, или не помнишь?

— Верно, — сказал тот, что в синем костюме. — И что с того?

— А то. Вали отсюда к чертям собачьим! Вы же со свояком за жульничество сидели. Людей морочили.

— А ты? За невинность, что ли, сидел?

— За то же сидел, что и вы. Но теперь я вкалываю; у меня хорошая работа и вообще полный порядок. Жалею, что когда-то поверил вам. Так что проваливай, покуда я тебе морду об тротуар не расквасил.

— Ладно, — сказал мужчина в синем костюме. — Еще встретимся. Ты у меня еще попоешь.

Он пожал плечами и удалился. Пьяный по-прежнему лежал без движения; все смотрели на

его багровую физиономию. Какой-то мальчуган наклонился и палочкой коснулся его носа. Женщина, стоявшая в толпе, дернула мальчишку за руку и крикнула:

— Отойди, он тебя ударит!

— Он уже никого не ударит, — сказал другой, стоявший сзади человек

Лет ему было около сорока, выглядел он здоровяком, носил плутовские усики и пеструю шерстяную шапочку, некогда очень модную в пригородах Варшавы; сейчас их носят разве что последние голубятники на Маримонте и Пельцовизне. На человеке с усиками были бриджи и кожаная куртка с подвернутыми рукавами. Он выплюнул окурок и повторил:

— Никого он уже не ударит. Такие не бьют. Я только сейчас припомнил, что когда-то встречал этого малого; давно это было и как-то чертовски странно.

— Все, что было давно, кажется странным, — сказал человек в форме железнодорожника. — Иногда кажется, что этого вовсе и не было. Иногда кажется страшным, иногда смешным, а то и глупым. Но не таким, каким было взаправду.

— Слушай, тебе бы надо в ксендзы протыриться. Какого черта ты пошел в железнодорожники?

— Я импотент от рождения, — сказал человек в железнодорожной форме, — и потому не мог поступить так, как ты говоришь; ведь эти ребята в таком деле сильны. Я добрый католик, но Господь Бог вылепил мне одно место не так, как положено: видать, спасением мира был занят или еще каким свинством. К тому же мне хотелось поездить по свету.

— Это я понимаю, — сказал человек в кожаной куртке. — Я шофер и сам люблю ездить. И алкаша этого на дороге встретил. Ночь была, поздно. Я летел на большой скорости, потому как люблю быструю езду, а тогда еще на списанных военных машинах гоняли. Как сейчас помню, на спидометре километров восемьдесят было. И вдруг этот пьянчуга из темноты как вынырнет и — шасть под колеса. Я что было силы нажал на тормоз, сперва думал, ногу из задницы не вытащу. Но обошлось. Выскочил я из кабины — и к нему. «Ну и что, — говорю, — что мне с тобою сделать?» Он глянул на меня, вся морда в крови. «А что хочешь», — говорит. «Если бы я сделал с тобой, что хочу, — говорю ему, — то сел бы за человека, хотя убил бы гниду. Ты что, нализался?» «Нет», — говорит. Посмотрел я на него, и правда: трезвый он, только трясется весь. Жаль мне его

стало: человек как-никак. «Зачем вы это хотели сделать? — спрашиваю. — Где живете? Давайте-ка подброшу вас». Мы стояли в темноте, а как раз напротив была огороженная дощатым забором площадка; летом пацаны там в футбол гоняли. Он молчит. Я опять с вопросом: «Куда тебе?» Он засмеялся дурным каким-то смехом и хвать меня за руку. «Человеку, — говорит, — который от своих ушел, некуда податься. Куда ни пойди, всюду пустые площадки». И показал рукой на забор. Больше ни слова не сказал, схватился руками за голову и пошел себе. С тех пор я его не видел.

Человек в кожаной куртке замолчал; достал сигарету, похлопал себя по карманам в поисках спичек. Не нашел и обратился к человеку со змеей:

— У вас спички есть?

— Зажигалка, — сказал человек со змеей; вынул огромную латунную зажигалку-самоделку и дал ему прикурить. Человек в кожаной куртке козырнул и ушел.

— Интеллигентный мужчина, — сказала какая-то дамочка. — На шофера вовсе не похож.

— Так догоните его, — сказал человек со змеей. — Он вам бескорыстно отдастся, если, конечно, не побоится переспать с покойницей.

— Эта тетка верит в загробную жизнь, — сказал какой-то паренек. — Мадам, двадцать злотых не одолжите? После смерти верну.

Женщина повернулась и пошла прочь, покачивая широкими бедрами. Ноги у нее были прямые и толстые как столбы.

— О боже, — сказал паренек. — Тоска, а не ноги.

— Когда я еще щенком был, — сказал какой-то старик, обводя собравшихся выцветшими глазами, — мне внушали, что все польки — красавицы. Но и это заблуждение рассеялось в прах.

— А что осталось?

— Душ, — сказал старичок. — Ежедневно по утрам я принимаю душ.

— И это все?

— Ну конечно. Не могу же я принимать душ дважды в день. Я квартирант, а хозяйка у меня такая стерва, что ей и в преисподней отвели бы отдельную комнату.

Старик кашлянул и ушел, опираясь на палку. Человек, встречавшийся с пьяным в «Приюте моряка» на Брестской, сказал человеку со змеей:

— Этот пьяница был когда-то отличным парнем. До войны в трамвайном парке работал, стачки организовывал. Прятал людей во время

оккупации: евреев под самым носом у немцев в потайном месте укрывал. «Вот придет победа, — говорил нам, — увидите, как жить будем. До черта всего будет, выше горла. С нищетой покончим. Сторицей получим за нужду, что мы в жизни терпели. Дайте только время, загорать будем кверху пузом».

— Я знаю, что было дальше, — сказал приземистый мужчина с татуировкой. — Пришла победа, и надо было прорываться, вкалывать как проклятый, стиснув зубы и зажав рот. Другие как-то вырастали, поднимались в гору, а он отстал. То ли способностей маловато было, то ли недопонял чего? И вот — не выдержал: жене по ночам одно говорил, а на собраниях — другое. А потом стал бояться.

— Да, — сказал знакомый пьяного. — Потом стал бояться. Боялся, что в конце концов другие уразумеют, какой он липовый партиец. И жил уже только страхом. Партии не понимал.

— Ежели партийный человек переживает свои сомнения вне партии, он быстро превращается в кучу трусливого дерьма, — сказал мужчина со змеей. — Мелкая у него душа, маловер он. И к малому стремился; стремления уступали место страху, когда он видел, как мучаются люди. Бы-

вают такие больно уж совестливые; они думают, все, что происходит в стране, лежит на их совести. И этот такой был: мелкая у него душонка, вот и лежит теперь здесь, нажравшись, как старая курва в Чистый четверг. Потом его выперли из партии.

— Откуда вам все это известно? — спросил знакомый пьяного.

— А я сам голосовал за его исключение, — сказал человек со змеей. — Как-то встретил его вечером. Уцепился за мою руку и стал нудить: «Отчего счастье так далеко проживает? Когда мы туда доберемся? Будем идти стиснув зубы, день не раз ночью покажется, а если и доберемся, хватит ли сил улыбнуться? Нет: мы же чертовски устанем. После диких усилий и успех видится кошмарным сном». «Вот и хорошо, — говорю я ему — завтра собрание: встань и скажи все как есть. Какого черта в себе это душить? Все чертовски устали, но молчать нельзя. Молчание вовсе не золото. Молчание — мерзкая ложь. Самая что ни есть мерзкая». Он как-то странно взглянул на меня: никогда я не видел такого взгляда. Глупо хихикнул и говорит: «Ты чего? Я же просто пошутил. Хотел проверить, настоящий ли ты партиец. А то в последнее время…» Вот тут я дал ему в морду.

Он утирал кровь с губ — и ни слова.

Человек со змеей замолчал. Хохотнул неприятно.

— Чего вы смеетесь, черт побери? — спросил знакомый пьяного.

— Да потому что знаю, — сказал мужчина со змеей на плече, — знаю, что все подобные типы так кончают. Если ты не вместе со своей партией, такой конец неизбежен. Ты что, бежишь уже?

— Да, — сказал знакомый пьяного. — Чего тут стоять? Все равно ему уж ничем не поможешь.

Они пошли по улице. Запыленные деревья выглядели жалкими, неприглядными. На углу худощавый мужчина в грязном халате торговал мороженым; вокруг толклись ребятишки, растаявшее мороженое текло у них по пальцам. Дети пищали, тянулись к мужчине с мелочью.

— Вы и вправду его знали? — спросил знакомый пьяного. — А мне сдается, заливаете. Быть не может, чтобы все мы его знали.

Человек со змеей приостановился. Взглянул на спутника. Тот продолжал:

— Я только сейчас заметил, что у вас изуродованное лицо. Вас что, били?

— Били.

— Давно?

— Кажется, что вчера, — сказал человек со змеей. — Свежо в памяти, хотя двадцать лет уже прошло. И тоже тридцатое апреля было. И тоже жара стояла такая, что дышать было нечем.

Они молча смотрели друг на друга. Проезжали трамваи, грузовики, люди сновали туда-сюда. Знакомый пьяного раздраженно спросил:

— Так знали вы его или нет?

Человек со змеей поднял голову. Глаза у него были пустые, светлые и слепые — как у покойника.

— Я многих знал.

Они пошли дальше. Знакомый пьяного по бару на Брестской насвистывал, приземистый мужчина шел молча и нервно играл желваками. И вдруг остановился.

— Черт, совсем забыл, — сказал он, с беспокойством глядя на спутника. — Придется вернуться: баба моя велела к теще зайти. А это в той стороне.

— Ну что ж, — сказал знакомый пьяного. — Подождал бы вас, да времени в обрез. Пока, — он коснулся пальцем кепки и пошел вперед.

Когда он исчез за углом, приземистый мужчина повернул обратно к пьяному. Склонился над ним и с трудом взгромоздил на себя; пьяный как

куль валился из рук. Приземистый тащил его и с тоской приговаривал:

— Ну чего ты нализался? Чего нализался в самый полдень?

1955

Первый шаг в облаках

В субботу центр города выглядит так же, как в любой другой день недели. Только пьяных больше; в закусочных и барах, в автобусах и подъездах — везде стоит запах винного перегара. В субботу город теряет свой деловой облик — в субботу у города пьяная рожа. Зато в центре в субботу не найти любителей наблюдать жизнь: торчать в подворотнях, слоняться по улицам, часами сидеть на скамейке в парке — исключительно ради того, чтобы лет двадцать спустя можно было вспомнить, что в один прекрасный день им довелось увидеть чего-нибудь эдакое. Как рассыльные, недавно еще, во времена оккупации, расхаживавшие по городу в красных фуражках, как торговцы сухим песком и уличные певцы с пропитыми тенорами, — в центре вымерли беспристрастные наблюдатели жизни.

Встретить их можно только на окраине. Жизнь городской окраины всегда была и остается более полнокровной; на окраине по субботам, если день погожий, из домов выносятся стулья; перевернув их задом наперед и усевшись верхом, люди наблюдают за жизнью. Упорство наблюда-

телей подчас граничит с безумием, — иногда эти фанатики просиживают так всю жизнь, не видя ничего, кроме физиономии наблюдателя, сидящего напротив. И умирают с чувством глубокой обиды на весь мир, убежденные в его тоскливой заурядности, поскольку редко кому придет в голову, что можно встать и пойти на соседнюю улицу. Наблюдатели с годами становятся беспокойными. Они суетятся, поглядывают на часы; такая уж у старых людей смешная привычка — им страсть как хочется сберечь время. С какого-то момента интерес к жизни и жажда впечатлений у них становятся посильней, чем у двадцатилетних. Они много говорят, много размышляют; чувства их одновременно и кипучи и вялы. Потом они быстро и спокойно угасают. А перед смертью уверяют всех, что жили на полную катушку. Импотенты похваляются успехами у женщин, трусы — геройством, дебилы — житейской мудростью.

Пан Генек — маляр по профессии — сорок лет прожил на Маримонте и столько же лет наблюдал жизнь своего района. В ту субботу пан Генек, как обычно, сидел в палисаднике перед домом и бездумно глазел по сторонам. Время от времени он сплевывал и облизывал пересохшие губы; угасающий день был мучительно жарким. Пан

Генек испытывал раздражение: за целый день не случилось ничего интересного, никто не сломал руки, никто никого не побил, и пана Генека томило ощущение пустоты и скуки; он пнул подвернувшуюся под ногу собаку и, уныло позевывая, оглядел улицу. Улица была пуста; изредка проезжавшие по ней машины вздымали тучи горячей пыли. Окончательно потеряв надежду узреть кусочек жизни, пан Генек вдруг почувствовал, что его тронули за плечо. Подняв сонный взор, он увидел своего соседа, Малишевского.

— Пошли, — сказал Малишевский.

— Куда?

— Недалеко.

— Зачем?

— Полюбоваться кое-чем хотите? — спросил Малишевский.

Был он небольшого росточка, с добродушным лицом и хитрыми глазками. Движения его — несмотря на кажущуюся вялость — были быстрыми и ловкими, как у молодого кота.

— Чего там? — спросил пан Генек, зевнув: жара его доконала.

— Парень, — сказал Малишевский.

— Ну и что?

— Цирк, — сказал Малишевский. — С девушкой.

Теперь понятно?

— Ясно, — проговорил пан Генек и встал; в душе его сверкнула надежда. Оживившись, он спросил: — Красивая?

— Красивая и молодая, — сказал Малишевский. — Говорю, работа там кипит. — И вдруг заторопился: — Идете или не идете?

— Дохлый номер, — сказал пан Генек — Пока дойдем, они кончат. Дохлый номер, ручаюсь.

— Им-то не за пятьдесят, как вам, — сказал Малишевский. — Они долго могут. Я, когда был молодой, мог часами. Серьезно. Зайдем за моим шурином, и вперед. Ну как? Он-то наверняка составит нам компанию, если вернулся с работы. Да вот и он сам!

Действительно, по улице шел здоровенный малый. Рукава рубашки засучены, в зубах зажата травинка. Глаза под тяжелыми веками сонные и насмешливые.

— Хенек, — закричал Малишевский, — можно тебя на минуточку?

Хенек подошел, привалился к забору. Лоб у него взмок от пота.

— Привет, — сказал он. — Как дела, пан Генек?

— Хенек, — сказал Малишевский, — пошли с нами.

— Жарко, — сказал Хенек, облизал губы и вздохнул. — Дышать нечем. В такую жарищу и у святого не встанет. Куда намылились?

— Я был на огородах, — сказал Малишевский. — Там парень с девушкой.

— Шлюха? — спросил Хенек. Выплюнул травинку, потом сорвал новую и прикусил крепкими зубами.

— Хрен-то, — сказал Малишевский. — Говорю тебе: молодая и красивая.

— Давай сходим, — сказал Хенек. — Ты меня знаешь: люблю поглядеть на жизнь. А окажется страхолюдина, — обратился он к Малишевскому, — сегодня же нам поставишь.

Без лишних разговоров быстро пошли огородами. Местные жители приходили туда после работы, возились со своей картошкой, морковью и помидорами. Сейчас, однако, на участках было пусто: влажная духота всех сморила — люди сидели дома.

— Духотища, — сказал Хенек. — Ничего не могу в такую погоду делать. Голова трещит с утра до ночи.

— Тем тоже небось жарко, — сказал пан Генек.

— Надо думать, — сказал Малишевский. — Мы их остудим. Верно, Хенек?

— В том году, — сказал Хенек, — сюда тоже ходил один с девушкой. Целое лето.

— И что?

— Ничего. Хаты, видать, не было.

— Поженились? — с усилием спросил Генек; он мечтал о кружке холодного горьковатого пива.

— Не знаю. Может, и поженились. Тоже красивая была девушка.

— Блондинка? — снова спросил Генек; ему это было совершенно безразлично. Он по-прежнему ощущал внутри мучительную пустоту и омерзение.

— Брюнетка, — сказал Хенек — Как сейчас помню. А мужик белобрысый. Я все не мог понять, зачем красивой девке такой мозгляк.

— Кто их разберет, — пробормотал пан Генек и сплюнул густую слюну. Он был зол на Хенека — тот напомнил ему, что у него самого некрасивая и недалекая жена. — Небось шлюха, — сказал он.

— Возможно… А теперь тихо, — сказал Малишевский. И пошел первым; Хенек и пан Генек медленно следовали за ним, стараясь не шуметь. Вокруг посерело: солнце спряталось, на траву упали голубоватые тени. Малишевский вдруг повернул голову и тихо позвал: — Сюда!

Они прошли крадучись несколько шагов и уви-

дели в траве парня и девушку. Девушка положила голову пареньку на плечо, прижалась к нему всем телом. Они лежали, утомленные любовью и жарой, оба молодые и красивые — две головы: темная и светлая. Платье девушки задралось; у нее были длинные и сильные загорелые ноги.

— Красивая, — сказал Хенек. — Очень даже.

— А я что говорил, — шепнул Малишевский.

Постояли молча; пан Генек снова облизал губы и подумал о своей жене с внезапной дрожью отвращения. Малишевский глуповато усмехался. Хенек совсем опустил тяжелые веки и переминался с ноги на ногу. Вдруг он спросил раздраженно:

— Что будем делать?

— Давай ты, — сказал Малишевский. — Отколи чего-нибудь, чтоб они животики надорвали со смеху. Ты это умеешь.

— Хенусь, — сказал пан Генек, — самое милое дело — их напугать. — Он прищелкнул пальцами: — Жуть какая красивая. Давно таких не видал. Совсем еще пацанка. Рано им этим заниматься. — И нетерпеливо сказал Хенеку: — Ну чего же вы, валяйте, не то я им вставлю фитиль.

— Погодите, — сказал Хенек. — Уж лучше я.

С минуту он смотрел на загорелые бедра девушки и лицо его страдальчески кривилось. Потом

вышел из-за дерева, подошел поближе и сказал, прищурясь:

— В папу-маму играете? Приятного аппетита!

Малишевский и пан Генек расхохотались. Паренек вскочил и пробормотал:

— Что вам нужно?

— Ничего, — медленно процедил Хенек. Он стоял перед ним, слегка покачиваясь, по-прежнему покусывая травинку и сплевывая зеленоватую слюну. Потом сказал: — Ты не особо спеши, дружок. Я специально пришел тебя предупредить. Главное — не торопиться.

Малишевский вышел из-за дерева и встал рядом с Хенеком.

— Красивая девушка, — сказал он, сверля ее своими смурыми глазками. — Я бы сам с такой познакомился. Познакомимся, если не возражаете?

— Идиот, — сказала девушка.

Она стояла у паренька за спиной, раскрасневшаяся и взволнованная; пан Генек смотрел, как дрожат ее худенькие плечи, и опять с отвращением подумал о своей некрасивой, толстой и рыхлой жене.

— Эй ты, шлюха, — сказал Малишевский; глаза его от злости налились кровью. И продолжал торопливо, сдавленным голосом: — Блядь ты

обыкновенная, понятно? У меня дочка старше тебя, ты, потаскуха.

— Уходите, — сказал паренек, просительно заглядывая ему в глаза. — Я вас прошу, уйдите. Мы вам ничего не сделали. Очень вас прошу.

— Кого ты просишь, Янек? — сказала девушка. — Этого старого дурака?

— Заткни своей бабе пасть, — сказал Хенек, — не то я заткну. И не выступай. Говорю тебе, заткни ей пасть.

— Сам заткнись, — сказала девушка, глядя на него с презрением. Она чуть не плакала, но попыталась язвительно рассмеяться. — Скотина, — выдавила и разрыдалась.

— Эй, ты, — сказал Хенек и дернул ее за руку. — Кого оскорбляешь? Таскаешься сюда с мужиками и еще вякаешь?

Парень метнулся и ударил Хенека в лицо — раз, другой. Произошло это так быстро, что Хенек успел только моргнуть. Но уже в следующую секунду схватил паренька за волосы и хрястнул лицом о свое колено. Потом ткнул кулаком в зубы и швырнул на землю.

— Хватит? — спросил он. — Клиент доволен? Если нет, могу добавить. Обслуживаем по первому классу; кладбище у нас тут уютненькое. — И

разразился потоком грязной брани. Глаза он закрыл, но по-прежнему видел длинные загорелые ноги девушки.

— Пойдем, Янек, — сказала девушка. Стерла пареньку кровь с лица. — Мы еще сквитаемся, — бросила. А отойдя на несколько шагов, крикнула истерически: — Пердуны вы старые, а не мужчины!

Домой возвращались тем же путем — через огороды.

— Парит, — сказал Хенек. — Похоже, дождь будет. — Вздохнул и покачал головой: — Красивая девушка. Почему ты ее блядью обозвал? В глаза ведь раньше не видел. Откуда тебе было знать?

— Я ничего такого не говорил, — сказал Малишевский. — Это ты сказал.

— Я?

— Ты.

— Ну загнул. Я ж ее не знаю.

— А я знаю, — сказал Малишевский. — Я их тут раньше видал. У них большая любовь.

— Ну и что теперь будет? — спросил пан Генек.

— Не знаю, что будет. Я только знаю, что они давно уже встречаются. И что сегодня у них это в первый раз…

— С чего вы взяли? — лениво спросил пан Ге-

нек.

— Слыхал, как он ее упрашивал. Страшно им было — и ему, и ей. Уговаривали друг дружку, я слышал. Ребенка боялись, вот что они говорили. Но больше, наверно, себя.

— В первый раз всегда так, — сказал Хенек. — Мне тоже было страшно.

— Кому ж в первый раз не страшно? — сказал Малишевский. — Зачем только ты ему врезал?

— Ты сам хотел.

— Кто же знал, что так выйдет? Он чудно как-то с ней говорил…

— Как?

— Не помню.

— Тучи собираются, — сказал пан Генек.

— Вот-вот, он про тучи говорил. Не то про облака, — сказал Малишевский. — Стих какой-то. Любовь у них, понятно?

— Кончится теперь у них любовь, — сказал пан Генек. — Омерзеют навсегда друг другу. Смотреть друг на друга после такого не смогут. Нехорошо получилось.

— Знаю, — сказал Малишевский. — Вспомнил. Он говорил, что, если он ее того, это будет их первый шаг в облака. Так и говорил, только стихами. А она свое: «Страшно. Страшно». И плакала.

— Может, боялась, что будет больно?

— Вряд ли, — сказал Малишевский. — Не думаю, чтоб она боли боялась. Конечно, жизнь, другие люди, сплетни… Но это потом. А первый раз правда как в облаках. Влюбленные ничего не видят.

— Мы тоже? — спросил Хенек.

— Кончится у них теперь любовь, — сказал пан Генек. — По себе знаю: случись со мной такое, я бы девушку разлюбил.

Он вдруг помрачнел: опять почувствовал внутри тоскливую пустоту. Огороды остались позади; они снова шли по улице.

— Нет, — сказал Хенек. — Не будут они друг друга больше любить. Со мной когда-то было похожее. И я потом эту девушку любить не смог.

— У каждого было похожее, — сказал Малишевский. — Но зачем ты ему по роже дал?

— Он меня первый ударил, — сказал Хенек. — Пивка выпить зайдем?

— Можно. Девушка-то, наверно, больше уже не придет.

— Не придет, наверно, — сказал пан Генек. — И за что вы ее так обозвали?

— Мою девушку тоже когда-то так обозвали, — сказал Малишевский. — За что, до сих пор,

ей-богу, не знаю.

— И не влюблялись больше?

— Нет, — сказал Малишевский. Помолчал и добавил с неожиданной злостью: — Оставьте вы меня, черт подери, в покое! Не верю я ни в какую любовь. И бабе своей не верю. Никому не верю.

— Дурацкая история, — сказал Хенек Посмотрел на небо и вздохнул: — Хмурится. Как он там говорил?

— Шагнуть в дождь, кажется, или что-то в этом роде, — устало сказал Малишевский. — Пошли пиво пить… Не то про дождь, не то про грозу… Не помню. Ничего не помню. Не хочу ничего помнить. Не помнил бы, не получилась бы вся эта петрушка.

— Дождь завтра будет, — сказал Хенек.

— В воскресенье всегда дождь, — сказал пан Генек. И поморщился: опять подумал о своей постылой жене, о парнишке, о завтрашнем дне, о красивой девушке, о ее длинных загорелых ногах, о ее груди, красных свежих губах, стройной шее, испуганных зеленых глазах, и буркнул себе под нос, потому что нужно было что-то сказать:

— Всегда в воскресенье дождь…

1955

Красивая девушка

Это была по-настоящему красивая девушка. Завсегдатаи парка, даже те, кто ходил сюда с незапамятных времен, не могли припомнить, чтоб когда-нибудь в этом парке объявлялась хоть одна такая же, подстать ей, красавица. Эта девушка в ком угодно могла поколебать веру в материальность мира; поравнявшись со скамейкой, где она сидела, люди испытывали странное ощущение, будто попали в иной мир. Старик, вечно бродивший тут со своей палкой с острием на конце, и тот рот разинул и шел так, пока не свернул в аллейку. А старикан этот всякого навидался, многое мог бы порассказать о майских ночах, когда — задыхаясь от злобного удовлетворения — гонял отсюда бездомных любовников.

Девушка сидела на скамейке не одна, а с парнем. Лет им обоим было по девятнадцать-двадцать, не больше. Парень был тоже красив, но она затмевала его любым своим движением или просто взглядом.

«Эта девушка словно лучик солнца», — думали прохожие.

— Поздно уже. Пора домой, — сказала она.

— Как хочешь, — отозвался парень. — Мне здесь хорошо.

— Ну так как, сделаешь, о чем я тебя просила, или нет?

— Я уже все сказал.

— Смотри, пожалеешь.

— Это уж мои проблемы, — ответил парень.

Достав из кармана пачку сигарет, он щелкнул по донышку и, вытянув губами одну, закурил. Пачку спрятал обратно в карман.

— Я тоже курю, — сказала девушка.

— И очень плохо. Никотин вреден для здоровья. А кроме того, от него может подурнеть твое хорошенькое личико.

Девушка сверкнула на него глазами из-под прищуренных век. А глаза у нее были карие, глубокие; в них дрожали золотистые искорки. Она хотела что-то сказать, но в это время мимо проходил мужчина в темно-синем скверно сшитом костюме.

Простой служащий, он так ничего и не сумел добиться в жизни — не хватило таланта и упорства. Однако, как всякий подобного рода человек, считал себя незаслуженно обойденным и непонятым. Взглянув на красивую девушку, он подумал: «Бог мой! Вот бы мне такую! Все бы пошло по-дру-

гому. Такая женщина способна многое изменить; может, ради нее и стоило чего-нибудь добиваться. А так, считай, жизнь загублена. Эх, черт! В кино, что ли, сходить, а то совсем расклеился...» И, разом погрустнев, он ускорил шаг.

Как только мужчина скрылся из виду, девушка спросила парня:

— Дашь или нет?

— Не люблю повторяться, — ответил тот.

Она подняла на него свои лучистые ясные глаза и сказала:

— Сукин ты сын.

Парень расхохотался. Пнув носком ботинка камушек, лежавший на дорожке, он тихо произнес:

— Одна маленькая неточность: я не твой сын.

— Будь ты моим ребенком, я знала б, что с тобой делать.

Он искоса глянул на нее и спросил:

— А чего ж ты со мной советуешься, что тебе делать со своим?

— Он еще и твой.

— Красиво излагаешь, — бросил парень, — даже трогательно. На вечеринке не я один был. Там были и Метек, и Ромек, и еще двое-трое ребят. А бабки только с меня тянешь? Что я тебе

— дед-мороз?

— С теми у меня ничего не было.

— Ты выходила с ними на улицу.

— Чтоб глотнуть свежего воздуха и немного прогуляться. Ночь была удивительная…

— Ах вот как, — безразлично сказал парень. Он загасил сигарету и потянулся, откинувшись на спинку скамейки. Некоторое время посидел так, глядя в угасающее небо, потом сказал:

— К сожалению, я давно перестал верить в сказки. Что-то я не слыхал, чтобы девушка шла ночью к реке с мужчиной просто поглазеть на луну. Как раз при луне все и случается…

Девушка вскинула голову и взглянула в упор на парня, но промолчала; в руках она теребила клейкую молодую веточку. Пальцы у нее были как у мадонн с полотен старых мастеров: длинные, тонкие, нервные, казалось, они жили своей отдельной, одухотворенной жизнью.

Мужчина, который в это время шел мимо них, взглянул на девушку, потом на ее руки, и у него перехватило дыхание. Начинающий писатель, он задумал написать большой любовный роман, появления которого все с таким нетерпением ждут. В этот миг — с потрясающей ясностью — он увидел его весь целиком; вот уже несколько

месяцев в голове у него мелькали отдельные сцены, лица, диалоги, и только сейчас будущее детище обрело в его мыслях законченный вид. «Есть, — лихорадочно соображал он, — теперь дело в шляпе. Они случайно встретились в парке на скамейке. Закрутился романчик, дальше — первая ночь любви… Трактуют они эти отношения цинично, для них это все равно что спорт — так они решили, дабы избежать лишних сложностей и разочарований. Но со временем их настигает любовь. Настоящая любовь, та, которая завладевает всем существом без остатка и от которой некуда деться. Однако им трудно поверить в нее: они не могут забыть циничного начала своих отношений. Под конец понимание приходит, и они остаются вместе, навсегда соединенные большим чувством. Такая вещь получится, что вокруг нее страсти разгорятся!» Обрадованный, он помчался домой.

Девушка сказала парню:

— Ладно. Как знаешь. Но я тебе устрою. Постараюсь, чтоб другим тоже стало известно о нашей маленькой тайне. Вылетишь из института как миленький и позабудешь, что хотел стать инженером. Уж это я тебе обещаю.

Ни один мускул не дрогнул в лице парня.

— А вот это уже нехорошо, детка, — ты рискуешь выставить себя на посмешище. Лично я ничего так не боюсь в жизни, как показаться смешным.

— Все равно — смеяться будут над тобой.

— Вот уж не уверен. Я ведь тоже тебе могу кое-что напомнить. Вот это, к примеру: ночь, один парень стоит в карауле, и, конечно же, думает о своей девушке, мечтает о той минуте, когда они окажутся вместе. Здорово, правда? А тем временем… — он приблизил свое лицо к лицу девушки и твердо отчеканил: — А тем временем его девушка развлекается в «Камеральном» с двумя стареющими хрычами, обладателями дряблых ног и при том пары магазинчиков на Хмельной. Потом она — пьяная в дым — едет на квартиру одного из них, где всю ночь распутничает с этими типами. Разумеется, наутро у нее готова для них трогательная байка о безвинно осужденном отце и впроголодь живущей семье. Они дают ей пятьсот злотых, якобы взаймы, и она покупает на них две пары капроновых чулок. Классно, правда?

— Так себе история. Я знаю поинтересней. Слыхала я об одном пареньке, который, чтоб попасть в институт, подправил кое-какие данные в анкете и рассказывал о себе разные сказки.

Для убедительности даже выучился говорку варшавских предместий, чтоб ни у кого не осталось сомнений в его пролетарском происхождении. А тем временем папочка слал ему посылки из Нью-Йорка, так что малый совсем неплохо был упакован — папуля и там ухитрялся ловко обделывать свои делишки. Тот самый папуля, что в анкетке числился безработным токарем. Ну как, занимательный рассказик?

— Я дам тебе половину, — сказал он. — Остальные достанешь сама.

— Нет уж, милый мой, все и сразу, или…

— Или что? — оборвал он ее, грубо схватив за руку.

— Ничего. Не хочу повторяться. Чтоб не выглядеть смешной. Я тоже ничего так не боюсь в жизни, как стать посмешищем в чужих глазах.

— Ладно, — отрезал он и тяжелым взглядом окинул девушку; та в ответ ухмыльнулась с издевкой. — Деньги получишь через две недели.

— Нет, раньше. И так уже поздно.

— Беречься надо было, черт тебя возьми!

— И это говоришь мне ты?!

— Не на все надо соглашаться, ты…

— Тише, — шикнула она.

Мимо шла пожилая пара; оба седые и сгорблен-

ные, они прожили вместе не один десяток лет; оба были верующими и считали, что каждый прожитый на этой земле день им дарован Богом, и были благодарны Ему за это. Старушка взглянула на девушку и неожиданно расплакалась.

— Что с тобой? — спросил муж.

— Ну почему Господь не дал нам таких красивых детей? — сказала она. — Почему Он не дал нам таких детей?

Старичок легонько сжал ее морщинистую дряблую руку.

— Мы любили друг друга. Нам было хорошо вместе. Бог простит нас за то, что мы никого после себя не оставляем. Это ведь не наша вина.

— Да, — вздохнула она. Отерла слезы и тихо сказала: — А как было бы хорошо…

И, ссутулившись, старички скрылись в зеленых аллейках парка.

Парень сказал:

— Я в долгу не останусь. — И, помолчав, добавил: — Подожду, пока выйдешь замуж.

— И что тогда?

— У тебя будет семья: дети, муж…

— Ну и что тогда, что?

— А ничего. Как-нибудь загляну к вам — с мужем познакомишь… Покалякаем о том о сем

— приятно иногда вспомнить прошлое.

— Значит, на будущей неделе?

— Да.

— Ладно, — сказала она и подняла кверху свое прелестное лицо — несколько мгновений оно светилось в лучах заходящего солнца; каждый ее волосок, каждая клеточка кожи, глаза, губы, плечи — все было пронизано и напоено солнцем. Она засмотрелась на зеленые кроны деревьев. Потом тихо сказала:

— Долго же тебе придется ждать.

— Любви ждут долго.

— Ах так, — прошептала она.

И больше не произнесла ни слова; на лице ее угасали последние отблески вечерней зари — солнце закатилось за деревья. В его догорающих лучах девушку увидали двое мужчин, спешащих домой с работы. Оба были уже немолоды; с изрытыми морщинами лицами и седыми висками. Один из них, тот, что пониже ростом, посмотрел на девушку, и лицо его страдальчески исказилось.

— Что с тобой? — спросил мужчина повыше.

— Ерунда какая-то, — сказал невысокий, силясь улыбнуться. Он провел по лицу рукой жестом очень усталого человека, повторив при этом:

— Ерунда какая-то. И знаю, что вроде бы не с чего тоске браться. Но ты представить не можешь, до чего же все иногда не в радость.

— Чему радоваться-то собрался?

— В тюрьме до войны, — сказал невысокий, — я все мечтал: вот победим, настанет другая жизнь, и все наши девушки так будут выглядеть. Когда мне вкатили десятку, я был совсем зеленым юнцом, вон как тот паренек, что сидит с ней на скамейке. Молодой и наивный, и так же наивно представлял себе коммунизм. Но после того как мне ребра пересчитали, мои представления малость изменились.

— Так о чем ты теперь горюешь?

— Иной раз тоскливо становится, как подумаешь, что у тебя никогда не было такой девушки.

— Глупости все это, — сказал второй мужчина, ткнув в бок невысокого. — Разве это важно? Главное, что есть на свете красивые девушки, что они любят своих парней и любимы.

1955

Ломбард иллюзий

В нашем городе много красивых улиц и площадей. О них написана уйма всяких стихов, поэм, песен и книг, до того много, что излишне, пожалуй, распространяться на тему его красот. Все же есть тут одна улочка, чья прелесть и красота, когда б ты ни шел по ней и каким бы распоследним человеком себя ни чувствовал, заставляют тебя расправить плечи и высоко нести голову; глядишь на все эти маленькие, чистенькие, нарядные особнячки, и на ум приходит нелепая мысль: наверняка здесь живут одни только добрые и очень счастливые люди. Ей-богу, иной раз так и хочется всю ее проползти на коленях.

В самом конце той улицы, в каменном особнячке, украшенном затейливыми бронзовыми драконами, расположено кафе, о котором знают лишь посвященные; разумеется, на деле это означает, что знает о нем полгорода. Однако приходят сюда только те, кто по неписаным, но строго соблюдаемым правилам получили на это право; те, которые чего-нибудь добились.

В этом кафе, за одним из изящных резных столиков, сидел с девушкой молодой писатель.

Девушка была совсем юной: у нее было по-детски простодушное личико, но в нем поражали своей серьезностью большие черные глаза. Стояло лето, и на ней было веселенькое платьице в мелкую клеточку, высоко открывавшее длинные, стройные и загорелые ноги; на них уже некоторое время пялился старый хмырь с мефистофельской бородкой, сидевший за столиком у окна. Он до того был поглощен разглядыванием ее ног, что напрочь позабыл о любовных стишках, которые ему предстояло закончить к завтрашнему дню для одного популярного еженедельника. В какой-то момент старикан очнулся, облизнул пересохшие губы и склонился над листком бумаги; прошла минута-другая, прежде чем он сообразил, что это вовсе не статья о борьбе с колорадским жуком, над которой он трудился третьего дня; поняв это, он с воодушевлением принялся за сочинение пылких строк.

Девушка и писатель сидели молча; несколькими минутами раньше между ними состоялся разговор, который ошеломил их обоих; так всегда бывает, когда люди признаются друг другу в чем-то очень хорошем и радостном. Теперь оба, боясь произнести первое слово, обменивались лишь беглыми взглядами; время от времени молодой

писатель прочищал горло, при этом прекрасно сознавая, что такое покашливание — занятие идиотское и абсолютно бесперспективное. Наконец — с большим трудом подавив искушение произнести целую кучу ненужных слов — он спросил:

— Ты мне веришь?

Девушка тряхнула головой.

— Дело не в этом, — сказала она, — просто я еще не могу до конца поверить в то, что ты говоришь. Все это так неожиданно… Мне трудно объяснить…

— Ничего не объясняй, — горячо зашептал мужчина. — Не нужно никаких объяснений. Просто мне хочется, чтоб ты поверила моим словам.

— Я верю.

— И доверишься мне во всем?

— Возможно, да, — сказала она с хрустом сплетая пальцы.

— «Возможно» или «да»?

— Да…

На лице молодого писателя отразилось явное облегчение. Поигрывая пустой чашечкой из-под кофе, он произнес:

— Ты не представляешь, как неимоверно трудно начинать все с начала.

— Я буду тебе помогать, — тихо произнесла она.

— Не надо помогать — просто люби меня. А я сделаю все, что в моих силах, чтоб ты была счастлива.

— Счастливой я буду, если тебе будет хорошо.

— Мне пора, — немного помолчав, произнес он. — Подождешь меня — всего-то часок, ладно?

Она кивнула, улыбнувшись ему одними глазами. Потрепав ее по руке, мужчина вышел. Девушка в одиночестве осталась сидеть за столиком. Она пыталась сосредоточиться и трезво обдумать только что им сказанное; но ей все еще казалось, что она слышит его голос, а место напротив заполнено его телом, и его глаза все еще на нее смотрят. Внезапно картинка расплылась, а затем прояснилась, как на экране телевизора, и к своему немалому удивлению девушка заметила сидящую напротив вполне реальную женщину. Женщина была молода, но выглядела не по возрасту усталой; темные глаза ее смотрели печально; со временем в таких глазах обычно начинает сквозить безысходная тоска.

— Это место занято, — вежливо сказала девушка.

— В том-то и юмор, — ответила женщина. — Я

на одну минутку. Два раза я уже пыталась с вами заговорить, но вы были так погружены в себя — я побоялась повысить голос, чтоб не испугать вас. Не буду вам долго надоедать. Да и не о чем тут долго говорить. Всего несколько слов.

— Пожалуйста, — запинаясь проговорила девушка. В душе ее шевельнулось дурное предчувствие. Она со страхом смотрела на незнакомую женщину, и вдруг ей ужасно захотелось, чтоб та сию же минуту встала и ушла, так и не начав говорить. Она бы все сейчас за это отдала, как человек, подсознательно чувствующий приближение беды.

— Послушайте меня, — мягко произнесла женщина — Минуту назад тут с вами сидел молодой человек. Так уж сложилось, к несчастью, что этот человек — мой муж, по причине чего я его более-менее знаю. Известно мне и о его чувствах к вам: вот уже несколько месяцев для него это излюбленный предлог, чтоб с утра до вечера пить. Впрочем, я вовсе не исключаю, что он вас действительно любит. И все-таки, подумайте хорошенько.

— О чем, о его любви?

— О себе. Люди, которые влюбляются по три раза в год, не способны любить по-настоящему,

даже когда сами в это свято верят. А потом, страшно смотреть, как умирает любовь.

— А она обязательно должна умереть?

— Он говорил вам, что всю жизнь ждал такую женщину, как вы?

— Да.

— Говорил, что уже несколько месяцев не может ни строчки написать, потому что беспрерывно о вас думает?

— Да.

— А говорил, что вы должны остаться с ним навсегда, если вам небезразлично, какую пользу он еще сможет принести людям?

— Говорил.

— Так вот послушайте, — снова повторила женщина. — Все сходится. Но мне это страшно надоело. Сколько раз мне уже приходилось утешать всех этих бедняжек! А как-то одну из них я даже устраивала по знакомству на известную операцию за собственные деньги. Глупо было бы, если б и вы однажды пришли ко мне за словами утешения, вы мне симпатичны. Наберитесь терпения и выслушайте меня.

Когда я в первый раз переступила порог этого кафе, то была тоже молода и красива, как вы. Да-да, и не смотрите на меня как на идиотку.

Я выслушала те же слова, а поскольку зубы у него еще были собственные, слова эти звучали гораздо отчетливее. И тебе советую — не глупи. Первые три месяца будешь на седьмом небе от радости, что можешь участвовать в его творческих исканиях и разделять с ним его страдания. Потом он впадет в легкую меланхолию; станет искать и страдать в одиночку. А ты начнешь тем временем находить следы губной помады на его рубашках, будешь вскакиватъ с постели в три ночи, чтоб приготовить ему чай с лимоном, спасая его от похмелья; в конце концов в один прекрасный день он скажет: «Прости, я ошибся. Моя жизнь — вечное блуждание в потемках. Я вынужден блуждать и пребывать в постоянном поиске; если б не искал, люди быстро забыли бы меня. Я встретил женщину; не знаю, буду ли я с ней счастлив, но лишь сейчас, рядом с этой женщиной, я обрел себя, и если она не захочет остаться со мной, я уже никогда не напишу ни строчки…» И так далее, в том же духе…

Она умолкла. Молчание длилось несколько минут, женщина рассеянным взглядом обводила зал. Потом, накрыв своей ладонью руку девушки, сказала:

— А когда твоя жизнь превратится в ад кро-

мешный и ты отдашься первому попавшемуся проходимцу, ради одной только иллюзии — хотя бы на секунду почувствовать снова, что рядом с тобой лежит мужчина, — все эти люди назовут тебя блядью, да ты и сама начнешь так думать, слыша со всех сторон: «человек мечется, страдает, терзается», а «эта» не в состоянии его понять. Я уже старая развалина, на которую ни один мужик не взглянет, а потому мой искренний тебе совет — закрой дверь с той стороны и навсегда забудь об этом заведении. Это ломбард; здесь ты оставишь на хранение свои иллюзии, мечты и стремления, но тебе не на что будет их выкупить. Сидящие тут интеллигентные с виду дамы примутся совать нос не только в твою постель, но и в мысли; и ты начнешь узнавать о себе такие вещи, от которых волосы встанут дыбом. Твою жизнь как вспоротую перину переберут по перышку. Вот о чем тебе следует подумать. В жизни полезно иногда подумать о себе: это совсем не так глупо, как кажется на первый взгляд.

— А у вас миленькое платьице. Откуда?

— Из «Цепелии»[63].

— Если кто-нибудь спросит, откуда оно, скажи-

[63] Примечания: 63

Цепелия — по первым буквам: Центр по продаже изделий народных мастеров.

те, что у вас дядя в Париже. Хорошее entrée[64]. До свидания.

И ушла. Некоторое время девушка сидела в оцепенении. Старикан у окна то и дело посматривал в ее сторону; случайно встретившись с ней взглядом, он сильно смутился. В углу кто-то сказал громко: «Брыкальский кончился». «Неужто? — усомнился собеседник. — Да ведь это его дебют. Неизвестно, что еще он напишет». «Ничего он уже не напишет», — загудел в ответ церковный бас. — Первая книга и станет последней». Девушка посидела еще немного и вышла. Старичок, с тоской посмотрев ей вслед, вернулся к своей поэме.

На улице было душно. Посредине мостовой ползла поливальная машина, разбрызгивая по сторонам струи воды. Шофер высунулся в окно и крикнул девушке: «Эй, куколка, посторонись, не то въеду в твою попку как в гараж! Проходи скорей». Прохожие на тротуаре восхищенно загоготали. Поливальная машина с шумом проехала. Какой-то мужчина не первой молодости с благородной проседью в волосах обратился к девушке:

— Вы бы и вправду повнимательней перехо-

---

[64] Примечания: 64
Выход (*франц.*).

дили дорогу, так недолго калекой на всю жизнь остаться…

— А шли бы вы ко всем чертям, — стальным голосом отчеканила девушка. — Вам бы не помешало отрезать ноги: сидели б себе дома и думали о вечности, вместо того чтобы без дела шататься по улицам и чушь городить.

Шея господина с седоватой шевелюрой апоплексически побагровела, девушка же развернулась и зашагала в противоположную сторону. Она миновала немало улиц, спускалась по каким-то ступеням, пока, неожиданно для себя самой, не очутилась у Вислы. Долго брела зеленым берегом реки и наконец, устав, присела, вытянув перед собой стройные ноги. Солнце садилось, река отливала красновато-медным блеском. Такие пейзажи можно купить на площади Шембека; там также можно встретить самых элегантных мужчин и всех трех красавиц, живущих в Варшаве.

Луга подернулись росной дымкой. По ту сторону Вислы над берегом повис туман, и ничего уже нельзя было разглядеть. Свет дня тихо померк, и внезапно девушка подумала, что если сейчас не заговорит с кем-нибудь, разрыдается как малое дитя; но это было не в ее характере — она

не выносила слез. Беспомощно оглядевшись по сторонам, девушка увидала в двух шагах от себя веснушчатого парнишку с книжкой на коленях. И перебравшись к нему поближе, спросила:

— Ты, верно, хочешь стать писателем, а?

— Моряком, — грубо отрезал конопатый.

— Сколько тебе лет?

— Тебе-то какое дело?

— Ответить, что ли, трудно, балбес?

— Ну чего прицепилась, читать не даешь, — огрызнулся парнишка. — Можно подумать, горишь желанием дать мне на кино. Ну, допустим, восемь. Скоро стемнеет, и придется двигать домой. А там мне уже не почитать.

— Почему?

— Мать заставит делать уроки.

— Что тебе задали на завтра?

— Примеры по математике.

— Математика — штука совершенно идиотская, — с глубоким убеждением произнесла девушка.

— Это уж точно.

— Послушай, — сказала она. — Я дам тебе на кино, даже на два сеанса, но ты должен мне кое-что пообещать. Идет?

— Хитра больно, — сказал конопатый и смерил

девушку подозрительным взглядом. — Не на того напала. Сперва скажи, в чем дело.

— Я дам тебе денег, — повторила девушка, — но с одним условием: когда вырастешь — стань писателем.

— Ха-ха-ха, — издевательски захохотал он. — Держи карман шире.

— Ну ты, паяц несчастный, — сказала девушка и неожиданно сильно вцепилась в его руку. — По мне, можешь стать хоть ксендзом в тьмутаракани — один черт. Я хочу, чтоб ты только сказал: «Стану писателем». И за это я дам тебе на кино.

Мальчик взглянул на нее с интересом.

— Идио-о-тка, — с неподдельным изумлением протянул он. — Ты что, не понимаешь, слова — это всего только слова!

— Напишешь книгу, — не слушая его, заговорила она. — Опишешь в ней любовь обыкновенной девушки к талантливому писателю. Опишешь чувство жалости, которое всегда берет верх над любовью и которое не одну женщину погубило. Изобразишь их первую любовную ночь, как этот тип стоит под дверью и скулит, чтоб она его впустила, как он валяется у нее в ногах и грозит вскрыть себе вены. Опишешь, как, шантажируя пьянством, завоевывают женщин. Изобразишь

кафе, где сидят красивые дамы, возможно одетые лучше всех в Варшаве, но с мозгами базарных торговок. И еще много-много интересного опишешь. Ну как?

— Да оставь ты меня в покое с этим твоим писательством, — сердито проговорил парнишка и с треском захлопнул книжку. — И вообще, гуляй отсюда и не приставай. Сказал, что буду моряком, значит, буду. Я даже придумал название корабля: «Альбатрос». Только ведь ты баба, у тебя вон грудь, тебе никогда этого не понять. Вали в свои куклы играть и не морочь мне голову.

— И что это тебе даст, капитан?

— Глупая ты, — сказал он, и его веснушчатая мордашка расплылась в счастливой улыбке. — Я смогу путешествовать по всему миру, все страны увижу. Неужели непонятно?

— С таким же успехом ты сможешь путешествовать, если станешь писателем. И по суше, и по морю.

— А потом, возвратившись из рейса, — продолжал гнуть свое конопатый, не обратив на слова девушки никакого внимания, — зайду в кабак «У истлевшего мертвеца». Ко мне подсядут люди, а я буду рассказывать им обо всем, что видел. Во будет классно!

Девушка поднялась и отряхнула платье.

— Дурак ты, дурак, — сказала она. — Сколько ты сможешь рассказать? Десятку человек? Двум десяткам, сотне? И что из этого? Недолго проживет твоя болтовня; назавтра придет другой моряк, расскажет байку поинтересней, и о твоей все забудут. А стань ты неплохим писателем, твою книжку смогут прочесть сотни тысяч. Во всяком случае, гораздо больше людей, чем она того будет заслуживать. Люди читали бы ее и перечитывали и запоминали каждое твое слово. По твоим книгам могли бы в школах учиться дети. О тебе бы узнало невесть сколько людей на свете. Впрочем, как хочешь. Ты такой же дурак, как все мужики. Прощай, капитан.

Солнце закатилось за деревья, вдалеке кто-то подвывал пьяненьким тенорком. И когда девушка уже отошла на несколько шагов, конопатый что есть силы заорал:

— Ладно! Стану писателем!..

Девушка вздрогнула. Глянула на заходящее солнце и быстро, во весь дух, кинулась бежать в сторону красивой улочки.

1955

Страсти

— Он уже не жилец, да? — спросила медсестра. Подошла к доктору и наклонилась рядом с ним над умирающим. Плечом она касалась плеча доктора, и тот отстранился.

— Ему ничем не помочь, — сказал он.

— Он умрет?

— Наверняка.

— Сегодня?

— Да. Скоро. Может, через час, может, раньше.

— Зачем он это сделал? Как вы думаете?

— Ничего я не думаю, — сказал доктор и выпрямился. Он был высокий, худощавый; белизна халата подчеркивала следы усталости на его лице с резкими чертами. Он потер лоб рукой. — Разве теперь узнаешь.

— От страха? — спросила сестра, складывая шприцы в никелированную коробочку. — Может, боялся чего? Или ему что-то угрожало? А может, что-нибудь натворил…

Ее огромные голубые глаза сосредоточенно смотрели на доктора. «Кукла, — неприязненно подумал доктор. — Фарфоровая кукла…»

И вдруг разозлился.

— А тебе бы хотелось трагедию чужой жизни объяснить одним словом? — сердито воскликнул он, поворачиваясь к ней спиной. — Не удастся.

Он отошел к окну и отдернул занавеску; разгоряченным лбом прижался к стеклу, глубоко вздохнул. Он видел свое лицо, мутным отражением маячившее в стекле; жадно всматриваясь в темноту, напрягал зрение, пытаясь разглядеть как можно больше. Ночь была ясная и морозная; в стеклянном небе неподвижно висел удивительно тонкий серпик луны; заиндевевшие деревья в больничном дворике выглядели в его блеске волнующе театрально. Высоко вверху носился звездными тропами ветер; землю сковало морозом и льдом. «Если не потеплеет, — со злобой подумал доктор, — мы все загнемся в этой дыре». Повернув голову, сказал сестре:

— Посмотри, не осталось ли там немного кофе.

— Где?

— В моем столе. Такая желтая банка.

Сестра послушно направилась к столу и с грохотом задвигала ящиками. Он смотрел на ее сильные руки, полную шею, широко расставленные мускулистые ноги, и снова в голове мелькнуло: «Кукла».

— Нашла, — раздался через минуту ее голос.

— Завари.
— Одну или две ложки?
— Одну.
Сестра вздохнула.
— Пойду поищу какую-нибудь кружку.
— Удивительно. Я бы должен хотеть тебя.
— Доктор.
— Да.
— Почему вы такой?
— Какой?
— Злой, — сказала она. — Странный.
— Почему у тебя обувь нечищеная? Советские ученые давным-давно изобрели гуталин. А кроме того, прекрати пользоваться этим жутким лаком для ногтей, при одном взгляде тошно делается. И не причесывайся под Симону — ты так же похожа на нее, как я — на премьера Польши. Ну иди уже за своей кружкой.

Сестра вышла. Доктор взглянул на висевшие над дверью часы: было около двух ночи. Подошел к умирающему, машинально пощупал у него пульс. Ему сделалось не по себе рука лежавшего на койке человека была холодной и липкой от пота. «Никогда мне к этому не привыкнуть, — со злостью подумал он. — Никогда я не привыкну к этим потным телам со стекленеющими глазами».

Его пальцы с силой стиснули вздувшиеся фиолетовые жилы на руке больного, — неровный пульс слабел с каждой минутой. «Прощай», — подумал он. И тут заметил, что умирающий смотрит на него — глаза открыты, зрачки неестественно расширены из-за высокой температуры, в уголках рта запеклась слюна. «Да уж, красавцем тебя не назовешь, — подумал доктор. — Это, конечно, не мое дело, но ты и вправду не красавец». Он нагнулся к его уху.

— Ты можешь говорить?

— Я буду жить?

— Не волнуйся. Говори спокойно.

— Буду?

— Разумеется.

Больной отвернулся лицом к стене.

— Врешь, — прошептал он.

— Долг обязывает. Ты же сам этого хотел. Поганое дело — смерть от отравления газом. У тебя было время поразмыслить.

— Я хочу тебе что-то сказать.

— Говори.

— Все, чем пугают нас на земле, чем беспрерывно шантажируют — все это блеф. Никаких страданий, никаких угрызений и расчетов с совестью. Легкий шум в голове — и конец.

— Ты еще жив. Может, удастся тебя спасти.

Зрачки умирающего помутнели. На прозрачных висках выступили бисеринки пота. Дыхание становилось все отрывистее, а сложенные на груди руки начали слегка подергиваться, как задние лапки лягушки, внезапно вытащенной из воды.

— Кто меня привез сюда?

— Люди.

— Всегда-то они вмешиваются, когда не просят. Так бы все уже было кончено.

Немного погодя доктор произнес:

— Все и так кончено.

Натянул простыню на его лицо и разогнулся. Закурил, глубоко затянувшись дымом; табак был крепкий и отдавал горечью. «Холодно, — думал он, — если не потеплеет, то и вправду загнемся». Он потер озябшие руки и сел к столу. Вынув из ящика журнал учета, принялся искать фамилию умершего.

Вошла сестра с кружкой в руке.

— Вот ваш кофе, — сказала она. — Пейте, пока горячий.

— Ты б еще дольше канителилась, — сказал он в ответ. — Даже кофе не можешь быстро заварить, как будто это не знаю какое искусство. За это время наш друг успел попасть в рай. Позвони

в морг, пускай забирают. И кофе не расплескай. Где сахар?

— В ящике, — сказала она, ставя перед ним дымящуюся кружку. Подошла к аппарату на столе и начала набирать номер; несмотря на все усилия, ей не удавалось скрыть дрожь — руки ее мелко тряслись. — Морг? — спросила она деревянным голосом. — Берите каталку и быстро сюда.

Положив трубку на рычаг, она тяжело облокотилась на стол. Глаза ее были устремлены на доктора. Тот молча размешивал ложечкой сахар.

— От чего он умер? — тупо спросила она.

— Смерть наступила в результате отравления газом.

— У вас нет сердца.

— Ради удовлетворения твоего любопытства завтра же готов сходить на рентген.

— Зачем вы так?

Он приподнял набрякшие веки.

— Тебя там в твоей школе разве не учили не задавать глупых вопросов и не облокачиваться на стол?

В дверях появились двое санитаров с каталкой; один долговязый, второй низенький, со смешной круглой головой. Они подошли к покойнику.

— Невелик, — заключил высокий.

— Зато симпатичный. Похож на одного вратаря из Скерневиц, — сказал низкорослый и подмигнул сестре. Она отвернулась.

— Твой размерчик, — сказал высокий. — Интересно, нога у него как — тоже тридцать седьмой носил? Эй ты, осторожней.

— Я вот думаю, какой ящик ему закажут: с обивкой или без?

— Поспорим? Я говорю — с обивкой.

— Заметано. Спокойной ночи, доктор. Пока, сестричка. Кончай ты по нем убиваться. Лучше мной займись.

— Спокойной ночи, — сказал доктор. Он провожал их взглядом, пока за ними не закрылась дверь.

— Я этого не вынесу, — сказала сестра и резко встала. — Когда я заканчивала это чертово училище, думала, люди способны сострадать друг другу. Доктор?

— Слушаю.

— Неужели милосердия не существует?

— По мне, люди делятся на тех, кого спасти удается, и тех, кому уже не помочь.

— Ужасно. Бедняга отходит, а вы пьете кофе. А эти амбалы спорят, какой гроб ему купят родственники — с обивкой или нет. Я этого не

вынесу.

— Вынесешь, — сказал доктор. — У тебя воображения не хватит представить, сколько всего может вынести человек. — Он встал и расправил плечи, широко зевнул. Размеренным шагом прошелся по комнате. — Выпиши ему свидетельство о смерти, — сказал он сестре. И не принимай все так близко к сердцу. Выпей валерьянки или брому, в общем, выпей чего-нибудь.

— Ладно, — сказала она упавшим голосом. Вид у нее был довольно жалкий: губы кривились, как у ребенка, готового вот-вот разразиться безудержным плачем, под глазами обозначились темные круги. В ее поникших плечах, в склоненной над столом шее, в руках притаилась усталость. Внезапно она подняла голову.

— Неужели так много?

— Что?

— Так много можно вынести?

— Тебе сколько лет?

— Двадцать.

— Вот поэтому ты и спрашиваешь.

— А когда человек перестает удивляться?

— Никогда.

— Так зачем все это?

— Низачем.

Зазвенел звонок: на доске вызовов выскочила циферка три. Сестра встряхнула головой, как человек, внезапно вырванный из сна, и тяжело поднялась.

— Из третьей кто-то вызывает, — сказала она. — Мне надо идти.

— Иди. Как-нибудь переживу.

Сестра вышла, покачивая всем своим тяжелым, крепко сбитым телом. Он посмотрел ей вслед и подумал: «Ничего не выйдет, дорогуша. Ни-че-го, хоть бы таким манером по звездам ходила. Все правда: у тебя невысокий лобик, короткий вздернутый носик, тяжелые веки и крупный рот, и плоский живот, позволяющий тебе так красиво ступать, и взгляд твой обещает так много, когда ты смотришь своими коровьими глазами, и ты так замечательно пахнешь, словно булочки, только что доставленные из пекарни, и запах этот даже здесь, среди этого паскудства, перебивает все другие запахи. Но в этом деле ты как пить дать еще несмышленыш. О таких, как ты мечтают, школяры в старших классах, и я тоже мечтал до поры до времени, пока не встретил такую, как ты — с такими же глазами и так же пахнущую. Бедные пышнотелые коровы. Мало того, что лежите колодой, так еще рожать вам

приходится в страшных муках, тогда как худышки — в базарный день гроша ломаного никто бы за них не дал — любят и рожают как птицы».

Доктор подошел к окну и снова прижался лбом к стеклу. Он всегда так делал, когда чувствовал себя окончательно вымотанным во время ночных дежурств, когда казалось, еще минута — и он плюхнется на пол, как тряпичная кукла, которую выронил ребенок За окном густела звенящая от мороза ночь. Месяц спустился ниже и метался по крышам; над колокольней костела дрожала в морозной мгле Большая Медведица.

Доктор повернул голову и посмотрел на койку, где только что умер человек. Кровать уже была застлана чистой простыней, белой и холодной. «Немного же от тебя осталось, — подумал доктор и горько усмехнулся. — Вот, значит, как, чертов ты Вертер, всего ничего. А если бы ты мог знать наперед, что это будет так выглядеть, решился бы ты на такой шаг? Своей избраннице ты сотворил колоссальную рекламу — то-то радости ей будет по ночам; она станет рассказывать про тебя каждому своему приятелю — не ради всякой женщины травятся газом; она будет рассказывать о тебе даже в моменты оргазма, говенный ты Вертер из провинциального городка, а я, хоть мы и

дружили с тобой пять лет, не в состоянии думать сейчас ни о чем другом, как только о том, что дьявольски хочется спать; и нет мне никакого дела до разговоров, сплетен, презрения и жалости, которые после тебя остались. Единственное, что я могу тебе пообещать: я заставлю-таки немного покричать твою Лотту, когда буду делать ей выскабливание. Теперь аборты разрешены, и мне незачем заглушать ее крики, давая маску с наркозом. Думал ли ты об этом? Чуток сплетен. Чуток воспоминаний, в которых ты непременно будешь другим, чем в жизни. Но обещаю тебе, — я приложу максимум усилий, чтоб поскорей все забыть. А тебе приходило такое в голову, дорогой мой Вертер?»

В комнату вошла сестра.

— Старичок, седой такой, лежит у окна в третьей палате, — жалуется, что не может помочиться. Что ему посоветовать?

— Спроси, сколько ему лет. Потом придешь и скажешь мне.

Сестра вышла. Он снова заходил по комнате, упрямо меряя ее по диагонали твердым шагом. Потом подошел к застекленному шкафчику с тускло поблескивающими никелированными инструментами, привалился к нему плечом и,

стоя так, продолжил свой мысленный разговор с умершим: «Так-то, мой бедный Вертер. Интересно, каким образом ей это удалось? Ревность? Обман? Изводила тебя чем-то, о чем я не знаю и мне уже никогда не догадаться? Почему ты раньше этого не сделал? Несколько лет назад, когда мы оба были моложе? Все прекрасные порывы молодости потом кажутся просто глупостью. Ничего не поделаешь, золотой мой. Мы этим переболели, и я, и ты. И говорю я с тобой сейчас как мертвец с мертвецом. Но все-таки, чем она взяла тебя? Хотелось бы знать, какие такие страсти она в тебе разбудила? Может, я чего-то не знаю? Ох, страсти. Красивое слово. А что такое страсть? Что она означает? Пять лет назад, приехав в эту дыру, я был совсем другим. Иначе думал, чувствовал, говорил. Не догадывался, что кроме злости и отчаяния от жизни ждать нечего. Бродил по грязным улочкам и мечтал, как этот городок будет выглядеть через двадцать лет. Мысленно возводил дома, прокладывал новые улицы, строил стадионы, парки, школы, музеи и общественные туалеты. Сносил костелы, крушил распивочные и строил трудовые лагеря для алкоголиков; я собирал с неба звезды и рассеивал ими тьму ради всех и каждого в отдельности. Мне до всего было

дело. Как ты думаешь: может это иметь что-то общее со страстью?»

— Доктор, — сказала сестра, входя в комнату. — Он говорит, ему шестьдесят два года.

— Кто? — очнувшись от задумчивости, рассеянно спросил доктор.

— Ну, старичок, который жалуется, что он не может помочиться.

— Ну и что?

— Он сказал, ему шестьдесят два.

— Скажи ему, свое он уже отписал. Пускай не морочит голову.

Девушка снова вышла. В воздухе стоял густой запах дезинфекции; раздражали тишина и яркий свет. Монотонно тикали часы. «Вот видишь, — подумал доктор, — конец прекрасной сказке. А знаешь, как бы выглядел мой дневник сейчас? Пани Икс — выскабливание. Пани Зет — выскабливание. Прошло пять лет с тех пор, как я приехал сюда. Похудел, постарел, стал законченной дрянью. Дзюня В. — выскабливание. Жена товарища Р. — выскабливание. На обед — рубцы с картофельным пюре. Здися хватил удар — кровоизлияние в мозг, жаль мужика, хороший был человек; в больнице батареи чуть теплые — схватил насморк, в пух и прах разругался с

Антеком, в больнице интриги и подлость, в городе — интриги и подлость, в мире — интриги и подлость, в «Астории», что на рыночной площади, — интриги и подлость, на матче «Авангарда» из Бобежиц с «Энтузиазмом» из Кугно — интриги и подлость, жена Вацека — выскабливание, Дзюня симулирует беременность, на обед вчера был вкусный бигос, меня исключили из партии, сломался радиоприемник, черт с ним, с приемником, в больнице не хватает инструментов, четыре дня кряду лил дождь, хозяйский сынок невыносим — сущий дьяволенок, евреи снова воюют с арабами — видно, у тех и других отвратительные характеры, у Владека несет изо рта, Апфельбаум сменил фамилию — теперь он Святослав Каминский, жена Вацека — выскабливание, вчера слегка перебрал, сегодня в клубе профсобрание, а потом лекция «Завоевание человеком космоса», идет снег, светит солнце, тридцать градусов мороза — с ума сойти, на реке встал лед. О-хо-хо, этот Вацек, рубцы с картофельным пюре, рубцы без картофельного пюре. Поляки — народ трагический, поляки — народ прекрасный, евреи воюют с арабами, жена Вацека, Вацекова жена, с ней все кончено — сколько можно. «Аркадию» переименовали в «Полонию», в этом году зима

будет суровая...»

— Доктор, — сказала сестра, — вы собираетесь ему спускать мочу?

— Подождем еще немного. На всякий случай подготовь что требуется. И не стоит за него молиться — на пользу ему это не пойдет.

Послышалось звяканье инструментов.

«Да, — сказал он себе. — А сейчас? Сейчас — как? Ты снова чувствуешь себя обманутым? Как и я? Как и остальные? Неужто и теперь, когда вокруг покой и тишина, ты все еще думаешь, что жизнь тебя обманула? А может, навечно закрывая глаза, ты уже знал, почему все так получилось? Знал, почему во мне так мало веры, надежды, совести, терпения? Возможно, пришел такой момент, когда ты понял все? Почему я скатился, стал ничтожеством, отчего у меня недостало сил дождаться лучших времен? Почему я от всех отвернулся и все отвернулись от меня? Почему живу без веры, без любви? И решусь ли когда-нибудь на то, что сделал ты? Будь ты проклят, чертов сукин сын. Знал бы ты, как я тебе завидую и готов поменяться с тобой местами! Как бы я хотел, чтобы завтра утром это ты проснулся, прочитал свежую газету, и пошел на работу и выслушивал бы жалобы больных

— и никакой любви, никаких желаний, кроме одного — поскорей бы закончился день и можно было заснуть, ничего не чувствовать, не размышлять, не вспоминать о прежнем, не мучить себя всем этим, забыть о совести и не думать о том, что собирался чего-то добиться и не добился, и, наверное, ничего уже не добьешься, потому как устал, чертовски устал; а хотелось бы как раньше, хотелось бы во что-то верить, еще раз во что-то поверить; и наконец осознать, какой свиньей стал, что конченый ты человек и ничего никому уже не сможешь дать, потому что на удивление мало в тебе оказалось веры и сил. Неужели ты все еще чувствуешь себя обманутым? От всего этого тебя избавила твоя страстная, злая любовь, глупый ты, засраный Вертер. Отдаешь ли ты себе в этом отчет? Неужели ты думаешь, я кому-нибудь скажу, что именно поэтому ты покончил с собой? Я тебя слишком любил, старик. Городишко у нас маленький, страшно маленький. А мы, люди, чересчур плохо понимаем друг друга. Ты ведь не хочешь, чтоб теперь стали копаться в твоей жизни? Сплетничать. Издеваться. Строить догадки. Ни к чему это, мой дорогой. Тебе это совершенно ни к чему…»

И вдруг его затрясло. Страх точно стальным

ледяным обручем стиснул голову. Он обвел взглядом белую комнату; посмотрел на часы, на шкафчик с инструментами, на окно, в которое бился ветер, на белую, без единой складочки застланную кровать и почувствовал, что через минуту с ним произойдет что-то непостижимое. Сердце внезапно сдавило, и он ощущал, как оно судорожно сжимается, съеживается, становится слабее и меньше. С трудом переставляя ноги, он подошел к койке и сел, прикрыв глаза.

— У меня все готово, доктор, — сказала сестра.

Он открыл глаза. Она стояла и смотрела на него.

— Иди сюда, — сказал он.

— Что?

— Иди сюда, — повторил он.

Она пристально поглядела на него и села рядом; он дрожал всем телом, как человек до крайности возбужденный, и это ее обрадовало.

— Я не думал, что ты такая, — сказал он после всего. — У таких женщин, как ты, внешность обманчива.

— Хорошо было?

— Да. Очень хорошо.

— Ужасно, правда, что на этой самой кровати.

— Я об этом даже не думал. Мне было хорошо,

и точка.

— Никак не пойму, зачем он это сделал.

— Я тебе скажу, только ты никому не рассказывай.

— Никому не расскажу.

— Он был бухгалтером в одной фирме. Проворовался. В один прекрасный день взял денег из кассы; поехал и пропил все с девками. Об этом узнали. Он так поступил от страха.

Сестра вздохнула.

— Люди делают такие глупости, — произнесла она. — Кончают с собой черт-те из-за чего. Одному денег не хватает, другой вылетел с работы, третьего откуда-то там выгнали, а позавчера, говорят, какой-то старикан потерял месячный проездной и так осерчал, что с горя напился и полоснул себя бритвой по горлу. К чертям собачьим, надоело.

— Одевайся. Пойдем открывать мочевой пузырь старичку.

— Вечно одно и то же, — сказала она, застегивая пуговицы. Ее кукольное личико исказилось злобой. — У кого — мочевой пузырь, у кого — сломанная нога, а если кто и повесится, то исключительно из-за потери каких-то бумажек. Я, когда заканчивала медучилище, и вообразить не могла, что так будет. Доктор!

Он сидел понурившись. Потом поднял голову и посмотрел на нее рассеянным взглядом.

— Да?

— Ну хоть разочек, — сказала она, — сюда привезли бы такого, кто бы сделал это из-за любви. А вам бы хотелось?

— Очень, — ответил доктор. — Страшно хотел бы. — Он встал; снова свинцовой тяжестью навалилась усталость, и он закрыл глаза. — Поторапливайся, — сказал он. — Поторапливайся и не думай об этом. Будем одного из нас возвращать к жизни.

1956

Благословение

Дверь со скрежетом открылась, и в камеру вошел надзиратель. Был он высокий, худой; лицо землистое, под глазами темные круги — его донимала печень, и каждый, кто хоть сколько-нибудь здесь просидел, об этом знал; он сам вечно всем жаловался. Надзиратель громко кашлянул. Человек, сидящий на нарах, посмотрел на него выжидающе.

— Родители приехали, — сказал надзиратель. Голос у него был гнусавый. — Надо идти прощаться.

Сидящий на нарах молчал. Он разглядывал свои руки — большие, корявые, с потрескавшимися пальцами. Такие руки на первый взгляд кажутся неуклюжими и вроде бы неумелыми; нужно увидеть их за работой, чтобы убедиться, сколько всякого разного они умеют.

— Да, — сказал надзиратель и переступил с ноги на ногу. — Прощаться надо идти. Они с утра уже ждут, приехали первым поездом.

Сидящий встал, распрямился. Он был крупный, плечистый, с круглым лицом, и его остриженная под машинку темноволосая голова тоже была

круглая как шар.

— Холодно сегодня? — спросил он. И стал растирать руки.

— Мы через двор не пойдем, — успокоил его надзиратель. — Просто спустимся вниз. Они там ждут.

Вышли из камеры. Надзиратель запер дверь. Пошли по коридору; заключенный впереди, спрятав за спину огромные ручищи. Навстречу двое арестантов тащили парашу. Один помахал конвоируемому и, подмигнув, сказал:

— Привет, приятель.

— Высшая мера, — сказал надзиратель. — Разговаривать запрещено.

Человек с парашей свистнул. Пошли дальше. Круглоголовый сказал:

— Мне во двор уже не выйти?

— Нет, наверно, — ответил надзиратель. Выражение лица у него было страдальческое, с самого утра он чувствовал, что вот-вот прихватит печенку. Они свернули в следующий коридор; шли очень медленно: заключенный в последнее время ходил мало, и у него болели ноги, обутые в тяжелые деревянные башмаки. Он кряхтел и спотыкался. Внезапно сказал:

— Ноги страх как горят.

— О-хо-хо, — вздохнул надзиратель. И пожал плечами. — Теперь уже недалеко.

Заключенный что-то пробурчал; ступать он старался осторожно. Не отрываясь смотрел на стены и вдруг сказал:

— Лампочка перегорела.

— Где? — спросил надзиратель. Оба остановились.

— Там, — сказал заключенный и поднял вверх свою громадную лапу.

Надзиратель поглядел. И вправду, одна из освещавших коридор лампочек не горела. Надзиратель покачал головой.

— Ну скажи на милость, — проворчал он. — Разве это лампочки? Зять мой купил на той неделе три штуки, так две сразу перегорели. Пошел в магазин, обменять хотел, а ему говорят: «Вы что, смеетесь? Мы тут при чем? Какие дают, такими торгуем…» С лампочками теперь беда.

— Сколько стоит лампочка?

— Даже не знаю, — смутился надзиратель. И, насторожившись, спросил: — А тебе зачем?

— Да так.

Надзиратель внимательно посмотрел на него и сказал сердито:

— Идем, идем. Шутки вздумал шутить?

Пошли дальше вдоль закрытых дверей. Возле лестничной площадки дежурные арестанты мыли коридор. С шумом скребли пол щетками, насаженными на короткие черенки; пахло простым мылом и горячей водой. Когда они проходили мимо, один поднял потное лицо и шепнул:

— Браток, кинь чинарик, разживусь — отдам.

— Высшая мера, — сказал надзиратель. — Разговаривать запрещено.

— А кто чего говорил? — завелся тот. — Я, что ли, чего сказал? И не думал даже… — Он бросил щетку и с грохотом отодвинул ведро; надзиратель с круглоголовым прошли. Конвоируемый ступил неосторожно и зашипел.

— Сейчас, сейчас, — сочувственно сказал надзиратель. — Уже немного осталось.

Вошли в канцелярию, а оттуда в комнату, где ждали родители заключенного. Увидев входящих, они поднялись со скамейки.

— Можно поздороваться, — сказал надзиратель, и на его худом лице промелькнуло слабое подобие улыбки, но понять, что он улыбается, мог лишь тот, кто знал про его болезнь. — Можно сидеть. — И сам, поправив ремень с тяжелым пистолетом в кобуре, сел на стул у окна. Заклю-

ченный стоял посреди комнаты и жмурился; тут было гораздо светлей, чем у него в камере. Затем подошел к родителям; сперва поцеловал руку отцу, потом матери.

— Сегодня утром приехали? — спросил он.

— Ну, — ответил отец. Он был высокий, кряжистый; загривок вываливался из тесноватого воротничка; голос у него был зычный даже сейчас, когда-то он почему-то старался говорить шепотом. Сын на него не походил — ни лицом, ни повадками. — Целую ночь к тебе ехали, — строго сказал отец.

— В Ёдлове пересаживались?

— В Росташеве, — сказала мать, — теперь в Росташеве пересадка.

— Угу, — буркнул заключенный. Он норовил усесться так, чтоб полегче было ногам. Прислонился спиной к стене и вытянул ноги. И вдруг сердце у него заколотилось: он испугался, что отец — человек сурового нрава — велит ему встать: не любил отец, чтобы дети разговаривали с ним непочтительно. Заключенный вспомнил об этом и быстро спросил: — А чего там у Сидоровича?

— У Сидоровича? — раздумчиво повторил отец. Помолчал, подыскивая нужное слово, а потом

сказал: — Да ничего — все то же. Лошадь вот только пала.

— Лошадь пала, — обрадовался заключенный. Он мечтал поскорее вернуться в камеру и снять башмаки. — Как же так?

— Пала — и прощай, — сказал отец. — Позвали ветеринара, да поздно, — он почесал в затылке, опять помолчал. Потом сказал наставительно: — К лошади подход нужен.

— Заканчивайте, — сказал надзиратель, поворачиваясь к ним. — Пять минут осталось.

— Это ж лошадь, — торопливо проговорил заключенный и чуть подальше вытянул ноги. — Да-а… Лошадь, лошадь… К лошади главное подход, это точно… Да-а… Ну а уж коли падет, чего сделаешь… Глаз да глаз нужен… Да-а… — Он подумал, что теперь — при прощании — наверняка придется встать, и зашипел сквозь зубы. Спросил поспешно: — А у нас чего?

— Грех жаловаться, — сказал отец. — Хорошо пойдет — к весне корову купим.

— Кончайте, — сказал надзиратель. Встал и подтянул ремень; огромная кобура выглядела смешно на его тощем теле.

— Ну да, — сказал отец. — Не до разговоров сейчас. Сейчас тебе, сын, с Богом поговорить нужно.

Его ты уже. Да. Ну, молись.

Отец поднял вверх руку; надзиратель отвернулся.

— Благослови тебя Господь, — громко сказал отец. — Преклони колена.

Заключенный не шелохнулся.

— Нет, — сказал он, помолчав; ему представилось, какая это будет боль, и при одной мысли в глазах потемнело.

— Преклони колена, сын, — торжественно произнес отец. — Благословение на коленах надо принять.

Заключенный покачал головой.

— Нет, — повторил он. Схватил отцовскую руку и поцеловал. Потом поцеловал мать и вышел вместе с надзирателем. Старики тоже пошли; пересекли двор и очутились на улице. Свернули к вокзалу, откуда через два часа отходил их поезд. Шли, как водится в деревне: отец впереди, мать сзади, поотстав на пару шагов.

— Прямо подменили его, — сказала мать. — Колена не захотел преклонить. — Всхлипнула; старческое ее лицо жалобно сморщилось. — Может, он уже в Бога не верует?

— Первый раз, — сказал отец, точно не веря самому себе. — Первый раз против моей воли

пошел. Но сын-то он хороший.

По дороге старики присели передохнуть в сквере. День был теплый, снег подтаял. По всему — по цвету неба, по чуть заметно набухшим почкам на ветках, по тому, как лоснилась шкура трусящих по мостовой лошадей, как влажно поблескивали рельсы — угадывалось приближение весны. Прохожие расстегивали пальто, дети выскакивали из школ шумными стайками, грязная талая вода с журчаньем сбегала в сточные канавы.

— Такие дела, — сказал отец. — Осенью Метек из армии придет. Будет ему Янеков костюм. До осени только перебиться…

— Янек пошире был, — сказала мать.

— Пошире, пошире… Метек в армии раздобреет, их там кормят как положено… — Отец помолчал, разглядывая свои до блеска начищенные сапоги. — Что ж, — сказал погодя. — Сын он был хороший. Словом не обмолвился, что это я ему велел. Ни словом — до самого конца.

— Ты ему велел? — спросила мать.

— Ну, — сказал отец — выходит, я… — У него вдруг налился кровью загривок. — Мне в доме мелкота не нужна. — Он потряс кулаками. — Я этими вот руками все нажил: землю, дом, жену. На старости лет не стыдно будет людям в глаза

глядеть. Согрешили — ихнее дело. Но неужто жениться на голодранке? Что у ней было за душой? Чего стоит человек без земли? А ничего, не дороже смерти, а то и дешевле. Я хотел для него как лучше. Сказал, пусть положит рядом с кобылой; получится, кобыла ее лягнула. А на него, уже после всего, страх напал; сам убежал, а топор оставил. Я ему в Завадове жену присмотрел. И дом бы имел, и землицу. Но ему эта глянулась. А все равно по моей воле сделал. Хороший был сын. И ничего не сказал. Послушанья сыновнего не нарушил.

— Только б не сильно мучился, — сказала мать и всхлипнула.

— Где там, — сказал отец и хмыкнул сердито. — Смерть — это смерть, и точка. Мало, что ль, людей помирает? Или он смерти не видел? В Глуховицах вон до демократии за одну зиму полдеревни перемерло. А в Завадове? А в Яновицах? С голоду с холоду, небось, хужей помирать. Сын он был хороший, и смерть ему будет легкая. Это ж еще через три дня. Вернемся домой — сходим помолимся, чтоб легко помирал.

— Хороший был, — сказала мать. — Знамо, хороший. — На ее круглом морщинистом лице, однако, появились растерянность и сомнение. —

Хороший, хороший, — ворчливо повторила она. — А почему благословение родительское не захотел принять?

1956

В поисках звезд

Мальчику было девять лет, он был влюблен и знал, что это на всю жизнь. Отцу своему он, кстати, об этом сказал, предварительно попросив никому его не выдавать, но потом, поддавшись отцовским уговорам, открыл тайну и матери, хотя сомневался, что она сумеет его понять. Девочку, которую он любил, звали Эвой, она была моложе его на месяц и двенадцать дней. Эва жила с родителями в соседнем доме и приходила к мальчику по вечерам.

— А пораньше ты прийти не можешь? — спросил он однажды.

— Нет, — сказала она.

— Почему?

— Папа не разрешает. Мне можно выходить из дому только когда темно.

— Я поговорю с твоим отцом, — сказал мальчик.

— Он не согласится.

— Посмотрим.

Они сидели в сарае, где у мальчика раньше жили кролики, пока кто-то неизвестный не вломился ночью и не унес их. Больше разводить

кроликов мальчику не захотелось; он только попросил отца оставить ему сарай, чтоб по-своему там все устроить и чтобы никто никогда туда не входил, и отец согласился, но с условием, что осенью в сарай будут сложены дрова, которые им предстояло вместе пилить. Так оно и стало. Теперь мальчик сидел с девочкой на куче опилок — сыпких, светлых и пахучих; был вечер, тихо, и мальчик слышал стук собственного сердца и слышал, как стучит ее сердце. Когда человеку девять лет, он еще не знает, что такое желание, — тогда желание заменяют любопытство и удивление, вызываемое другим телом, и вот тут-то пересыхает в горле, сердце быстро колотится и волосы на голове встают дыбом, как на собаке шерсть. Но о том, что любопытство сильней желания, мальчик тоже не знал. Он сидел на куче опилок рядом с девочкой, водил руками по ее телу и знал только одно: что влюблен на всю жизнь.

— Приходи завтра пораньше, — сказал мальчик.

— Попробую.

— Ты правда не хочешь, чтобы я поговорил с твоим отцом?

— Папа болен, — сказала девочка. — Может, в другой раз.

— Завтра я уже все буду знать, — сказал мальчик.

— Откуда?

— Расскажет один… мы с ним в школе учились. Обещал завтра зайти. Я ему за это клетки отдам. — Мальчик вздохнул. — Ничего не захотел говорить, пока не увидит клеток.

— Думаешь, он знает?

— Наверняка, — сказал мальчик. — Знаешь, кто это? Надера.

— Надера, — повторила девочка.

— Да, — сказал мальчик шепотом. — Брат того самого Надеры, ну, знаешь. Отец у них железнодорожник; когда уходит из дома, он этого большого Надеру запирает в погребе или привязывает за ногу цепью. Ему уже семнадцать лет. А придет его брат. И все расскажет.

— Думаешь, мы сможем?

— Если только он скажет как. Но он скажет, это точно. Видишь клетки? Мы с отцом сами делали; потянешь за веревочку, и дверцы открываются. — Мальчик вдруг повернулся и посмотрел на девочку, но лица ее не разглядел, в темноте ему только видно было, как поблескивает стоящая в углу пила. — Не будешь бояться? — спросил он.

— Не знаю, — сказала она.

— Когда родишь ребенка, им придется отпускать тебя днем, — сказал он. — Старики твои… Нечего им будет сказать. Ты будешь взрослая и сможешь делать что хочешь.

— Мне надо идти, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Я тебя провожу.

Он едва дождался следующего дня; извелся от нетерпения, злился, но приятель все не приходил. Опять наступил вечер, было темно, они сидели с Эвой на куче опилок, опилки были теплые, согретые теплом их тел, и тогда мальчик услышал свист. Он встал и вышел во двор.

— Почему так поздно? — спросил мальчик.

— Не мог раньше, — ответил тот. — Отец наклюкался и бузил. Только-только заснул. Ну, где твои клетки?

— Идем, — сказал мальчик.

Они вошли в сарай.

— Это брат Надеры, — сказал мальчик Эве. — Того самого, которого отец сажает на цепь. За клетками пришел.

— Мне уже надо идти, — сказала девочка.

— Не хочешь подождать?

Она покачала головой.

— Извини, — сказал мальчик младшему Надере. — У нас секрет. Подожди минутку.

— Посмотрю пока твои клетки, — сказал младший Надера.

— Хорошо.

Мальчик с девочкой отошли в угол.

— Почему ты не хочешь подождать? — спросил мальчик. — Он ведь для того и пришел, чтобы нам рассказать.

— Если я сейчас не вернусь, завтра меня вообще не отпустят, — прошептала девочка. — Ты не знаешь моего отца.

Мальчик сжал ее руку.

— Ладно, — сказал он. — Иди. Я пока тут все приготовлю. Но завтра приходи пораньше.

— А на это много времени надо? — спросила она.

— Не знаю, — сказал он. — Я еще никогда этого не делал. Но ребенок есть ребенок. Тут нельзя тяп-ляп.

Девочка ушла. Младший Надера смотрел ей вслед, пока она не вошла в дом и не закрыла за собой дверь.

— Что за бабеха? — спросил он.

— Так, одна, — сказал мальчик.

— Из Варшавы?

— Да.

— Чернявая, — задумчиво проговорил гость. —

И волосы черные, и глаза.

Мальчик выставил вперед левую ногу, подбородок прижал к груди.

— Тебе не нравится? — спросил он. — Скажи, что она тебе не нравится.

Вместо ответа тот ударил его головой в живот, но мальчик знал своего приятеля и был к этому готов. Отец немного учил его драться, и теперь он подскочил к Надере, ударил сильно два раза и снова отскочил назад, все время помня, что ноги должны работать вместе с руками.

— Я брату скажу, — разревелся тот.

— Не боюсь я твоего брата, — крикнул мальчик; сейчас он верил в то, что говорил; уцепившись за пиджак, он тряс противника. — Я никого не боюсь, никого. — Потом отпихнул Надеру, и тот побежал через двор.

Мальчик вошел в дом, разглядывая на свету окровавленные руки.

— Упал? — спросил отец.

— Нет, — сказал мальчик. — Подрался с братом Надеры.

— Из-за чего?

— Как из-за чего?

— Ты отлично меня понял. Я спрашиваю: из-за чего была драка?

— Не могу тебе сказать, — тихо ответил мальчик.

— Мне не можешь сказать?

Мальчик с умоляющим видом показал на мать:

— Не могу.

— Это другое дело, — сказал отец. — Ложись спать.

А потом, когда мальчик уже лежал, отец присел на кровать и наклонился над ним.

— Ты ему сказал, где живет Эва? — спросил он.

— Он знает, — сказал мальчик.

— А ты знаешь?

— Что, папа?

— Ты знаешь, кто Эва?

— Эва, — повторил мальчик. — Что ты хочешь сказать, папа?

— Ничего, — сказал отец. — Все в порядке. Но Надера этот… Кажется, он работает на немцев. Во всяком случае, люди так говорят. — Внезапно он встал, подошел к шкафу; вытащил оттуда рюкзак, полушубок и лыжную шапку. — Вам ничего не сделают, — сказал он. — А мне лучше на пару деньков исчезнуть. — И повернулся к матери: — Сходи к ним, скажи, что неплохо было б на несколько дней отсюда убраться. Боюсь я этих

Надер. Может, я и не прав, но лучше переждать.

Мать ушла.

— Знаешь, папа, — сказал мальчик, засыпая, — Надеру этого отец, когда уходит, сажает на цепь. А раз даже запер в погребе, и Надера просидел там целых три дня. — Потом он про Надеру забыл; подумал только с сожалением, что не узнал того, о чем хотел узнать, и что Эве придется еще некоторое время подождать и выходить из дома только в сумерках. Он уже не слышал, когда вернулась мать.

— Ну что? — спросил отец.

— Не хотят уходить, — сказала мать. — Некуда, говорят, им идти. И все равно рано или поздно это должно случиться. — Она смотрела на толстые темные пальцы отца, затягивавшие шнуровку рюкзака. — Ты все-таки хочешь уйти?

— Вам я ничем не смогу помочь, — сказал он. — И не тронут они вас, я уверен. А их расстреляют.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Рано пока об этом говорить, — сказал отец. — Кончится война, тогда подумаем. Возможно, Бог сохранит немцев — да, конечно, он их сохранит. Я считаю, изо всех народов они особенно нужны Богу, вот он их и сохранит. Чтоб все люди знали и нутром чувствовали, как выглядит зло. Для того

только, чтобы легче было выбирать добро.

— Нельзя так говорить, — сказала мать. — Если ты когда-нибудь вернешься в школу, то, надеюсь, не этому будешь учить.

— Я был плохим учителем, — сказал отец. — Но кое-чему, кажется, научился сам. Когда война окончится, я буду об этом говорить. А пока пойду их убивать и буду молить Бога, чтобы он их сохранил. Я вам дам знать. — Он закинул рюкзак на плечо, подошел к кровати и поцеловал мальчика. Потом подошел к печке, осторожно вынул один изразец и вытащил завернутый в промасленную тряпку пистолет. — Возьми завтра гипс и обмажь вокруг, — сказал.

— Иди с Богом.

— С Богом. И скажи ему, чтоб смотрел во все глаза, как их будут убивать. Пусть смотрит и учится. И пусть запомнит на всю жизнь.

Отец вышел, тихонько притворив за собою дверь. Но мальчик спал крепко и не слышал, как уходил отец. Он даже не слышал, как они подъехали к дому в четыре утра; не слышал их голосов, и как они дубасили в дверь, и как лаял пес; крепко спал, не подозревая, что они рядом, знать не зная, какой шум они подняли в четыре часа утра. Проснулся только, когда мать потрясла

его за плечо, и сел в постели: отдохнувший, чуткий, как звереныш.

— Одевайся, — сказала мать.

— Сегодня ведь воскресенье, — сказал мальчик.

— Да, — сказала мать. — Потом снова ляжешь, а пока вставай.

Мальчик оделся и вышел во двор. Побежал было к машине, но мать схватила его за руку. Она стояла на крыльце старого деревянного дома и шумно дышала, а мальчик чувствовал тепло ее ладони.

— Что сейчас будет, мама? — спросил он. — Что-нибудь случилось? — Мать не ответила, и тогда он повторил еще раз: — Что-нибудь случилось?

Посмотрел на капот машины, блестящий от росы, на лежавшего с высунутым языком пса и на дула винтовок; потом негромко свистнул, и пес насторожил острые уши. Полицейский, который стоял в стороне, вышел вперед и сказал:

— Идите за нами.

— Куда вы нас ведете? — спросила мать мальчика.

— Да тут рукой подать, — сказал полицейский. — Посмотрите и вернетесь домой.

— Я пойду одна, — сказала мать. — Не нужно

ребенку смотреть на такое. Вы должны меня понять.

Полицейский заколебался. Потом нехотя пробурчал:

— Приказ такой. Сказано: всем смотреть. Чтоб неповадно было.

Они пошли за полицейским и немцами. Мать продолжала держать мальчика за руку, и ему было стыдно; раз-другой он попытался высвободиться, но мать держала крепко. Мальчик жалел, что нету отца; отец бы никогда так не поступил. Самое большее, положил бы ему руку на плечо, и выглядели бы они как два приятеля, возвращающиеся с работы домой.

Потом они остановились и смотрели, как Эвин отец и хозяин, у которого он жил, роют яму, работая лопатами быстро и молча. Мальчик увидел Эву, которую ее мать тоже держала за руку, и рванулся к ней; но мать оказалась сильнее. Ну и он стоял и смотрел. Видел, как один из немцев подошел к плачущей Эве и погладил ее по голове.

— Не плачь, малышка, — сказал немец. — Знаешь, кто мы?

— Кто? — спросила Эва.

— Мы искатели звезд, — сказал немец. — Ищем желтые звезды. — И приказал полицейскому:

— Принесите ей куклу.

— Куклу? — удивился полицейский.

— Да, — сказал немец — Какую-нибудь игрушку.

Полицейский вошел в дом и через минуту вышел, держа плюшевого медвежонка.

— Сколько ей лет? — спросил немец у Эвиной матери.

— Восемь.

Немец дал Эве игрушку; теперь она стояла с медвежонком в руке.

— Ну, — сказал немец. — Не бойся. Знаешь сказку про волка и семерых козлят? Нет? Однажды мама-Коза сказала своим детям: «Никому не открывайте, пока я не вернусь», — и ушла. Тогда к дому подошел волк и постучал лапой в дверь. «Кто там?» — спросили козлята. А он им: «Это я, ваша бабушка». «А почему, бабушка, у тебя такой грубый голос?» — спросили козлята…

Полицейский подошел к нему и сказал:

— Готово. Раздеваться им?

— Нет, — сказал немец.

Полицейский протянул к Эве руку.

— Дай-ка сюда мишку, девочка, — сказал он.

— Почему вы у нее отбираете? — спросил немец.

— Я ребенку хотел, — сказал полицейский.

— А вы не видите, что это тоже ребенок? — сказал немец. — Странный вы человек. Как не стыдно.

Потом они возвращались домой, и мальчик, плача, радовался, что все же с ним мать, а не отец. При отце он бы стеснялся плакать, а не плакать не мог, как ни старался. На следующей неделе партизаны убили Надеру и его старшего сына; какой-то молодой человек среди бела дня на вокзальном перроне застрелил немца, а какая-то еврейская семья покончила с собой — легла ночью на рельсы; мальчик все это знал, обо всем слышал и постепенно забывал. Время от времени он, правда, плакал, особенно когда вспоминал, что теперь у него никогда не будет жены и детей — ведь он уже однажды поклялся в верности; и что любовь — она ведь на всю жизнь.

1962

В день смерти Его

Мы жили в бараке — всего-то пятьсот-шестьсот метров от моря, но добраться до нас было не просто — приходилось сначала идти по песку, в некоторых местах проваливаясь по колено, а потом через поле, заросшее сорняками; сорняки были высокие, колючие, высохшие однажды и навсегда, даже не верилось, что они зацветают и отцветают, как любые другие растения в этой стране — дикие, яркие, иногда неожиданно расцветавшие средь ночи и средь ночи замиравшие; никто не знал, ни как они называются, ни кому принадлежит это поле; да еще Лена, жена Гриши, упорно твердила, что там водятся змеи, хотя я ни единой змеи ни разу не видел, и вообще, трудно было поверить, что хоть какой-то каналье захочется жить там — среди песка и мертвых стеблей. Так или иначе мы постоянно говорили о змеях и о том, что, быть может, они все-таки водятся там; вот и сейчас, когда раскаленный автобус резко тормознул на остановке и сонные пассажиры полетели вперед, мы: Гриша, я и один старикан, живший неподалеку от нас, — вышли из автобуса, а потом шли через поле и говорили о

змеях. Было около пяти часов пополудни, но жара не спадала, ни ветерка не доносилось с моря. Огромная, неподвижная масса воды не давала прохлады и не освежала нас, бредущих вверх по песку, словно по краю света.

— В такую жару ничего не стоит простудиться, — сказал семенивший рядом старик. — В жару как раз проще всего. Ступишь в тень, тебя и прохватит. И конец. Не забывайте об этом, господа. И всегда носите майки.

— Вот вам майка не нужна, — мрачно сказал Гриша. — Вам, небось, что так, что эдак — все равно.

Но это неправда: старик пуще нашего цеплялся за жизнь. Он лелеял идиотскую мысль; племянник, то ли его самого, то ли его жены, несколько лет назад эмигрировал в Америку и стал известным режиссером. Это точно: он сделал кучу хороших фильмов, и его денег хватило бы в несколько слоев оклеить наши бараки, до которых все еще оставалось около трехсот метров. И старик ждал; он облепил стены своей комнаты фотографиями племянника: Билли у автомобиля, Билли во время съемок, Билли с женой, сыном и двумя черными как смоль пуделями, Билли в Венеции и Билли в Калифорнии. Старик писал ему

длинные письма, в которых жаловался на нас, на соседей, на полицию и на глупость властей и тактично давал понять, что не отверг бы его помощи. Но Билли отвечал редко, денег не слал, и старик продолжал вырезать из газет снимки приземистого лысоватого мужика с холодной улыбкой и лепить их на стены.

— Ну как? — сказал Гриша и ткнул меня в бок. — Ответ пришел?

— Ах, — сказал старик; он задыхался, стараясь не отставать от нас, а Гриша нарочно шел так быстро, что и я запыхался. — Эта почта. И при том, что самолеты так быстро летают. В каком-то французском городе письмо с одной улицы на другую шло четырнадцать лет, я сам читал в газете. Никто ни о чем не хочет думать. В прежнее время такого быть не могло.

— Это верно, — сказал Гриша. — Но знаете что? Неотосланные письма всегда чертовски долго идут.

— Вы думаете… — начал старик.

— Ничего я не думаю, — прервал его Гриша. — Пишите на здоровье. И от нас передавайте пламенный привет.

Вдруг с кучи мусора сорвалась какая-то собака и, клацая зубами, кинулась ко мне; я пнул ее в

костлявый бок, у нее в груди что-то хрястнуло, но она не отставала. Рычала на бегу и лязгала зубами, пытаясь ухватить меня за коленку, и ее слюна повисала на стеблях, словно паутина бабьего лета; наконец Гриша хватил ее камнем по голове.

— Чья эта паскуда? — сказал он. — Еще ребенка покусает!

— Не бойся, — сказал я. — Это она из-за меня. Все собаки меня ненавидят. Я в жизни ни одной не обидел, а они все равно ко мне цепляются. Бывает же! Один бульдог как-то за мной целых два километра гнался.

— Так тебя ненавидят? — сказал Гриша.

— Это что, — сказал я; стыдно признаться, но так все и было на самом деле. — Я полдня могу рассказывать, сколько натерпелся из-за этих тварей.

Тут еще одна собака кинулась с дороги к нам; оставив кость, которую грызла, она, выкатив глаза, бросилась прямо ко мне, шерсть у нее на загривке встала дыбом. Выла она так, словно вот-вот должен наступить конец света и ей одной выпала честь оповестить мир об этом печальном событии; я изловчился и так ее двинул, что она пулей вылетела на середину поля, у меня даже

нога заболела. И обе собаки завыли.

— Ну и ну, — сказал Гриша. — А еще говорят, что собаки чуют хорошего человека.

Он взглянул на меня, я прочел любопытство в его раскосых глазах.

— И так всегда? — спросил он.

— Всегда, — ответил я. — Еще ни одна не осталась ко мне равнодушной.

Потом мы пошли ужинать: Гриша, его жена Лена, я и их двухлетняя дочурка, тоже Лена. Мы звали ее маленькой Леночкой. В тот день Лена открыла последнюю банку тушенки; мы молча глядели на сковороду, а мясо с шипеньем уменьшалось в размерах и выглядело все более убого. Банка стоила два фунта шестьдесят пиастров, а мяса на сковороде почти не осталось, так, два жалких кусочка. Кошке бы не хватило. Мы молча переглянулись, мяса уже почти не было видно, и тогда Лена с отчаянием в голосе сказала:

— На всех не хватит, я не смогу его разделить.

— И что теперь? — сказал я. — Может, после целого дня беготни с Гришей в поисках работы мне следует вспомнить про какое-нибудь срочное дело и удалиться? Да, Гриша?

— Прости ее, — сказал Гриша. Он смерил жену тяжелым взглядом, и его раскосые глаза еще

больше сузились. — Она не виновата. Ей этого не понять.

— Я не смогу его разделить, — упрямо повторила Лена.

— И не надо, — сказал Гриша. — Что его делить, это говно. — Он снял с плиты сковородку и пинком отворил дверь барака. Широко размахнувшись, выбросил мясо, оно шлепнулось в темноте, и в ту же секунду я услышал, как собаки с рычанием набросились на него. Сидя за столом в желтом свете лампы, я представлял, как они пожирают его и как ощетиниваются их мерзкие, худые загривки. Но, конечно, это была всего лишь игра воображения; они проглотили мясо молча, враз, как глотали все, что находили на выжженном солнцем, захламленном поле; неизвестно откуда появлявшийся мусор останется там, вероятно, до скончания веков.

— Ну вот, — сказал Гриша, ставя сковороду на плиту. — Как-то спросили у казака, что он сделает, если его выберут царем. «Украду десять рублей и дам деру», — говорит. Не расстраивайся, Лена, из любого положения можно найти выход.

— Но ребенок… — сказала Лена.

— Мне в ее годы приходилось не слаще, — сказал он.

Выпив пустого чаю, мы вышли на воздух, Лена осталась дома. Мы присели у барака на теплый еще песок и закурили. Рыбачьи суда, широким полукругом разбросанные в море, перемигивались бледными огоньками.

— Послушай, Гриша, — сказал я. — Сегодня я говорил с одним типом, он хочет купить у меня пистолет. Так я продам. На черта он мне.

— Не нужно, — сказал Гриша. — Не продавай оружие.

— Продам, — повторил я. — На черта он мне.

— Не нужно, — сказал он. — Оружием не торгуют. И в конце концов, это все, что у тебя есть.

Это правда, у меня был только пистолет, который я привез из Европы, Библия и фотокарточка одной шлюхи; я хранил карточку, потому что девица на ней была похожа на другую шлюху, в которую я когда-то был слегка влюблен; впрочем, может, и не слегка, а по-настоящему. Но сейчас это было не важно, важно было другое: мы оба целых два месяца сидели без работы, и в последний раз я плотно позавтракал в Яффе, в тюрьме. Я не мог думать о любви — в отличие от Гриши, но Гриша — русский, а русские не меняются, им до всего есть дело. Ну а я, я поляк, и мне было все безразлично, а может, я зашел еще дальше за

грань отчаяния и за грань гнева. Люди не представляют, сколько в них равнодушия и каким безразличным все может стать однажды. И слава Богу, что не представляют.

— Слышь, — сказал Гриша. — Опять здесь шлендают. Он протянул руку во тьму, и я увидел их желтые, злые глазища, вспыхивающие и гаснущие, как фонари. — Ждут еще подачки.

— Нет, — сказал я. — Они прибегают сюда из-за меня. Честное слово, Гриша, только из-за меня. Один Бог знает, за что они меня так ненавидят.

— Кто их разберет, — лениво сказал Гриша. Он со знанием дела глубоко затягивался, докуривая сигарету, потом швырнул окурок в темноту и повернулся ко мне. Мне почудилось, уж не знаю почему, что он глядит на меня как-то особенно внимательно и строго.

— А пистолет не продавай.

Завыли собаки, сначала одна, за ней — другая; они выли на луну — огромный оранжевый шар, балансирующий у самой поверхности спокойного, ясного моря. Я ощущал их, наверное, так же, как они — меня; я чувствовал, как свою, их сожженную солнцем шкуру и острое их дыхание, вечный голод и ярость, направленную на меня, всегда на меня, словно именно я создал эту

страну и выгоревшие на солнце поля, поля без единого деревца и без тени, лишенные всякой живности, кроме разве скорпионов и змей, которых все боялись. Мы с Гришей сидели молча, ветра по-прежнему не было, только слышался шум моря и собаки пробегали в темноте, шурша лапами по замусоренному песку. Да еще это их окаянное рычание.

— Ну и ну, — сказал Гриша. — В жизни не видел ничего подобного. Может, ты все-таки ухайдокал одну, а остальные как-то об этом пронюхали?

— Нет, — сказал я. — Честное слово, Гриша, не было ничего такого. Чего нет, того нет.

Мы сидели так еще около часа, а потом приехал тот человек на своем грузовике. Мы продолжали сидеть на песке у барака, а он, не погасив фар, вышел из машины и направился к нам.

— Добрый вечер, — сказал он.

Он стоял перед нами, держа под мышками целую кучу бутылок пива. Мы не ответили, ни Гриша, ни я. Было темно, но мы знали, как он выглядит: молодой, здоровый мужчина, которому недавно стукнуло тридцать; он начинал полнеть, но и полнота у него была молодая и здоровая. Просто хорошо откормленный мужик, вот и все, жена могла бы гордиться им. Да вот беда: жены-

то у него не было. У него намечалась лысинка, и можно было увидеть, естественно только днем, нежное, как у ребенка, темечко. Зато сейчас слышалось, как он пах: у одеколона, которым он пользовался, был такой сильный запах, что казалось, перед вами не человек, а цветущий луг с олеографии.

— Что же ты не здороваешься, Гриша? — сказал он.

— А пошел ты, — сказал Гриша. — Нечего здесь ошиваться. Я-то знаю, чего ты здесь рыщешь.

Бутылки с пивом под мышками у прибывшего нежно звякнули; я вдруг почувствовал жажду, почти что боль в горле, и Гриша, я уверен, чувствовал то же самое.

— Послушай, Гриша, — сказал мужик. — Со следующей недели могу предложить тебе работу. Триста пятьдесят фунтов в месяц За Беэр-Шевой. Согласен?

— А ты, значит, каждый вечер сюда, — сказал Гриша. — Иногда и на огонек заскочишь, чтобы передохнуть чуток. И поболтать с моей Леной. А я, значит, вкалывай за Беэр-Шевой и шли ей деньги, так, что ли?

Он хотел сплюнуть, но бутылки снова нежно звякнули, и у него пересохло в горле; он как-то

смешно зашипел, и это вывело его из себя.

— Уйди отсюда, сволочь, иди, легавый пес, блатная морда!

Я ничего не видел; бутылки в темноте загремели о камни, и я вдруг почуял горький запах пива. Закрыв лицо руками и выставив колено, подтянутое к подбородку, я рванулся вперед; он как раз собирался ударить Гришу, но мне повезло: я угодил ногой ему в живот. Он всхлипнул от боли, но ему было все нипочем — крепкий был мужик; он, как котенка, отшвырнул Гришу, но Гриша тоже не из последних; теперь, подняв кулак вверх, словно молот, он бросился ко мне, но я увернулся, и он снова налетел на Гришу; упав на землю, они покатились к бараку, и фанерная стенка затрещала. Подскочив к ним сзади, я сцепил руки, чтобы врезать ему по шее, но тут чьи-то острые зубы вцепились мне в ногу, и это меня сгубило: стоило на мгновение отвернуться, как наш гость так хватил меня по скуле, что я полетел под забор, в пыль, потянув за собой свору скулящих собак. Больше я ничего не помню, кроме собачьего визга. Позже, как сквозь туман, донесся до меня рокот отъезжающего грузовика.

Я очнулся не скоро; Гриша держал мою голову на коленях и платком вытирал с губ кровь. В

ушах у меня шумело, будто я только что вышел из самолета после многочасового полета. Я облизал губы и попытался встать, но не смог, ноги были как ватные, и я тяжело повалился на землю.

— А все потому, Гриша, что собака хватила меня за ногу, — сказал я, стуча зубами. — Я утратил ориентацию.

— Да ладно уж, — сказал он.

— А то мы задали бы ему перцу, — сказал я. — Эх, не успел я врезать ему по шее, он бы у меня как миленький лег. Знаешь, Гриша: сцепить руки и как будто рубишь дрова. Меня один десантник научил. Но эта тварь вцепилась в меня.

Он, не отвечая, молчал; я видел только его жесткий профиль.

— Все равно, больше он сюда не сунется, — сказал я. — А жаль. Мы бы ему показали, где раки зимуют.

Гриша вполоборота повернулся ко мне; его светлые раскосые глаза блеснули, как у кота.

— Нет, — сказал он. — Ничего бы мы не показали. И знаешь почему? А потому, что нам с ним не справиться. И знаешь, почему не справиться? А потому, что мы два месяца не ели по-человечески, каждый дурак с десятком таких, как мы, разделается в два счета. — Он помолчал, потом

добавил: — Да ты не переживай. Приедет он сюда. Еще раз приедет. А после — все, больше никогда.

Гриша поднялся и помог мне встать. Он открыл дверь и втолкнул меня в барак; в резком желтом свете я увидел правую сторону Гришиного лица: опухшую щеку и подбитый, страшно вытаращенный глаз. А потом я долго лежал в постели, и передо мной в темноте маячило его разбитое лицо; я проваливался в сон и снова возвращался к действительности, вызванный из небытия воспоминанием о его лице. У меня продолжало шуметь в голове, и его лицо снова и снова выплывало из темноты, а потом я вдруг вспомнил одного немца, у него на плече была татуировка: женское лицо и под ним кощунственная надпись: «Прейдут земля и небо, но лик Твой пребудет вовеки». Это были святые слова, но немец служил во французском торговом флоте, а еще раньше прошел с Роммелем пустыню, и ему было наплевать на святыни мира сего. Потом мне стало мерещиться, что у немца было вытатуировано не лицо женщины, а лицо Гриши, такое, каким я его недавно увидел — разбитое и опухшее лицо с издевательски вытаращенным глазом. Я никак не мог уснуть; слышно было, как плачет Лена и как выговаривает Грише, что он понапрасну извел целую кучу

мяса, не ту малость, что на наших глазах исчезала на сковородке, но целую гору мяса, которую можно было бы есть нескончаемо долго; и было слышно, как она умоляла Гришу отодвинуться от нее подальше со своим страшным лицом и не приставать, а потом, уже на пороге моего сна, я услышал, как он поборол ее сопротивление, и как Лена плачет от унижения, и подумал, что Гриша — все-таки сильный мужик, а то, что произошло час назад, — случайность, и так мне было приятно слышать ее плач, и я уснул.

На следующее утро мы побрились несколько позже обычного, Гриша залепил глаз пластырем, мы съели по тарелке овсяных хлопьев, заправленных маргарином, Гриша поцеловал хныкавшую, еще теплую со сна Леночку, и мы вышли из барака. Тот старикан, племянник которого уехал в Америку, нас уже поджидал. Он был чисто выбрит и выглядел опрятно: на шее косынка, а на куцых брючатах — старательно наведенные стрелки; мы в своих грязных штанах хаки и пропитанных потом рубахах смотрелись рядом с ним как кочегары.

Старик держал письмо.

— Вы ведь пройдете мимо почтового ящика, — сказал он. — Так я попрошу вас об одолжении.

И протянул пухлый тяжелый конверт; видно, писал полночи, покашливая и утирая слезы. Я хотел было взять письмо, но Гриша меня остановил.

— Мы пойдем к шоссе на Хайфу, — сказал он, — а там нет никаких почтовых ящиков. Придется вам прогуляться самому.

Старик, недовольный, отошел, а я вопросительно посмотрел на Гришу.

— Ей-богу, не понимаю, зачем нам это шоссе? — сказал я. — Целых три километра лишку, а ведь автобус останавливается у нас под самым носом.

— Ну и что, — сказал Гриша. — Извини, не знал, что у тебя срочное дело. Мы все равно до девяти никого не поймаем, иногда не мешает и погулять.

— Так ведь три километра, Гриша.

— Ну да, — сказал он. — Такая прогулка благотворно отразится на твоих потрепанных нервах.

Мы пошли через поле к шоссе, а потом шли по берегу моря через обширный пустой пляж; еще никто не купался, и пляж был красивый и чистый; потом мы снова поднялись на гору, повернули налево и пошли через район, в котором проживали дипломаты — в небольших аккуратных домиках, прятавшихся в гуще фан-

тастических цветущих деревьев; у каждого дома перед калиткой стояли бутылки молока, перед некоторыми — по три и даже четыре, из чего можно было сделать вывод, что у дипломатов полчища детей. Мне сделалось как-то не по себе из-за маленькой Леночки, и я покосился на Гришу; он тоже глядел на бутылки молока, но с таким видом, словно ему на них наплевать. Мне захотелось взять камень и, ничего не объясняя, расколотить их все до единой — хладнокровно и методично. Но я не мог себе этого позволить; отправляясь в город, мы надеялись, что уж сегодня обязательно что-нибудь да придумаем. Эта надежда питала нас каждый день на протяжении целых двух месяцев.

Домики были такие нарядные и такие чистенькие, что казалось, там живут куклы, а не люди. Гриша остановился у одного из них, вынул из кармана жестяную коробочку с запечатленным на крышке бородатым капитаном и ни с того ни с сего уселся под оградой, привалившись спиной к решетке и вытянув ноги аж на середину дороги.

— Садись, — сказал он. — Покурим.

Я присел чуть поодаль, на камень; было только начало восьмого, но камень уже порядком нагрелся и припекал мне зад.

Гриша, приметливый черт, усмехнулся.

— Что? — сказал он. — Боишься повалить ихнее хозяйство? Так ведь у них не убудет.

— Я что-то не жажду, чтобы меня обложили последними словами, — сказал я, усаживаясь рядом с Гришей и тоже опираясь о решетку. Мы закурили, и у меня на душе полегчало. Я сидел развалившись рядом с Гришей и раздумывал, как немного надо, чтобы наслаждаться жизнью в этой стране. На первых порах по приезде сюда я искренне считал, что мне здесь не нравится. Но пожив подольше и побольше узнав, понял, что ошибался. Дело в том, что я, сам того не подозревая, любил этот край. И всегда буду любить. Я люблю поля, над которыми взлетают и кружатся султаны воды; и апельсиновые рощи, пахнущие так сладко, что боишься в это поверить; и пологие холмы Галилеи; и внезапно возникающие на горизонте маленькие городишки, жители которых, арабы, умудряются говорить на десяти языках, на всех одинаково плохо и одинаково бегло и важно. Я верю, что здесь обитает Бог и что Он никогда отсюда не уходил. Пусть десять новых бед обрушится на эту страну, я все равно буду верить в это, потому что только здесь ощущал Его. Мне захотелось рассказать обо всем этом Грише, я

повернулся к нему, и тут у меня от страха сердце оборвалось, я облился холодным потом, и в горле пересохло, будто за всю свою жизнь я не выпил глотка воды.

Передо мной стоял пес, огромный, как теленок, только куда страшнее, — сущий дьявол, разве что без рогов. Он был черный как смоль и лохматый; лапы толстенные, а какие зубы, догадаться было несложно по заросшей квадратной морде. Этих собак я знал, это был ризеншнауцер, порода редкая и очень дорогая; с ризеншнауцерами ходят на охоту, так как они не боятся воды, а во время войны эти фигляры из СС использовали их как полицейских собак — они пострашнее овчарок. Мне привелось увидеть, как ризеншнауцер бросился на человека, вцепился в горло и, повалив на землю, одним махом распорол спину несчастного.

— Значит, — сказал я Грише, — продолжения не будет.

И вот теперь такой пес стоял в двух шагах от меня и вилял коротким хвостом. Я не шевелился; сигарета обжигала мне пальцы, но я боялся бросить ее, пусть лучше сама выскользнет. Осторожно подтянул к себе ноги: если пес попытается схватить меня за горло, я, выпрямив ноги, отшвырну его. Но он стоял смирно, непонятно чего

дожидаясь; перед носом у него пролетела муха, и он небрежно щелкнул пастью. Потом, чуть-чуть толкнув, мокрым квадратным носом потянулся к моей щеке и старательно меня обнюхал. Я, к его удивлению, не пошевелился, и он раз и другой пихнул меня толстой лохматой лапой — видно, это его забавляло; потом отскочил на метр и залаял густым басом, и тогда я увидел его огненно-красный язык. Наконец он побежал прочь, подскакивая на бегу и повернув ко мне косматую морду, будто я обманул его ожидания, не ответив на заигрывания. Я набросился на Гришу.

— Что же ты, дубина, трудно было взять камень? — сказал я. — Тюкнул бы его по башке, и вся недолга. Он меня чуть не загрыз, а ты сидишь, будто кол проглотил.

— Скажи это себе, — ответил Гриша. — Ты и сам мог бы взять камень и тюкнуть его.

— Я и моргнуть-то боялся.

— А я что? И я боялся.

— Откуда только взялась эта паскуда? — сказал я. — В жизни не видал такой громадины.

— Красивая собака, — сказал Гриша. Он заметно злился, наверное, стыдно было, что струсил. Искоса поглядел на меня: — А ведь цапни она тебя…

Он помотал головой и, не закончив фразы, снова злобно посмотрел в сторону, явно избегая моего взгляда, и я снова подумал, что ему стыдно. Жалко мне его стало.

— Ну пошли, Гриша. Да ты не расстраивайся. Ведь все обошлось.

— Обошлось, — сказал Гриша.

Мы шли к автобусу, а эта тварь бежала за мной; не за Гришей, не за нами, а за мной, чтоб ей пусто было. Я и не оборачиваясь знал, что в один прекрасный момент она кинется на меня сзади и свалит с ног. На остановке она даже толкнула меня разок, а когда наконец подкатил автобус и мы поехали, еще долго бежала за нашей развалюхой и лаяла.

Пассажир, стоявший рядом со мной, удивленно сказал:

— А у вас красивая собака.

— Очень красивая, — сказал я, вытирая пот. — Аж жуть берет. Хотите, уступлю?

— Боже упаси, — испуганно замахал руками пассажир. Но было видно, он что-то взвешивает про себя. — А много она жрет?

— Две бутылки шампанского и банку икры в день, — сказал Гриша. — Зато за жену можете быть спокойны, уж она ее укараулит.

— Хамство какое!

— Сам напросился.

— Видно, вы здесь недавно.

— Недавно, — ответил Гриша. — Но уже успел отсидеть за членовредительство. Не так уж там и плохо.

Пассажир обиделся и, обращаясь ко всем сразу, начал громко вещать, что прежде все было иначе, и что люди друг с другом разговаривали уважительно, и что дом можно было не запирать, никогда ничего не пропадало. Решетки на окнах появились после войны, с прибытием новых эмигрантов. Лично он прокладывал здесь дороги и болел малярией, в то время как Гриша жил в Европе как у Христа за пазухой; тогда Гриша посоветовал прислать ему счет за свою малярию, он, мол, посмотрит, чем может помочь, а потом стоявший рядом солдат, смуглый и мускулистый, спросил меня, почему мы, евреи, обязательно затеем свару. Я сказал, что не знаю, и так мы доехали до Тель-Авива. Когда я вышел из автобуса, у меня все еще дрожали коленки, и я сказал Грише:

— Больше той дорогой не пойдем. Эта тварь второй раз своего не упустит.

На улице Кинг-Джордж мы увидели субчика,

про которого знали, что у него есть блат и что он может подыскать нам работу. Субчик сидел в маленьком кафе и что-то ел, а что именно, лучше не уточнять. Он с набитым ртом говорил Грише, что сейчас как никогда трудно с работой, что понаехало много новых эмигрантов и непонятно, куда их рассовать. Есть и говорить он закончил одновременно и, глядя на нас невинным взором, подождал немного, а потом снова набил рот едой и заговорил. Ему, мол, ужасно неприятно видеть двух молодых людей без работы, впрочем, когда он сам приехал в эту страну, здесь не было ничего, кроме малярии и стычек с арабами, он, однако, как-то пережил это.

— Проехали, — сказал Гриша. — Куда ты можешь нас пристроить и за сколько? Я тут твой треп слушать не собираюсь.

Субчик проглотил огромный кусище и сказал без запинки:

— Триста фунтов.

— Только и всего? — спросил я.

— Триста, — сказал он и показал на меня пальцем. — За вас обоих. Получите постоянную работу.

— Триста фунтов тебе, — сказал Гриша. — А сколько будем зарабатывать мы?

— Восемь с половиной фунтов в день, — сказал он. — Ставка такая.

— Значит, горбатиться за каких-то двести двадцать в месяц. Да еще ты хочешь триста.

— Я хочу? — изумился субчик. — Я хочу спокойно покушать. Это вы хотите. Пожалуй, вам надо обратиться в посредническое бюро по трудоустройству. Так, наверное, будет лучше. Уж они вам найдут работу. — Он поднял палец и показал на разбитое Гришино лицо. — Попал в аварию?

— Нет, — ответил Гриша, — с дочкой играл.

Я пододвинул к себе стул и уселся рядом с субчиком. Он слегка отодвинул тарелку.

— Ладно, — сказал я. — Ты получишь свои триста фунтов. А когда мы сможем начать работать?

— Когда? — повторил он. — Завтра. Заплатите сегодня, и я вам прямо сегодня все и устрою. Завтра начнете.

— Послушай, — сказал я. — Мы с ним в последний раз видели триста фунтов в кино, в рекламе государственной лотереи. Поработаем месяц, и ты получишь свои башли. Идет?

Я протянул ему руку, подождал немного, а потом Гриша изо всех сил ударил меня по руке, и она отлетела в сторону.

— Мы еще увидимся, — сказал Гриша.

— Само собой, — сказал субчик. — Почему бы и нет. Как только разживетесь тремя сотенками.

Вот и все; с тем мы и ушли; если бы не Лена, можно было бы вернуться домой, но нельзя прийти в десять часов утра и сказать, что у нас ничего не вышло; это был бы полный предел. Вот и приходилось возвращаться после четырех, вместе с закончившими работу людьми, и делать вид, что мы просто падаем с ног от усталости. Пожалуй, нет ничего мучительнее, чем притворяться измученным — в некоторых случаях. Впереди было еще несколько часов, и мы пошли нашей обычной дорогой — в сторону моря.

— Он, в общем-то, неплохой, — сказал Гриша. — Просто по-другому не умеет. И, помолчав, добавил: — Он, должно быть, со всеми такой.

— А ведь ты сам хотел смазать его по роже.

— Ну да, — сказал Гриша, — и не только его.

— Послушай, Гриша, — сказал я. — Он хочет триста фунтов. Давай продадим пушку. За нее мы получим сто двадцать, а то и сто сорок фунтов, остальное возьмем в долг. Через день-другой приступим к работе, и все будет о'кей.

— Не надо, — сказал он, — не продавай оружие.

— На хрен тебе пистолет, — раздраженно ска-

зал я. — Во что ты будешь стрелять?

— Найдется во что, — ответил Гриша. — А вдруг эта сволочь ничего не сможет для нас найти? Что тогда? Или слиняет с нашими башлями, где мы будем его искать? Мало, что ли, я видел таких умников? Господи ты Боже мой, сколько я их видел. Подожди пока.

— Я и так уже невесть сколько жду, — ответил я. — А у тебя, Гриша, жена. И маленькая Леночка.

— Вот и ты женись, — говорит он. — Тогда у нас все будет поровну. Тем твое сердце и успокоится.

— Сейчас побегу и женюсь, — сказал я. — Но только на чуть-чуть.

Мы попрощались у моря; Гриша спустился на пляж, а я пошел в сторону улицы Яркон, чтобы найти одну девушку. Это оказалось несложно, я увидел ее издалека: она сидела на террасе загаженного кафе и курила с таким видом, что род ее занятий не вызвал бы сомнений и у пятилетнего ребенка. Она была по-настоящему красивая, и это все усложняло. Усложняло, потому что ее было жалко. Я вообще-то шлюх не жалею, потому что превратиться в шлюху нельзя, ею нужно родиться; шлюха так и умрет шлюхой, а все прочее на эту тему — просто плохая литература. Поэтому мне их не жаль, и, может быть, поэтому они

меня и любили. Мне доводилось слышать, как они слезливо исповедовались разным дуракам, пребывавшим в той или иной стадии опьянения, а потом пересказывали все товаркам и подыхали со смеху. Они вообще любят рассказывать. И есть о чем. При всем при том понять, когда они лгут, легко, и это приятно: ведь это тебе не родная жена, которой так и хочется поверить, даже если она заявит, что на посещение зубного врача у нее ушло пять часов, а вот где находится его кабинет, она никак не может вспомнить. К шлюхам относишься по-другому.

Но эту одну мне было жаль, потому что она была настоящая красавица. Я ничего не мог с собой поделать. Опять-таки я уже пару месяцев жил с ней и был ей должен кучу денег, может, отсюда возникла эта новизна ощущений. Все может быть.

— Ну как? — спросила она, когда я присел за стол на неправдоподобно грязный стул с плетеным сиденьем и закурил. — Опять ничего?

— Ничего, — ответил я.

Я глотнул из ее стакана какую-то сладкую мерзость; официант принес пиво «Голд стар», которое я всегда тут заказывал и всегда за ее счет, я выпил горького, крепкого пива, и мне сразу

полегчало. Официант подмигнул, как бы говоря, что уважает меня и мое мудрое отношение к жизни и что он сам охотно стал бы альфонсом, но по причинам, неизвестным ему самому, никак не может решиться; потом он ушел. Она тянула через соломинку эту свою липкую пакость, не знаю, что это было, прежде мне пить такое не доводилось.

— Ну так как? — спросила Ева. — Поедешь со мной в Иерусалим?

— Нет, — ответил я. — Попробую еще кое-что.

Она усмехнулась.

— Тебе никакой работы не получить, — сказала она. — Во-первых, ты турист, и у тебя нет разрешения на работу. Во-вторых, ты совсем не знаешь языка. Никто тебя не возьмет, это ясно, да и потом, таких, как ты, пруд пруди. Я уж не говорю про то, что ты ничего не умеешь.

— Я пять лет работал шофером, — сказал я. — И на машинах похуже здешних. Мне только нужно найти место, Ева. Машину водить я еще не разучился.

— В этой стране каждый дурак умеет водить машину, — сказала она. — И такую работу найти труднее всего, потому что за нее к тому же лучше всего платят.

Я и без нее это знал; шоферы здесь живут как короли и зарабатывают больше всех. Этот гад, что вчера намял нам с Гришей бока, тоже шофер; вспомнив об этом, я скрипнул зубами.

— Если хочешь, можем еще поговорить на эту тему, — сказала Ева. — Ты, наверное, не знаешь, так я тебе скажу, что водителей здесь больше, чем машин. — Она отбросила соломку и снова глотнула таинственную жидкость.

— Ну что?

— Нет, Ева, — ответил я. — Я с тобой не поеду.

К нам подошел официант и сказал:

— Тут один тип хочет поговорить с тобой. Он сидит за вами.

— Скажи, что я занята, — сказала Ева, даже не обернувшись: она была самой красивой проституткой в тех краях и могла, даже не поморщившись, потерять двадцать фунтов. А вообще-то он мог и подождать; если ему приспичило, то должен был знать, что лучше Евы не найти. — Значит, не хочешь быть сутенером? Не хочешь?

— Не хочу, — сказал я. И поспешно добавил: — Я тебя люблю. Я люблю тебя, но сутенером не буду. Порыпаюсь еще. В конце концов я найду работу. — Прозвучало это как-то не слишком убедительно, и я еще раз с мукой в голосе повторил,

переживая при этом за сидевшего сзади типа. — Я тебя люблю.

— А как там Гриша?

— Так, живет помаленьку. — И вдруг без всяких предисловий я сказал: — Послушай, Ева, мне нужно триста фунтов. Я могу получить работу, есть тут один субъект, он может помочь. Но, сволочь, все деньги сразу ему выкладывай.

— Поедем в Иерусалим, — сказала она. — Всё. И хватит со мной про деньги.

Она вынула из сумочки фунтовую банкноту и положила на стол, хотя счет вряд ли превышал шестьдесят пиастров.

— Пошли, — сказала она.

Я сидел как сидел. Не люблю задавать лишних вопросов и, Бог мне свидетель, никогда не любил. Я ждал, что она сама догадается. Ева сказала:

— Не бойся, я еще ни с кем не была.

Мы вышли; сидевший за нами тип злобно засопел, но не сдвинулся с места; он был человек стойкий и решил подождать.

Первый он будет или второй, ему было все равно. Ну а мне — нет. Не говоря уж о чем другом, но хотя бы в тот день, когда мы вместе, я должен быть первым. Был у нас с ней такой уговор, Ева мне поклялась — в первый наш день в борделе,

подмываясь при этом с истинно кошачьей грацией. Я, может, и поехал бы с ней в Иерусалим, ибо идея стать сутенером в святом городе казалась мне незатасканной; но я слишком хорошо знал Еву. Я знал, что еженощно после тяжелой своей работы она будет прыгать ко мне в койку, рассчитывая, что я буду цацкаться с ней, как с целкой; так оно и будет, потому что для них это способ очищаться. Увы. В этом смысле все они одинаковы и ни для кого не делают исключений.

Это нелегкий кусок хлеба, а они — бабы жесткие, куда жестче наших жен и дочек или матерей. Сколько мы ни ходили с Евой, всегда только по главной улице, хотя я не раз ей втолковывал, что куда приятней ходить по боковым улочкам и что пальмы там напоминают мне о Палермо. Но она на это чихала и, повиснув у меня на руке, вместе со мной продиралась сквозь толпу, останавливалась у витрин, читала вывешенные на дверях ресторанов меню — пусть все видят, что у нее тоже есть свой мужик, свой собственный киренеянин, и, значит, она может поплевывать свысока на презрение всего мира. Этим киренеянином был я. Повторяю: это черствый кусок хлеба, тут нужны крепкие зубы и хорошая кровь. Я, например, никогда не мог разобраться, сколько

человек побывало у нее в постели: пять, десять или все двадцать, а она словно наперед знала, если мне случалось сделать ходку налево. Размышляя об этом, я шел по улице Бен-Иегуда в первом часу дня, термометр показывал сорок градусов в тени, а меня трясло от злости. Только позже, в гостинице, вернулось ко мне хорошее настроение. Я любил глядеть, как, скинув с себя цветастые тряпки, она ходит по каменному полу и курит сигарету за сигаретой. Она была изящна, как кошка, и знала об этом. Ноги длинные, грудь — как у негритянки и ангельское личико. Только глаза были угрюмые, злые, словно прокляла она всех и вся. А имя было хорошее: Ева. Я лежал на чистой, шуршащей простыне и глядел на нее; я уже порядком устал — тоже свидетельство в ее пользу: не каждая женщина может в сорокаградусную жару измучить мужчину, даже мужчину, не евшего по-человечески целых два месяца.

— Хамсин идет, — сказала Ева.

Я встал, завернулся в простыню и подошел к окну. И правда, море потемнело, а пыльные деревья на улице казались изваянными из гипса; деревья и их тени — всё замирало. Люди шли торопливо, стараясь прошмыгнуть под низкими маркизами лавок.

— Он может продлиться целых пять дней, — сказал я.

Глядя вниз, на улицу, Ева сказала:

— Поедем со мной в Иерусалим.

— Не поеду.

— Сдохнешь ведь тут.

— Ничего. Не сдохну.

Она подошла к постели. Легла, сложив руки под головой. Я закрыл окно. Если надвигается хамсин, так вроде полегче. Полегче, но все равно можно сойти с ума. Я еще раз глянул вниз, на улицу; даже на пятом этаже чувствовался жар раскаленного асфальта.

— Мы первый раз в этом номере, — сказал я. — Почему ты не попросила портье дать нам нашу комнату на втором этаже?

— Да ну ее, — сказала Ева. — Там напротив поселилась старая дева. Знаешь, такая застенчивая фанатка секса. А я не люблю доставлять удовольствие задаром.

— Тут лучше, — сказал я. — Видно полгорода. И море. И Яффу.

— В Иерусалиме еще лучше, — сказала Ева. — В полдень слышно, как с мечети сзывают верующих на молитву.

И совсем другим тоном:

— Но ведь тебе не хочется ехать, верно? Может, и говорить об этом не стоит?

— Не стоит.

— Не хочешь жить со шлюхой, — сказала она. — Думаешь найти себе кого получше. Ерунда. Ничего у тебя не выйдет. Все бабы — шлюхи, а все мужики — клиенты. Это и есть любовь. Но ты не будешь клиентом, ты будешь сутенером. А впрочем, тебе-то не все равно?

Шлюхи считают своим долгом высказываться в самых мрачных тонах, не понимая, что их размышления никого не интересуют. Ум у них девственный, будто судьбой определено кое-что им возместить. Я замечал также, что они ужасно любят рассуждать о похоронах и о смерти и с детским упрямством лелеют мысли о смерти и о своем теле, опочившем среди цветов и оплаканном товарками.

— Мне нужно триста фунтов, Ева, — сказал я. — Одолжи или дай так. Ведь у Гриши жена и ребенок. Подумай о ребенке.

— А жена у Гриши красивая? — спросила Ева.

— Не знаю. Пожалуй, красивая.

— Ну так приведи ее завтра вместе с Гришей, — сказала она. — И пусть оденется понарядней. А вечером будут у вас триста фунтов. Я ей помо-

гу. Мне тоже в первый раз помогла одна такая, как я.

— Если ты меня любишь… — начал я.

— Дам. В Иерусалиме, — сказала она. — И не триста фунтов. А три тысячи. Может, и больше. Днем будешь ходить плавать, а по вечерам будем развлекаться вместе. Но в Иерусалиме.

— Гриша скорее ее убьет, — сказал я.

— Но против меня-то Гриша не возражает? Он хороший друг, даже не спросит, откуда деньги, чтобы ненароком тебя не обидеть. Он любит жену, ты любишь меня, так какая тебе разница?

— Берешь меня на содержание? Так что ли, Ева? — сказал я.

— Я тебя люблю, — сказала она. — Шлюхи тоже могут любить. Если не веришь, спроси у Гришиной жены.

Ну вот, все они такие. Как упрутся на своем, с места не сдвинешь. Жизнь для них — драма, скука им неведома.

— Давай больше не будем об этом, — сказал я. Лежал рядом с ней, и снова охватывал меня жар, и я тщетно старался не думать о толстом, потном, терпеливом человеке, дожидавшемся ее в кафе.

— Я у тебя первый, — тихо сказал я. Она промолчала, и я почти крикнул: — Первый! У тебя не

было никого, кроме меня. Ни разу в жизни.

Она молчала; я изо всех сил ударил ее по лицу — раз, другой, и тогда она сказала:

— Да.

Потом Ева ушла, а я немного вздремнул. Меня разбудил голос, доносившийся из-за стены. Набожный сосед молился вслух. Я лежал тихо, прислушиваясь. Он, похоже, был стар; чувствовалось, молитва утомляет его, часто ему не хватало слов. В этом было что-то жуткое и по-настоящему высокое, и я лежал неподвижно, зная, что никогда не забуду ни этот день, ни молитву за стеной, ни голос старика, которого я никогда не видел и никогда не увижу. Снаружи творилось что-то невообразимое, сейчас хамсин ощущался и здесь, в комнате; я задыхался, у меня колотилось сердце. Небо посерело, и как сталь неподвижно было море. Отчаяние и усталость охватили всех: тех, кто приехал сюда, и тех, кто здесь родился. И не было исключений: жар и мгла накрыли страну, ее море и пустыню. В хамсин, случалось, умирали звери и птицы и почти всегда умирали люди. Засыпая снова, я подумал сквозь сон, что в такой вот день умирал Иисус. И тут не пощадило Его небо; так, может, Он один, один-единственный, поистине шел своим путем до самого конца. Я

лишился всего: у меня больше не было никого и ничего; но я, по крайней мере, мог думать об этом, лежа здесь, в этой постели, в душном номере, пусть портье уже пару раз толкался в дверь, потому что номер был нужен другим мужчинам и другим женщинам; и я был счастлив, что мог думать о Нем в день смерти Его. И никто не мог мне этого запретить. Никто. Ни мне, ни кому-то другому, где бы мы ни были и кем бы ни стали. И потому прейдут земля и небо, но лик Его пребудет вовеки.

И снова на следующее утро Гриша настоял, чтобы мы пошли на хайфское шоссе.

— Но ведь там пес, Гриша, — сказал я. — Ты же знаешь, как собаки меня любят. Не дай Бог эта тварь кинется, я ведь костей не соберу. Можешь смеяться, но с меня хватит неприятностей.

— Ну и что, что пес? — сказал он. — Ведь он-то тебя не тронул. Что ты чушь городишь? А мне вот приятно пройтись поутру.

Я подумал, что, может, и в самом деле его не будет, может, он там вчера оказался случайно. Но он был: в то же время, что и вчера, стоял посреди дороги, словно мы загодя по телефону договорились о встрече. Я хотел свернуть в сторону, но он уже заметил меня. Подбежал вприпрыжку,

встал на задние лапы и положил мне на плечи тяжеленные лапы. Я прямо не знал, что и делать; набравшись храбрости, погладил его по брюху. Ему понравилось, он радостно заворчал, лизнул меня огненным языком, а потом пошел за нами к автобусу.

— Знаешь, Гриша, — сказал я, — кажется, я пришелся ему по душе. Ему одному из целого миллиарда собак. Это хорошая примета.

— Не такая хорошая, как тебе кажется, — сказал Гриша.

— Почему?

— Сволочь псина, — лениво сказал он. И криво усмехнулся: — Мне так больше всего жалко шакалов, — сказал он.

— Почему?

— Потому что им вовек отсюда не выбраться, — ответил он и погрозил псу кулаком. — А твой пес уедет. И всюду будет чувствовать себя распрекрасно.

— Почему это он должен уехать? — спросил я, в тот день впервые подумав, что Гриша сошел с ума. — Почему он должен уехать, с чего ты взял?

— Ни с чего, — сказал Гриша.

В бюро по трудоустройству Грише сказали, что пока ничего подходящего для него нет, но не

надо волноваться. Потом мы, как вчера, пошли в сторону моря и договорились встретиться на остановке автобуса в шесть. Я взял у Гриши парочку сигарет и отправился разыскивать Еву. В кафе ее не было, но официант меня знал и принес бутылку пива. Не прошло и пяти минут, как ко мне подошел какой-то тип.

— Мне бы хотелось, приятель, поговорить с тобой, — сказал он. Он сел; я сразу понял, с кем имею дело. У него были свои девочки, и, должно быть, давно. Я научился их распознавать; оденься такой хоть кардиналом, я ни с кем сутенера не спутаю. Они всегда обращаются к тебе с этакой профессиональной доверительностью и буквально прилипают взглядом к твоему лицу.

— Ева — твоя женщина? — спросил он. — Я не ошибся? На тебя работает?

— Допустим, — сказал я. — А тебе не все равно?

— Дельце есть, — сказал он. — Можно неплохо заработать. А ведь тебе, милок, деньги нужны.

Я сразу понял, к чему он клонит, и рассмеялся.

— Хочешь, чтобы я ее кой-куда упрятал на время? — сказал я. — Верно говорю?

— Точно, — сказал он. — Ева живет в Иерусалиме. Вот пусть там, где живет, и ходит в город. Ездить на автобусе в Тель-Авив и ловить здесь

клиентов — штука не хитрая, никому ведь не запретишь влюбиться в девушку и пойти с ней в гостиницу. Так ведь?

— Натурально, — сказал я. — Увы, в моем возрасте самое приятное в любви — жратва. Так что на эту тему со мной говорить бесполезно.

— Вот-вот, — сказал он, словно не слыша меня. — К такой девушке не придерешься. Она потом как ни в чем ни бывало возвращается в Иерусалим, где никто или почти никто ничего об этом не знает, и строит из себя порядочную. А что делать нашим девушкам? Тем, которые ходят здесь?

— На хрен мне сдались ваши девушки, — сказал я. — В этом мире все хотят трахаться. Кое-кто останется и на вашу долю.

— Ты не прав, милок, — сказал он. — Зря так думаешь. Вот ты, например, в прошлом году пять месяцев работал на стройке, не имея разрешения, и никто тебе не сказал ни слова, хотя все об этом знали. Почему ты бросил работу?

Я протянул к нему правую ладонь; в 1944 году в нее угодила пуля и выхватила кусочек кости, а потом я еще сломал руку в этом самом месте.

Я не могу ни сжать кулак, ни поднимать тяжести; и вот сейчас он держал мою ладонь в

своей сильной горячей руке и внимательно ее разглядывал.

— Тебе нужна легкая работа, — сказал он.

— Спасибо за участие, — сказал я.

— Я тебе помогу, — сказал он.

— Мне поможет Ева, — возразил я. — А у ваших баб появится время, чтобы соскрести мозоли с задниц.

Он положил руку мне на плечо.

— Ева ничем не отличается от них, — сказал он. — Все они поначалу были такими. Она-то думает, что в один прекрасный день встретит простофилю, который на ней женится, возьмет заработанные ею деньги и ни о чем не вспомнит. Но вот ты, например, ты ведь не из таких, верно я говорю? Ты ведь на ней не женишься и жить с ней вместе не будешь, а значит, гроша ломаного от нее не увидишь. Не твое это дело. Бросай, хватит с тебя. — Он снова положил руку мне на плечо. — Никому неохота быть сутенером. Но стоит разок поскользнуться, так всю жизнь на заднице и проедешь. Говорю, бросай. Ты поможешь мне с Евой, а я дам тебе денег, хватит на пару месяцев. А за это время, глядишь, работу подыщешь. Бросай, прошу тебя.

Глаза у него были припухшие, тяжелые, он

глядел на меня и улыбался.

— А ведь я даю тебе шанс, — сказал он. — Что ты, что другой — мне все равно. Для меня это всякий сделает. Только я вижу, что тебе больше всех нужно. Ты еще можешь найти что-то свое, свой хлеб есть. Ну а Ева все равно ходить здесь не будет.

— Что вы ей сделаете? — спросил я.

— Да так, — сказал он, — что-нибудь сделаем. Что потребуется, то и сделаем. Но тебе с этого уже ничего не обломится.

Он тяжело двинулся прочь; вообще, он был тяжелый, вялый, но, похоже, мужик неплохой. Наверное, была у него жена и ребенок, и, наверное, когда-то его сбили с ног, и с тех пор он так и не оклемался.

— Загляни как-нибудь вечерком, — сказал он. — Выпьем, развлечемся. А захочешь, пойдем в кино. — И вдруг беспомощно признался: — Ох и люблю я кино. Больше всего на свете. Ладно, надумаешь, приходи, — сказал он. — Я обычно сижу вон в том кафе. — Он махнул рукой в сторону моря. — Спроси Бен-Ами, а если меня не будет, подожди немного.

— И не жаль тебе Еву? — спросил я, чтобы слегка его подразнить. — Такая молодая, такая

красивая, а ты хочешь упрятать ее в кутузку. Неужто тебе ее не жалко?

Он склонился надо мной; духом от него шибало крепче пива и табака. Но это был дух здорового человека.

— Жалко, — ответил он. — Жалко. Даже больше, чем тебе. Ты ведь не сутенер. Для тебя это так, на раз. А для меня — на всю жизнь.

Он вышел. Я подождал часок или немного побольше, но Ева так и не появилась. Показывая официанту на пустую бутылку из-под пива, я сказал, что жена, как придет, заплатит, и официант успокаивающе махнул рукой, как бы давая понять, что всё в кафе к моим услугам. Я любил бывать в этой забегаловке, восемь месяцев назад я тут познакомился с Евой. Как сейчас помню: она сидела за столиком возле музыкального автомата, а я — здесь, на террасе. Я знал, что она проститутка, но все равно она мне ужасно нравилась. У меня в кармане не было и двух фунтов, но я решил попытать счастья и подошел к ней.

— Пойдем со мной, — сказал я.

— Куда ты хочешь пойти?

— Не знаю. Наверное, в гостиницу.

— А за номер заплатишь?

— Нет, — сказал я. — Вряд ли.

— Как же так? — сказала Ева. — За номер платит мужчина, так принято. Ты что, не знаешь?

— Знаю, — сказал я. — Естественно, знаю. Но у меня ни гроша. Да я и не хочу идти с тобой за деньги. Я ведь этого не говорил.

Она взглянула на меня, и тогда я впервые увидел ее глаза, хмурые, как у ночной птицы. Мне было известно, что она истеричка, и я боялся, что она шарахнет меня бутылкой по голове или выкинет еще какой-нибудь фокус. Но ничего, обошлось. Она просто глядела на меня, а я стоял и улыбался.

— Значит, — сказала она, — хочешь по любви?

— Да, — ответил я. — Именно так.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно, — ответил я.

Словно что-то зажглось в ее глазах. Тогда я подумал, что мне, наверное, почудилось, но сейчас убежден, что так и было.

— А ты знаешь, чем я занимаюсь?

— Знаю.

— И тебе это не мешает?

— Еще как мешает, — ответил я. — Но ведь можно влюбиться в девушку, даже если что-то мешает. Впрочем, вечно что-нибудь да мешает.

— Ладно, — сказала она.

И мы пошли. Сначала прошлись по дороге, ведущей в Яффу, по тихой улочке, там молоденькие солдатики учились водить машину; пообедали в кафе, где жарят только что выловленную рыбу, а потом вернулись в Тель-Авив, и Ева привела меня к одной старой ведьме, у которой снимала комнату на день; туда приходили ее клиенты. Ева пошла в комнату, а мы с ведьмой сидели на кухне и слышали все, что происходило за стеной.

Так поступила со мной Ева; видно, подумала, что я над ней подшутил, и решила мне отомстить. Не так уж и много происходило за стенкой, но ничего приятного в этом не было. Не было.

— Почему вы такой худой? — спросила меня ведьма. — Может, у вас чахотка?

— Нет, — ответил я.

— Вид у вас такой. Мой брат тоже так выглядел. Ему было восемнадцать лет, когда он умер.

— Как жаль, — сказал я. — Зато вы хорошо сохранились.

— Скажете тоже, хорошо, — заворчала она. — У меня двусторонняя грыжа. Предлагают оперировать, но я не соглашаюсь.

— И правильно делаете, — решительно сказал я.

Она подозрительно глянула на меня.

— А почему?

Тут вошла Ева. Ее клиент мылся в туалете, фыркая как конь. Я подумал про себя, что если он начнет насвистывать арию тореадора, я не выдержу и дам ему в зубы. На Еве был незастегнутый халатик, и я впервые увидел ее ноги. Она села ко мне на колени.

— Ну как? — спросила она.

— Никак, — ответил я. — Вот разговариваем с хозяйкой.

— Поцелуй меня, — тихо сказала она, а клиент продолжал фыркать в туалете. Я поцеловал ее, но глаза у нее были открыты, все время открыты, и мне казалось, что мое лицо рассматривают в микроскоп.

Потом пришел следующий; за стеной снова торговались, Ева нарочно говорила громко, чтобы мне тоже было слышно. Она советовала ему валить к родной матушке, а он плаксиво настаивал на двадцати пяти фунтах. Наконец договорились.

— Вы, наверное, не слишком сильный, — сказала старуха, меряя меня презрительным взглядом. — Да и больной, только говорить не хотите. Но я-то вижу.

— И что вы видите?

— Будет вам, — сказала она, — это сразу видно. С моим братом тоже так было. Вы и похожи на него.

— Ах, Боже мой, — сказал я. — Страшное дело. Но в то время не было лекарств.

— Что лекарства, — сказала она. — У меня вот грыжа, никакие лекарства не помогают.

— Так сделайте операцию.

— Какая там операция, — снова заворчала она. — Мне семьдесят лет. Помирать пора.

— О Господи! — испуганно сказал я. — Не надо так говорить. Это страшно.

За стеной все закончилось, и Ева опять вышла ко мне. Теперь я сам поцеловал ее, и теперь она закрыла глаза. Старуха пошла сменить простыни, и я слышал, как она распекает незнакомого мужчину, а он тем временем ползает на карачках по комнате, пытаясь разыскать какую-то упавшую вещь.

— Ну, — сказала Ева, — любишь меня?

— Конечно, — ответил я. — От тебя зависит со всем этим покончить.

— И ты можешь это стерпеть?

— Ты и представить себе не можешь, сколько всего я могу стерпеть, — сказал я. Что-то в этом роде я слышал вчера в ковбойском фильме с

Аланом Ладдом. И повторил, не сводя мрачного взгляда с масленки, стоящей на столе. — Никто не знает, сколько может вытерпеть.

Потом я опять сидел с ведьмой, и она рассказала, что лет пять назад у нее вырезали полжелудка, а может, и все три четверти, и ей приходится часто ходить в туалет, а гости Евы мешают — «интересно, чем они там занимаются». Мне ничего не стоило объяснить ей, чем они занимались, и я до сих пор не знаю, почему этого не сделал. А потом ушел третий клиент, и Ева снова вышла ко мне. На этот раз ей не хотелось, чтобы я ее целовал. Она вдруг зарыдала, сползла рыдая с моих колен и, лежа на полу, продолжала плакать — никогда ни прежде, ни потом я больше не слышал, чтобы кто-нибудь так плакал. Так могли бы плакать мертвые, приведись им восстать из смертного сна, чтобы жить по-новой.

Старуха снова поменяла простыню, а Ева все рыдала, лежа нагая на каменном полу.

Я смотрел на часы: прошел час, потом еще час. Наконец Ева сказала:

— Ни за что бы не поверила, что ты выдержишь. Ни за что.

Я поднял ее с пола и какой-то тряпкой отер ей лицо. Я и сам не представлял, что смогу это

выдержать; о Господи, вот уж не думал, что я такой стойкий и что способен вынести так много чужого несчастья.

Я глянул на пустую бутылку из-под пива, помахал официанту и пошел к морю. Гришу я не застал; русский старик, который держал на пляже лавку, сказал, что Гриша был и ушел, но обещал вернуться. Я разделся и лег на песок; было жарко, хамсин длился второй день, море оцепенело — обычно в это время года волны подкатываются к бетонной набережной. Люди попрятались по домам, никто не купался, только я и еще пара-тройка туристов, не желавших признаться в своем поражении и бессильно лежавших под адским солнцем, прикрывшись газетами — «Нью-Йорк геральд трибюн» и «Джуиш кроникл». Эту публику я не терпел; они были назойливы и крикливы и в своих одеждах «сафари» выглядели смешно среди здешних уроженцев, прекрасных женщин и атлетического сложения мужчин, людей серьезных и скромных, которые знали, что такое тяжелый труд, умели веселиться как дети и молча умирали на всех границах Израиля. Глядя на тех и других, трудно поверить, что они принадлежат к одному народу. Думаю, те, кто родился здесь, тоже не очень-то верили в это,

да и не удивительно. Каждый день на границе погибали молодые солдаты, я постоянно читал, постоянно слышал об этом. Если этот народ когда-то постигнет беда, то, я верю, враги войдут в пустую страну, где не останется ни мужчин, ни женщин, ни детей. Родившиеся здесь сознавали трагизм своей судьбы, хотя я ни разу не слышал сетований от них самих; и потому тем труднее было мне, чужаку, слоняться по этой стране — без работы и без ощущения причастности; я знал, что тут на меня никогда не будут рассчитывать и что я никому не нужен. В другой стране я б и задумываться об этом не стал.

Гриша пришел около трех, разделся и прыгнул в воду — он готов был плавать даже тогда, когда другой будет целый час размышлять, стоит ли повернуться с боку на бок. Я в жизни не встречал человека сильнее Гриши; он был худой, если не сказать тощий, но весь как из железа. И еще живучий как кошка, а ведь позавчерашний тип задал нам хорошую взбучку.

Гриша вышел из моря; влажная кожа блестела на солнце, от головы шел пар. Лег рядом.

— Хочешь выпить? — спросил он.

— Ясное дело, не откажусь, — сказал я. — Но хорошо бы сначала поесть.

— И не мечтай, — сказал Гриша. — Я могу выцыганить у старика бутылку коньяка. Но никакой жратвы у него в лавке нет. И вообще, зачем тебе есть? Скорее словишь кайф, если примешь натощак. У нас в Одессе, случалось, парни пили водку под горячий суп, чтобы побыстрее закосеть.

— У вас в Одессе, — сказал я. — Давай.

Гриша встал; даже не взглянув ему вслед, я продолжал лежать на горячем песке. До меня доносились их голоса. Гриша начал с подходцем, издалека, обработать человека он умел; словно большой артист, который верит в себя и знает, что ему есть что сказать, он с толком, с расстановкой разрабатывал тему.

— Жарко сегодня, — начал Гриша.

— Да, жарко, — подтвердил старик.

— У нас в Одессе-маме тоже так бывало, — говорил Гриша. Старик тоже был из Одессы.

— Что ты, — обижался старик, — разве же там стояла такая жара? Ведь дохнуть нечем.

— Выпить хочется, — деликатно намекал Гриша.

— Э, выпить, — говорил старик. — В хамсин пить не стоит. Выпьешь стакан-другой, и пошло-поехало. Никак не остановиться. Я на твоем месте подумал бы о здоровье.

— Дайте бутылку в долг, я на неделе отдам.

— Ну нет, — ответил старик. — Знаешь, Гриша, это ведь про меня сказано: дружба дружбой, а денежкам счет. Я в кредит не отпускаю.

— Да, дяденька, вас тут как подменили, — с горечью отвечал Гриша. — В Одессе бы вас не узнали.

Перестав прислушиваться, я закрыл глаза; впрочем, их роли я знал назубок. Кончалось всегда одинаково: старик разражался страшными ругательствами и давал Грише в долг. Ругаться-то они оба были мастера и свои роли исполняли серьезно, благоговейно, не прерывая друг друга, словно два опытных актера на театре. Русские наделены ощущением собственной живописности, и это в них прекрасно.

Потом Гриша лег рядом и разлил по стаканам. Старик, высунувшись из лавки, прокричал вдогонку, что, мол, грех обманывать земляка, и замолк. Коньяк обжег огнем горло, и я вздрогнул, второй стакан пошел как по маслу. Мне сейчас было ни до чего; покой был во мне, и покой был в мире; оцепенелое море, солнце в дымке и застывшие тени пальм на берегу; в мире не было ничего, только в бессильной муке лежала сжигаемая солнцем земля, и ветер ни единым дуновением

не остужал ее.

— Хамсин может продлиться все пять дней, — сказал я Грише. — Так мне почему-то кажется.

— Бывало и по восемь.

— И что?

— А ничего, — ответил он. — Выжили. И у моря, в общем, полегче.

— Полегче, — сказал я. — А ведь некоторым плевать на хамсин, они его не чувствуют.

— Не бойся, почувствуют, — сказал Гриша. — Поживут тут с мое и почувствуют. Мне тоже сначала было наплевать. Хамсин, он на всех действует. К нему приспособиться невозможно.

— Он умер в такой же день, — сказал я, глядя на прикрытое мглой солнце.

— Кто умер?

— Он.

Мы снова выпили; туристы возмущенно поглядывали на нас из-под простыней «Нью-Йорк геральд трибюн» и «Джуиш кроникл»: мы не вписывались в картину, которую они привезли сюда в своих душах. Гриша заметил это и, осклабившись, помахал рукой, приглашая выпить с нами, но они делали вид, что ничего не видят; словно рыбы, выброшенные на берег приливом, белые, истомленные, они развалились на лежаках и

изнемогали под солнцем.

— Помнишь «обезьяньего капитана»? — вдруг спросил Гриша.

— Еще бы, — сказал я. — Мы познакомились в Эйлате.

— А его судно помнишь?

— Помню. Гроб, годился для прогулок вдоль побережья и только; он на нем отправился за обезьянами то ли в Абиссинию, то ли еще куда. А что? Есть новости?

— Никаких, — ответил Гриша. — Я о нем сегодня расспрашивал. Пропал без вести со своей посудиной.

— А обезьяны? — лениво спросил я. — Обезьяны тоже пропали без вести?

Он должен был привезти обезьян, а вот зачем, я не помнил. Кажется, для каких-то исследований, в общем, что-то в этом роде. Колоритное было путешествие.

— Никто не знает даже, добрался ли он до места, — сказал Гриша.

— Добрался, — сказал я.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — сказал я. — И обезьян купил. А на обратном пути его судно потерпело крушение. Он теперь в одиночку гребет домой. Правда, о

полном одиночестве говорить не приходится. Груз ему удалось спасти. И сейчас он с обезьянами плывет домой: ему обещали за них крупную сумму, а они над ним издеваются. Но он не сдается. Капитан — один на один с вечностью, он да обезьяны. Так и плывет. Правда, за время пути он слегка повредился в уме, иногда ему кажется, что у него растет хвост. Но он не складывает оружия. Таким и должен быть настоящий человек.

— Послушай, — сказал Гриша. — Ты пистолет не продал?

— Не продал.

В шестом часу мы возвращались через наше поле домой, и, естественно, рядом семенил старичок, тот самый, у которого в Штатах племянник Билли. Старикан рассказывал нам, с какой нищеты начинал его Билли, как перебивался с хлеба на воду, зато теперь он — важная персона, с ним приходится считаться. Билли прислал ему свое последнее фото, и старик показывал его нам: Билли сидел в позе роденовского «Мыслителя», и жирный его подбородок фалдами свисал между пальцев. На дворе было сорок пять градусов, и я подумал, что никаких бы денег не пожалел, чтобы в такой вот день встретить Билли и, ни слова не говоря, съездить ему по роже. И тогда

мимо проехала большая машина, обдав нас ржавой пылью.

— Это он, — сказал Гриша.

— Ты думаешь? — как дурак сказал я.

Он не ответил и правильно сделал: эту машину, огромный десятиколесный американский «уайт», я узнал бы даже в аду, как узнал бы и его водителя; он всегда во время езды беспечно высовывал из кабины ногу, обутую в сандалию. Глаза у Гриши еще больше сузились, лицо окаменело; мы шли молча, старик и тот примолк; и, как обычно, не прекращая тихо ворчать и ощетинив шерсть на загривках, полукругом за мной шли собаки, ведомые лишь им одним понятной ненавистью.

Мы вошли в барак; Лена стояла у плиты, а маленькая Леночка сидела на кровати, в одной руке держа булку с колбасой, а в другой — плитку шоколада. Гриша не успел ничего сказать, только взглянул на Лену, и она тут же все поняла.

— Он привез шоколад ребенку, — сказала она. — И кое-что поесть. По-твоему, мне не нужно было брать?

Гриша подошел к дочке и осторожно вынул у нее из рук шоколад и булку. Леночка сразу захныкала.

— Пойди погуляй с ребенком, — сказал он мне.

Я стоял в нерешительности. Я видел лицо Лены и ее умоляющий взгляд: она думала, от меня что-то зависит.

— Пойди погуляй с ребенком, — тихо повторил Гриша.

Он подошел ко мне и слегка ударил в грудь.

— Ты-то ведь понимаешь, что не хлебом единым жив человек, — сказал он. — Ты, католик!

Я взглянул на него, но он уже не видел меня. Я взял на руки Леночку и вышел. Мы направились к морю, но там было пусто. Маленькая Леночка весила уже вполне прилично, нести было неудобно, и я поставил ее на песок.

— Ну, Лена, — сказал я, — построй из песка дворец. Или дом.

— Не хочу дворец, — раскапризничалась она. — Хочу домой.

— Зачем домой? — сказал я. — Ты уже взрослая барышня. Давай погуляем.

— Хочу домой, — упрямо повторила она.

Были бы у меня деньги, я купил бы ей мороженое или еще что-нибудь в этом роде, а так мне было нечем ее развлечь. Я беспомощно озирался по сторонам, и тут меня осенило.

— Пойдем, Лена, — сказал я. — Я покажу тебе собаку.

— Не хочу собаку!

— Да ты знаешь, какую собаку? — сказал я. — Она большая, как медведь. Как Михайло Михайлович. Потому что по-настоящему она — медведь. Но немножко похожий на собаку. Хочешь мишку?

— Мишку хочу, — сказала Леночка.

— Ну так пошли.

Я осторожно сжал маленькую лапку, и мы пошли по берегу моря. Под ногами хрустел песок; мы шли мимо кое-как привязанных рыбачьих лодок; поверх них были перекинуты сети — их тоже достал хамсин. Я глянул на небо, нигде не было никаких признаков, что хамсин завтра кончится, сломается, как здесь говорили. Небо было как бы задымленное, темное, и мертвое море лежало недвижно, словно раздавленное вековым гнетом. Я вдруг вспомнил, как сказала мне одна женщина: «Я хочу быть как море, хочу жить вечно». Она-то могла так говорить, ей ни разу не довелось здесь побывать.

— Далеко еще? — спросила Леночка.

— Теперь близко, — ответил я. — А тебе не стыдно спрашивать? Ведь твой папа — летчик, ну-ка подумай, сколько он километров пролетел в своей жизни.

— Зато теперь не летает, — хитренько сказала она.

— Так будет летать.

— Когда?

Я стиснул ее ручку.

— Сама у него спроси, — сказал я.

И вот мы шли вдоль шеренги домов, в которых должны бы жить куклы. Я сразу его увидел, мы заметили друг друга одновременно. Он подбежал, а точнее, одним мощным прыжком, словно выпущенный из катапульты, подскочил ко мне, чуть не сбив с ног, но я выдержал его натиск.

— А вот и мишка, — сказал я. — Михайло Михайлович.

— Какой большой! — воскликнула Леночка.

— Я же тебе говорил, — сказал я. — Это мишка. — Я обхватил руками горячую собачью морду и тихонько шепнул: — Ты — единственный пес, который ко мне хорошо относится, да? Один-единственный. О, Бога ради, не думай, что я пьян. Мы немного выпили с Гришей, но это неважно. Как только у меня появятся деньги, я приду тебя украсть. Мы смоемся отсюда, и ты останешься у меня навсегда.

— Что ты говоришь мишке? — спросила Леночка.

— Так, болтаем о том о сем.

Я присел у забора и закурил, одну сигарету, потом другую. Я смотрел, как играет с Михайлой Михайловичем маленькая Лена, как пытается опрокинуть пса на землю, и пес милостиво позволяет ей это, и дал слово, что когда-нибудь обязательно украду его. И пусть мне самому будет нечего жрать, но я все равно буду таскать за собой с одного на другой край света эту большую, лохматую и горячую тушу, этого пса, одарившего меня своим расположением. А потом мы вернулись домой. Гриша уже сидел у барака и курил.

— Ну как, Гриша? — спросил я. — Помирились?

— Нет, — ответил он.

— Ночь вас помирит.

— Может быть. Сходи посмотри, как она там.

Я вошел в барак; Лена лежала на кровати. Я никогда меж них не встревал, но сегодня, по-моему, он хватил через край. Лицо у нее было распухшее, в синяках. Он это умел: накрутит ее волосы на кулак, так что она не может шевельнуться от боли, а другим кулаком молча ее валтузит. Лена осторожно повернулась ко мне.

— Вот за что? — сказала она. — Что взяла ребенку поесть? Так ведь не себе же.

Я стоял и молча глядел на нее, в углу валялась

растоптанная шоколадная плитка. Я машинально наклонился и поднял ее. Потом снова посмотрел на заплаканное, разбитое лицо Лены.

— Все будет хорошо, Лена, — сказал я.

— Слишком часто это говорите. Вы с Гришей.

— Все будет хорошо, — повторил я, глядя на липкую массу в руке. Я уже знал, что так оно и будет.

Я подошел к Лене и протянул руку, мне хотелось ее приласкать, но она отшатнулась и забилась в угол кровати: как собака, которая шарахается от палки; Лена меня боялась. Да, я уже знал, что ничего другого не остается. Я вышел из барака и присел рядом с Гришей. У меня в руке таяла проклятая шоколадная плитка, а бросить ее почему-то мне было неловко. Иногда человек сам себя не понимает, и это плохо.

— Черт побери, — сказал я, — мое дело маленькое, но ты это зря, Гриша. Ведь она не для себя. Мать — она и есть мать. А что тип этот к ней пристает, другая песня. Его мы отвадим. Гриша, Лена — красивая женщина. Мне она тоже нравится.

Он вдруг поднялся и встал передо мной, тяжелый, высокий; лица я в потемках не разглядел.

— Послушай, друг, — тихо сказал он. — Пусть Лена сама ест, что от него получает. Пусть ест на

здоровье. Он уже два месяца к ней клеится. Но зачем давать моему ребенку? Уж лучше чтобы ребенок голодал.

Он помолчал минуту и снова заговорил:

— Все равно я не уеду из этой страны, пусть даже некому будет меня схоронить. А вот тебя я никак не пойму: ведь ты не еврей и можешь отсюда уехать. Но я — еврей, и я останусь здесь. И каждый день буду все начинать сначала, пока не найду место и не начну работать. И не в том дело, что мне тяжело, потому что тут всем было тяжело, а если и не всем, то таким, как я, — уж точно. Просто у меня нет выхода, потому что если я уеду отсюда, то уже никогда не позволю себе отдохнуть и не смогу ничего отложить на завтра. Потому что это чересчур. Ведь на самом деле все так, как в молитве. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил я. — Есть только один Бог и только одна земля.

Я почувствовал в руке что-то липкое, мерзкое; это был шоколад, я его бросил.

— И это все, — сказал Гриша.

— Да, — сказал я. — Это все. Но женщины…

— Что женщины? — прервал меня Гриша. — Может, выходя за меня, она думала, раз я еврей, то умею делать деньги. Мне-то что до этого? Я не

уеду отсюда.

— Верно, Гриша, — сказал я. — Ты отсюда не уедешь. Мы вскоре найдем работу. Вот увидишь.

— Обязательно, — сказал он. — Пойдешь купаться?

— Пойду, — сказал я. — Почему бы не пойти?

Мы разделись догола и вошли в море. Нас никто не мог видеть: люди или спали, или старались уснуть; они лежали в постелях, тяжело хватая ртом воздух, а воздуха не было, не было, словно Бог решил еще раз испытать свою землю и живущих на ней людей. Я чувствовал, как по мне течет пот, как щекочет кожу; и мне мерещилось, что я ощущал его еще в воде, когда плыл во тьме рядом с Гришей, — в воде, не дающей успокоения.

Кончался второй день хамсина.

Я сразу его увидел; он пил пиво, то самое, что я обычно заказывал здесь официанту, дарившему меня бескорыстной симпатией. Он удобно развалился на стуле и пил пиво — в чистой белой рубашке с рукавами, которые кто-то ему подвернул — аккуратно, любовно. Я подсел к нему, и он спросил:

— Что будешь пить?

— Пиво, — ответил я. — То же, что и ты.

— Хорошо, — сказал он. И обратился к офици-

анту: — «Голд стар».

И тут мне кое-что вспомнилось.

— Нет, — сказал я. — Хочу содовой. С коньяком.

Он не мешал мне пить, ждал. Нравился он мне, и это было хуже всего. Омерзительное ощущение, но я ничего не мог с собой поделать. Я знал мужиков, которых связывала самая крепкая дружба с любовниками собственных жен; теперь я их понимал. Тут то же самое; я даже считаю, что Иуда любил Иисуса Христа больше, чем другие апостолы, а что продал Его за тридцать сребреников, так это совершенно другая история, все равно, он верил в Него больше всех остальных. Вот ведь беда: с течением времени приходишь наконец к настоящей простоте, но тогда уже в общем-то незачем жить.

— Ну так как? — спросил он.

— Что нужно сделать?

— А вот что.

Он вытащил из бумажника золотые часы с узким браслетом и положил их на стол перед собой.

— Пойдешь с Евой в гостиницу, — сказал он. — Разденетесь, ляжете, и тогда ты попросишь ее принести попить. Или дождешься, когда она пойдет в…

— Знаешь что, — сказал я. — Как-то в Берлине в одном пансионе хозяйка сказала, что если мужчина не отливает в умывальник, то, по ее мнению, он гроша ломаного не стоит. Теперь я вижу, как она была права. Со мной бы такой номер не прошел, я всегда начеку.

— Веди себя как обычно, — сказал он. — Так, теперь дальше. Это займет у вас час, от силы полтора. — Он посмотрел на часы. — А с полвторого до двух к вам заявится полиция.

— Полиция?! — изумился я. Я произнес это слово так, словно вовсе не ждал его услышать. А мне-то прежде казалось, что всего труднее изображать идиота.

— Полиция, — повторил он. — Они придут с проверкой, а полицейский имеет право взять в руки сумочку проститутки, верно? Полицейский, который знает, что и у кого пропало на его участке, у него все в блокноте записано. Эти часы три дня назад были украдены у одного болвана, который пошел поразвлечься с девушкой. Ну как? Все понял?

— Понял, — сказал я. Взял часы со стола и хотел было сунуть в карман. Он взял их у меня из рук, тщательно вытер платком и только тогда отдал мне. Платок сунул в карман моей рубашки. Потом

туда же сунул деньги. Я их не пересчитывал, но там точно было больше, чем триста фунтов.

— Значит, договорились, — сказал он. — Хочешь еще выпить?

— Да, — ответил я. — С удовольствием.

Мне хотелось еще немного побыть с ним. Я надеялся, что, может, все-таки передумаю: встану, отдам часы и деньги. Я пил коньяк, поглядывая на широкие лопасти понапрасну работавшего вентилятора: даже поднеся к нему руку, прохлады не почувствуешь. Шел третий день хамсина, и впервые за все время пребывания здесь я понял, что это за штука: мне ничего не хотелось: ни спать, ни есть, и зачем я пил коньяк, тоже было совершенно неясно. Я злился на Еву — это из-за нее мне придется днем еще столько дел переделать, вечер как-никак дает, пусть обманчивое, ощущение отдыха. Я был страшно зол, ведь мне нужно будет встать из-за стола и перейти на другую улицу — пятьсот шагов под солнцем.

Только позже, в гостинице, лежа рядом с Евой, я почувствовал себя немного лучше. Верующий за стенкой, которого я слышал два дня назад, сегодня тоже молился. Ни я, ни Ева — мы не могли говорить, тяжело, как сквозь маску, дышали, а он молился — монотонно и истово, словно ему

одному дана была сила переносить хамсин. Все вокруг стихло, даже детских голосов и тех не было слышно, а ведь обычно дети верещали с утра и до поздней ночи; не было ничего, только этот старик за стеной и голос его молитвы; он не клянчил, ничего не просил у Бога; казалось, он сурово напоминал о своих правах и предъявлял Ему счет за все свои и чужие обиды — он обращался к Нему от лица тех, чья жизнь была кончена, и тех, чья жизнь и не начиналась. Я знал, что пришел сюда по делу, нужно еще что-то сделать, но что именно, я не помнил; да еще этот старик за стеной, из-за него у меня в голове все окончательно перемешалось. Я не хотел ни о чем ни помнить, ни думать; все равно не было ничего важнее этой комнаты, почти что пустой комнаты, в которой не было воздуха. Я смотрел на крышу дома напротив; там лежала мертвая птица; она упала пару минут назад и так и не шевельнулась: смерть настигла ее на лету.

Ева встала с постели, завернулась в простыню. Я закурил. Задержавшись в дверях, она сказала:

— Принесу что-нибудь выпить.

И тогда я вспомнил; в отчаянии подумал, что придется подняться с постели, чтобы кинуть ей в сумку проклятые часы. Шатаясь, встал, сделал,

что нужно, и снова лег. Платок, который мне дал этот славный малый, выпал из кармана и лежал на полу, я его видел, но поднять?... Да ни за что на свете я и пальцем не шевельну ради какого-то платка. Я в жизни не чувствовал себя таким усталым, таким бессильным, а ведь еще придется встать, когда нагрянет полиция.

Ева через минуту вернулась, поставила передо мной пиво. Я поднес бутылку ко рту, по дороге расплескав.

— Поедешь? — спросила она.

— Поеду? — испуганно сказал я. — Куда?

— В Иерусалим. Со мной.

— Не поеду, — ответил я. — Давай больше не будем об этом. — Я приподнялся на локте. — Прошу тебя, хватит.

Ева начала одеваться, и я испугался.

— Поедем вместе, — сказал я, — туда, где нас никто не знает. А там подумаем, что будем делать дальше.

Я боялся, что она уйдет, а они все не шли: может, этот дурак дал им неправильный адрес; Ева была уже в платье. Нужно немедленно вспомнить всю мировую литературу, все, что написано о любви. Приходилось спешить.

— Еще ведь не поздно, — говорил я. — Слишком

поздно никогда не бывает. А я обещаю, что не стану об этом думать и никогда тебя словом не попрекну. Я считал и буду считать, что я у тебя первый. Как всегда в те дни, когда мы вместе.

Она обернулась ко мне.

— Не было этого, — сказала она, глядя на меня своими хмурыми глазами. — Перед тобой всегда кто-нибудь был. И сегодня тоже. Такой милый старичок, которому приходится носить суспензорий; каждый раз он аккуратненько складывает его на стуле. Не верь, как последний дурак, всему, что тебе говорят.

Меня всего аж перекосило: она угодила метко. Не могла хоть сейчас меня пощадить. Их начинаешь понимать, только когда они уходят насовсем. Только тогда и ни минутой раньше. Хоть ты сколько с ней проживи, неважно; у них в запасе обязательно найдется какой-нибудь пустячок, который в одну минуту все в тебе уничтожит, и останешься ты нагой и опустошенный, и придется сначала, с самого начала постигать всю ихнюю науку. Выдернуть из хвоста последнее яркое перышко — это они умеют.

Но думать об этом было некогда — Ева стояла перед зеркалом и застегивала платье.

— Зачем ты мне это сказала? — спросил я. —

Зачем?

Мне опять не хватало слов, а верующий за стеной молился все громче и громче.

— Нам ведь было так хорошо вместе, — с горечью сказал я и поглядел на часы. — Скажи, что ты наврала, — почти что крикнул я, глядя, как она нагибается и ищет под кроватью туфли.

Было без четверти два.

— Зачем? — повторила она. — А затем, что я собираюсь дать тебе триста фунтов, чтобы ты мог получить работу. Но я не желаю больше тебя видеть. Так, наверное, будет лучше. Ну вот. Деньги я тебе дам, но ты должен хотя бы знать, откуда они у меня. Ясно?

Я молчал.

— И вали-ка ты со своим Гришей ко всем чертям, — сказала она, присаживаясь рядышком. — Мне не нужны прекрасные воспоминания. Я их не хочу и никогда не хотела. Ты, верно, думаешь, что я несчастна или что мне плохо, но это не так. Не так.

Она вдруг остановилась на полуслове; я боялся, что она, не договорив, уйдет. Мне припомнился какой-то фильм с Шарлем Буайе, у него в совершенстве получалось дрожание губ. Я тоже решил попробовать.

— Знаешь, — сказала Ева, — у меня был когда-то жених, но мне он не нравился. А в первый раз я дала моему учителю, старому хрычу, который зимой и летом затыкал уши ватой. Потом я глядела, как он стоит перед зеркалом и носовым платком стирает губную помаду, чтобы жена не узнала. Так что не надо ничего говорить. Приходи в шесть, я дам тебе денег. А еще лучше подожди меня здесь.

Я про себя подумал, что, может, и правда лучше остаться здесь: деться мне до шести было некуда. В голове у меня было пусто, и я с трудом догадался отчего: шел третий день хамсина, а третий день — самый тяжелый, но больше я ничего не знал — я не мог вздохнуть и не чувствовал собственного сердца. В голове бродила неясная мысль; кто-то вроде бы умирал как раз в такой день, в третий день хамсина, и не было ни ветра, ни воздуха. Но кто? Я не знал, не видел его. Мне казалось, что нужно только немного сосредоточиться, и я вспомню, я обязательно вспомню, кто он, но малейшее усилие пугало меня. Все равно этот кто-то давно умер, и больше никто не сможет ему помочь, да и вообще, кто сможет хоть чем-то помочь в такой вот день? Я только помнил, что в шесть часов придет Ева и что-то мне принесет.

Может, тогда она мне скажет, кто он был и почему умер. И, может, безветрие кончится, и станет прохладней, и, может, я буду способен думать и вспомню, зачем я здесь оказался и как меня зовут, и, может быть даже, мне захочется есть, и тогда я пойду в арабский ресторанчик на углу, закажу себе что-то такое-разэтакое, отчего вернутся ко мне силы и молодость, и вот тогда они постучали в дверь.

Я возвращался домой через западный район города. Автобус был почти пуст, только я и двое солдат, загорелых и красивых, они были измучены и заснули, попросив водителя разбудить на их остановке; головы их подпрыгивали, когда автобус вдруг набирал скорость — здесь шоферы лихие, с характером, ездят так, будто им платят только за скорость; сердце уходит в пятки, как увидишь, что они вытворяют на своих развалюхах, а в этом районе только такие и ходили. Этот район Тель-Авива я любил больше всего, когда-то я тут работал, пока мне шлифовальным камнем не раздробило пальцы на правой руке. Я знал тут каждую улицу; каждую мастерскую, в которой производились удивительнейшие изделия из меди и бронзы; скудно освещенные лавчонки, где можно купить мундиры американской ар-

мии; крошечные закусочные, в которых сидели правоверные вместе с неверными, скоро и молча поглощая пищу, потому что все тут работали, все спешили; все были деловиты и трудолюбивы: ремесленники, сапожники, продавцы офицерских портупей времен первой мировой войны — я знал их, знал хорошо, с некоторыми даже был на «ты» и знал их имена: Сын Медведя, Сын Народа, Волк Сын Волка, Лев Сын Льва или, например, знал женщину, которую звали Весенняя Капелька Росы — нигде в мире нет таких поэтических имен. И вот я ехал в автобусе и думал, что нельзя уничтожить народ и его язык, что никому не удастся это сделать. Попробуй-ка уничтожь бессмертие, если оно заключено в чем-то совершенно незначительном, на что просто не обращаешь внимания, проходишь мимо равнодушно или с презрением, и что остается нетронутым и неискорененным, и в этом вся разница между убийством и искоренением. Но нам-то это неясно, для нас это тайна. Мир полон мусора, всяческого вздора и чепухи, и в этой неразберихе каждый силится пробиться к другому и объяснить что-то, а чтобы понять, нужна всего лишь минута. Я уверен, что каждому из нас была отпущена такая минута, как уверен и в том, что никто не сумел ею воспользоваться.

Я понемногу приходил в себя; должно быть, истекали последние часы хамсина, я чувствовал это, когда после всего шел через поле, заросшее колючим бурьяном, в наш барак, и собаки, как обычно, поджидали меня в темноте. Вдалеке над морем начало светлеть, очищаться небо, в любую минуту мог сорваться и полететь над землею ветер — от Галилеи аж до пустыни, и тогда люди, все, кто сейчас лежал в темноте, зажгут свет и пойдут к морю купаться — к морю, снова живому, остро пахнущему и прохладному, и тогда, должно быть, рыбачьи суда снова начнут перемигиваться огоньками, как в день моего приезда сюда. Но пока еще было тяжко, еще не отступила сушь — земля не умеет обманываться, и я шел, неся в себе еще только предчувствие, ничего, кроме предчувствия, и собаки тихо бежали за мной в темноте.

Гриша сидел у барака. Он один не жаловался на хамсин, казалось, он может вынести все. Я тяжело плюхнулся рядом, накаленный песок обжег мне зад. Гриша протянул сигарету, и я закурил.

— Лена приготовила ужин? — спросил я.

— Нет, — ответил Гриша.

— Неважно, — быстро сказал я. — Мы сейчас что-нибудь купим, а она придумает, что из этого

сделать. Может, купить пару банок мяса?

— Не нужно, — сказал он.

— Почему, Гриша?

— Потому что нет Лены, — ответил он. — Она ушла с тем типом и забрала дочку. Придется нам самим готовить ужин. Давай подождем, жарко еще.

— Ладно, — сказал я. — Давай подождем.

Мы замолчали; было видно, как луна выбирается из-за туч, оставалось ждать час или два, не больше.

— Как ты думаешь, — сказал Гриша, — ей ведь не будет плохо с этим подонком? А?

— Не будет, — ответил я. — Думаю, ей плохо не будет. — Меня душило негодование. — Я же тебе говорил, — сказал я. — Нужно было продать пистолет. Хоть несколько дней Лена с малышкой были бы сыты.

Он повернулся ко мне.

— Я ведь хотел как лучше, — сказал он. — Я поклялся себе, что если до конца хамсина не найду работу, то поставлю точку — за себя и за них. А они взяли и уехали.

— Это ничего, Гриша, — сказал я. — Завтра пойдем к этому гаду и начнем работать. У меня есть деньги. Знаешь, триста фунтов.

— Ева дала? — спросил он.

— Да.

Потом мы пошли в барак, Гриша сбегал за коньяком, пришлось разбудить хозяина лавки. Готовить нам не хотелось, мы пили коньяк и закусывали апельсинами. Бутылки нам не хватило, мы были как стеклышко, и Гриша пошел за второй, снова пришлось будить хозяина, было слышно, как они ругались, потом Гриша вернулся. Вторую бутылку мы пили снаружи у стены барака, и тогда впервые за три дня я снова увидел в море огни рыбачьих судов.

— Глянь, Гриша, — сказал я. — Хамсин кончился.

— Но пока еще жарко, — сказал он.

— Да, — согласился я. — Жарко.

— Завтра мы поедем на автобусе в город, — тихо сказал Гриша. — И начнем в шесть пятнадцать выходить на работу.

— Да, — сказал я. — Только давай поедем не отсюда, а с хайфского шоссе.

— Ну его. Туда ходить больше незачем.

— Незачем?

— Помнишь того пса? — сказал Гриша. — Большую кудлатую псину, которая так тебя напугала?

— Боже мой, — сказал я, — он еще будет спрашивать, помню ли я того пса. Я, Гриша, помню его лучше, чем собственное свидетельство о рождении.

Он рассмеялся.

— Так вот, — сказал он. — Я давно его знаю. Он принадлежит одному богатому сукину сыну, приехал сюда из Швеции и привез кучу денег. Как я увидел, что собаки тебя не любят, мне тут же запала в голову мысль: что если этот кудлатый тебя цапнет? Так, ни с того ни с сего, а ты огребешь приличные отступные, и мы еще пару дней протянем. Но, как назло, этот пес никаких таких чувств к тебе не испытывал, да?

Я не ответил, тогда он, как бы желая оправдаться в моих глазах, сказал:

— Но ведь я-то этого знать не мог.

— Да, — сказал я, — как назло, этот пес никаких таких чувств ко мне не испытывал.

Я налил стакан до краев и, не дожидаясь Гриши, одним махом выпил коньяк, на дне не осталось ни капельки. Я понимал, что уже готов, и мне было от этого хорошо. Я выпил еще, на этот раз чокнувшись с Гришей, и почувствовал, как по телу разливается тепло, словно пламя, поднимаясь все выше и выше. Хамсин кончался, и я снова мог

думать; это прекрасно — чувствовать себя слегка пьяным и быть в состоянии думать.

Теперь я понял, что все это из-за него; что он один во всем виноват: и в том, что от Гриши ушла Лена, и что Ева выбросилась из окна гостиницы, когда полицейские хотели ее забрать, и что мы с Гришей два месяца сидим без работы. Это его вина, что мы живем и что три дня подряд хамсин сжигал землю, а сейчас кончался: потянул ветерок, и снова запахло морем, а я опять мог думать, и мысли у меня в голове не рвались, как последние три дня. Все мы столько вынесли из-за него, как же я не понял этого раньше! Я вошел в барак, из-под кровати достал пистолет, сунул его в задний карман брюк и сразу же возвратился к Грише. Он мне уже налил, и я выпил, потом снова выпил, чтобы не забыть о том, что еще нужно сделать. Сорвав с себя рубашку, я оперся о дверной косяк; мне в спину въедалась пыль, я обливался потом, с моей кожи, из всех пор испарялся коньяк, но ни пыль, ни пот, ни крепкий коньячный дух мне уже не мешали; все определилось и стало ясно. Я понял, что никогда не покину эту страну, что останусь здесь насовсем и всегда буду ее любить, но я боялся думать об этом, чтобы не забыть про то, что еще предстоит сделать.

Я еще наклонился во тьму, ощупью нашел рубашку, обтер ею спину и плечи и отшвырнул во тьму.

— Подожди чуть-чуть, Гришенька, — сказал я. — Я сейчас вернусь.

Я оторвался от двери, прошел будто сквозь невидимую стену зноя; у меня снова перехватило дыхание, снова остановилось сердце, но тут с моря рванулся свежий ветер, и все во мне двинулось, ожило; наконец-то хамсин совсем кончился — как и в ту минуту, в которую умер Он и с которой начал жизнь вечную; земля вздохнула, зашелестели деревья, луна всплыла из-за жаркой мглы, и я снова увидел свою тень; вот я повернул направо, вышел из мрака и через пустое поле пошел прямо к дороге на Хайфу.

1962

Обращенный в Яффе

Все было бы хорошо, если б не Роберт. Мы зашибли в Тель-Авиве кое-какую деньгу и теперь ехали в Тверию с новой собакой. В автобусе все уже спали, а я глядел на пса.

— Придется его подкормить, — сказал я.

— Точно, — согласился Роберт. — Вид у него не ахти.

— На это уйдет минимум две недели. В Тверии дороже, чем в Тель-Авиве.

— Плохо, что в гостинице нельзя готовить, — сказал Роберт. — Кормили бы его кашей. От каши быстрей всего толстеют.

— Если в нее накидать мяса.

— Не уверен. Пес, похоже, пройда. Жрал бы одно мясо, а к каше и не притронулся. Я ведь о нем ничего не знаю.

— Ты знаешь, что с ним произойдет. Это уже кое-что.

— С каждым из нас когда-нибудь произойдет то же самое. Это ничего не значит. А может, так повернуть, будто и тебе нечего жрать и ты делишься с ним последним куском?

Я ничего не ответил. Я смотрел на девушку,

сидящую рядом с нами; на ее прямой нос и курчавые волосы.

— В Тверию едешь? — спросил я.

— Да.

— И надолго?

— Это зависит.

— От погоды?

— Нет. От того, кто за меня будет платить. А ты?

— Это зависит, — сказал я.

— От погоды?

— От той, что за нас будет платить.

— И за собаку тоже?

— Без собаки мы не можем работать.

Она повернулась ко мне, и я увидел маленький шрам у нее на переносице. Но ее это нисколько не портило, и я подумал, что через месяц, когда с лица сойдет загар, этот маленький шрам вообще не будет заметен.

— Это ты, что ли, убиваешь собак? — спросила она.

— Я бы предпочел убивать людей.

— Ты только так говоришь.

— Во всяком случае, я так думаю. Это тоже кое-что значит. Тебе никогда не приходила охота убить кого-нибудь из тех, кто тебе платит?

— Я об этом не задумывалась.

— И даже не пытайся. Считай, что у тебя нет желания их убивать. Так будет лучше.

— Сколько собак ты уже убил?

— Я всегда убиваю одну и ту же. — Всякий раз мне кажется, что я стреляю в того же самого пса. То это бульдог, то — овчарка. Но все равно для меня это одна и та же собака. Вот что скверно.

Она раскрыла сумку и вытащила бутылку бренди «Сток». Налила мне в алюминиевую кружку; в этом автобусе у всех стучали зубы, а у нее рука даже не дрогнула.

— Выпей, — сказала она.

— Нет, — сказал Роберт. — Ему нельзя пить.

— Почему?

— Физиономия пухнет. И сразу делается приличный вид. А надо, чтоб лицо было изрыто морщинами. Ради бога, не уговаривай его пить. Хочешь, чтоб у нас все сорвалось? У него на лице отпечаток страданий, как ты не понимаешь.

— А почему он так страдал? — спросила она.

— Вот этого никогда нельзя сказать заранее, — ответил Роберт. — Все зависит от ситуации и от его невесты. Если ее бросил муж и слинял, прихватив монету, с молоденькой, он страдает оттого, что его девушка ушла к богатому, которого

не любила. Тогда из двух историй выстраивается одна. Мы показываем этой женщине фотографию, и дальше все идет как по маслу.

— Фотографию той девушки?

— Нет. Фотографию того типа, к которому она ушла. Это тоньше. Таскать при себе фотокарточку девушки, которая тебя бросила, может каждый. Идея стара как мир. Мы показываем фотографию человека, к которому девушка ушла. У нас есть целая коллекция фото мужиков, с младенчества больных полиомиелитом, раком, детей алкоголиков. Он просто не способен этого понять. И оттого не расстается со снимком. А невеста смотрит на фото этого урода, а потом на его лицо, и пожалуйста, ситуация готова. Поняла? Он страдает и в то же время не в силах преодолеть удивление. Что именно к такому человеку ушла женщина, с которой он провел весну своей жизни. — Роберт умолк, а через минуту добавил: — Единственную и неповторимую. Ясно?

— Да.

— Либо все выстраивается по-другому — если, не дай бог, эту бабу никто не бросал. Тогда мы даем ей фотографию девушки. Он до сегодняшнего дня не мог забыть любимую, которая погибла в автомобильной катастрофе, и ее фото для него

— святыня. А теперь, познакомившись с ней, отдает самое святое, что у него есть. Это, конечно, не все, но для начала неплохо.

— У вас с собой фотографии?

— Женщины или того типа, который слинял с башлями?

— Женщины.

Роберт полез в бумажник и вытащил фотокарточку. Протянул ей, она посмотрела и отдала ему обратно.

— Совсем как новая, — сказала.

— Ну и что? — спросил я.

— Снимок должен быть затрепанный, — сказала она. — Ты ведь не первый год таскаешь его в бумажнике или в кармане, было жарко, влажно, а у карточки такой вид, будто она только что напечатана. Надо ее замусолить.

— Умоляю, не учи меня, — сказал Роберт. — Я тебе показал оригинал.

— Мог бы и не показывать, — сказала девушка. — Достаточно было сказать, что Ева, эта проститутка из Иерусалима, разрешила себя сфотографировать.

— Только никому не говори, — сказал Роберт. — Эта девушка несколько лет назад погибла в автомобильной катастрофе. Посмотри, сколько

у него седых волос. — Он повернулся ко мне: — Плохо дело! Кто-нибудь, кто знает Еву, может нас заложить, если нашей невесте вздумается поставить фотографию на свой ночной столик.

— Ну и что? Ничего страшного, — сказала девушка.

— Лишняя осторожность не помешает.

— Ева покончила с собой, — сказала она. — Вы что, не знаете?

— Нет, — сказал Роберт. — Слава богу. Значит, не придется раскошеливаться на новый снимок. Если кто-нибудь начнет вякать, нетрудно будет отбрехаться: мол, случайное сходство. Хорошо бы еще тебе усмехнуться и сказать, что она была похожа на проститутку. Но эта баба должна знать, что тебе нравится самому себе причинять боль. Ты малость мазохист, но ведь многие, кто в жизни сильно страдал, становятся мазохистами. — Он замолчал, а потом сказал: — Хотя нет. Это я чушь говорю. Наоборот! Пускай душевная боль только лишний раз отразится на твоем лице. Это тебя подымет в ее глазах. Понимаешь? Самоубийство жалкой проститутки напомнило тебе о смерти любимой женщины. Понял? Эта, новая, на тебя смотрит, а ты не в силах сдержать порыв души, хотя знаешь, что такое ей вряд ли придется по

вкусу. Чистота твоих чувств не позволяет прикидывать, что тебе выгодно, а что — нет. И тут же стена между вами рухнет.

Девушка наклонилась ко мне, и я почувствовал ее горячее дыхание, а она провела рукой по моему виску.

— И верно, — сказала она. — Ты уже седеешь. Года через два будешь совсем седой. — Я слегка пододвинулся к ней, но она отстранилась. — И не жаль тебе их? — спросила.

— Все вы клиентки, — сказал я. — Правда, Роберт?

— Это он только так говорит, — сказал Роберт. — Хамоват, но сердце золотое. Жизнь у него была тяжелая. Он все время настороже. Боится людей и убегает от них. Некоторые боятся и рвутся к власти, а другие убегают. Он из тех, что убегают.

— Все вы клиентки, — повторил я. — Хочешь верь, хочешь нет. Вы клиентки. Но, так или сяк, в конце концов я останусь один и без гроша. А пока дайте мне поспать.

Но заснуть я не мог. Возможно, потому, что водитель автобуса ехал так, точно ему платили, чтобы у нас клацали зубы; а может, просто мешало сознание, что эта девушка сидит рядом; время от времени, когда автобус проезжал через осве-

щенные перекрестки, я отворачивался от окна и тогда видел ее профиль: прямой нос, сильную шею и вьющиеся волосы. Не знаю почему, но не смотреть на нее я не мог. Чуть подальше сидела красивая блондинка, но мне на нее было начхать. Слишком молода для клиентки. У нее еще лет десять в запасе, а то и пятнадцать, хотя в здешнем климате женщины стареют быстро, а она, похоже, тут родилась, и наверняка ей нечем будет платить. И мне даже стало ее немного жаль.

Я повернулся к той, с темными волосами и сильной шеей, и тронул ее за плечо.

— Дай все-таки глоточек, — сказал я. — Не могу заснуть.

— Умоляю тебя, не пей, — сказал Роберт. — Ты же опухнешь.

— Приму диамокс, — сказал я.

— Что такое диамокс? — спросила темноволосая.

— Средство для обезвоживания организма, — объяснил Роберт. — Если он слишком много выпьет, у него отекает лицо. Тогда на следующий день я даю ему две таблетки диамокса, и снова у него рожа изрыта, как у Богарта.

— Я такого не говорил, — сказал я.

— Ясное дело. Это говорят все твои невесты.

Помнишь девушку из Бостона, которая покончила с собой?

— Нет, — сказал я. И соврал; я ее помнил и знал, что не забуду. У нее были веснушки, и она как-то очень славно потела.

— Не помнишь?

— Нет.

— Та, что забеременела и выпрыгнула в окно? Поднялась на двадцатый этаж и в плавный устремилась полет…

— Теперь припоминаю, — сказал я и рассмеялся.

— Что тут смешного?

— Вечно ты преувеличиваешь. Этаж был седьмой, — сказал я и взял кружку, а девушка смотрела на меня и тоже смеялась.

— И все равно тебе не надо пить, — сказал Роберт.

— Это еще почему? У нас целая пачка диамокса. Не бойся. Не отеку.

— Не о том речь, — сказал Роберт. — Спьяну ты ведешь себя как подлец. Конечно, ты — человек опустившийся, неудачник, но душою чист. — Он обратился к сидящей рядом девушке: — Не похож, скажешь?

Она взглянула на меня.

— Про мужчин трудно что-нибудь сказать, пока они не начнут говорить о своих женах. И о том, почему они с ними несчастливы. И о том…

— Погоди, — сказал я. — Еще они говорят, что разочаровались во всех философиях и идеологиях и что единственный грех — упустить счастливую минуту в жизни. Ну и, разумеется, добавляют, что имеют в виду не только секс, а вообще любой кусочек счастья, который можно урвать. Иногда это прогулка на моторной лодке, иногда — часы одиночества, которые проводишь с удочкой в руке. Но все это они выпаливают в тот момент, когда начинают тебя раздевать. Верно?

— Да, — сказала она.

— Ради бога, никогда такого не говори, — сказал Роберт, и я увидел на его лице страх. — Текст хороший, но к нашей ситуации абсолютно не подходит.

— К нашей? — спросил я. — Разве мы вместе их раздеваем? Я всегда это делал один. Но, пожалуйста, можешь попробовать. Прямо сейчас, в Тверии. Не исключено, что ты даже по-настоящему женишься и уедешь с ней за океан.

— Умоляю, не нервируй меня. Не мешай сосредоточиться. Тебе кажется, все это легко и вообще мы уже ничем не рискуем. А тут многое зависит

от нюансов. Иногда можно на какой-нибудь ерунде поскользнуться, и все полетит к чертям.

— Ты мне надоел, — сказал я. — Хочешь думать о нюансах — думай. Для меня они все — клиентки. Случай из учебника психологии: врожденная тяга к богатым женщинам. — Я повернулся к девушке: — Дашь еще глотнуть?

— Это уже в последний раз, — сказал Роберт. — Если ты к завтрашнему утру распухнешь, даже после двух таблеток диамокса до вечера от тебя все равно не будет проку. Раньше ты вряд ли придешь в норму, и мы опять целый день потеряем. Вспомни, сколько стоит номер в гостинице. Тверия дороже Тель-Авива.

— Ну и что? Я пью с горя, — сказал я. — Пью, потому что не могу спать. Потому что снотворные мне больше не помогают. Потому что я столько их наглотался, что они перестали действовать. И лишь эта женщина подарит мне сон без таблеток и спиртного. Странно, что тебе такое не пришло в голову. Любая почувствует себя счастливой, если ей сказать, что она кому-то дарует сон. Нет такой идиотки, которая не зайдется от восторга услышав, что ее пышное тело… дальнейшее тебе известно. — Я помолчал немного, потом повторил: — Ее пышное тело.

— Знаешь, а ты сказал умную вещь. Конечно, любая женщина придет в восторг, узнав, что она дарует сон. Особенно здорово ты придумал про снотворные. И про то, что они на тебя уже совершенно не действуют. Пожалуй, тебе придется пальнуть себе в голову. Но как сделать, чтобы ты промазал, стреляя из пистолета девятимиллиметрового калибра, приставленного к виску? Это еще надо обдумать. А дальше все пойдет гладко. — Он перегнулся через мое плечо к девушке и сказал: — Головастый малый, верно? И все равно диву даешься, когда случается время от времени заработать. Но никто не знает, что я переживаю, оставляя его наедине с какой-нибудь из них. Это известно только Богу и мне.

— Позволь ему выпить, — сказала девушка.

— Ладно, пускай пьет. Кстати, он давно не пил. Может, и не опухнет. — Он мазнул меня рукой по щеке и сказал: — К тому же его ждет бессонная ночь. После бессонной ночи он будет смахивать на привидение.

— Вы не ночуете в Хайфе? — спросила девушка.

— Нет. Только купим ему в ночной аптеке таблетки. В Тель-Авиве нам в аптеки ход заказан. Потому и едем кружным путем. Каждый рецепт

обходится вдвое дороже.

— И, естественно, выписывается на чужую фамилию.

— Нет, — сказал Роберт. — Как раз наоборот. Рецепты на его фамилию. Ведь вся трагедия в том, что он не спит: таблеток этих у него навалом. Не будь их, он бы и выстрелить в себя мог.

— Можно сперва застрелить собаку и приберечь одну пулю для себя.

— Умоляю, не учи меня. Стреляя в собак, он об этом не думает. Он же депрессивный маньяк, съехавший с катушек. Убивает любимое животное, а потом терзается от стыда. Но пистолет уже разряжен. Единственный выход — таблетки.

— А почему бы ему не повеситься?

— Не давай мне умных советов. У всякого самоубийцы свое представление о смерти. Один способен только отравиться, второй — застрелиться, а третий вешается на дверной ручке. Для депрессивных маньяков универсальных методов не существует. Любой врач тебе это скажет. В том-то и штука, что за ними невозможно уследить: каждый норовит откинуть копыта на свой манер.

— Есть такие, что кончают с собой в приступе отчаяния, — этим все равно.

— Да, которые обезумели или убиты горем. Эти выпрыгивают из окон и вскрывают себе вены. У нас не тот случай. Многолетние несчастья раздавили его. И вот теперь он встретил женщину, с которой не может соединиться… Остальное тебе понятно.

— Дай еще глоток, — попросил я.

— Я тебе дам целую бутылку, только не мешай спать.

— Не хочу, чтобы ты спала, — сказал я. — Хочу с тобой трепаться. И хочу, чтобы ты ко мне повернулась.

Она повернулась, и опять я волей-неволей смотрел на ее прямой нос, и ее сильную шею, и маленький шрам.

— Про тебя написан рассказ «И эти губы, и глаза зеленые»[65]? — спросил я.

— Я тебе сказала, куда еду. И сказала, почему там останусь. И сказала, почему смогу остаться.

Я уже захорошел. Позади у меня были три дня в больнице и тяжелый день хамсина, и сегодня я почти ничего не ел, так что теперь этот крепкий израильский коньяк как огонь тек у меня по жилам.

---

[65] Примечания: 65
Рассказ Дж. Сэлинджера.

— Это про тебя рассказ «И эти губы, и глаза зеленые»? — повторил я. — А если про тебя, где этот человек тебя видел? Тот, который написал рассказ. Наверное, ты тогда тоже ехала в Тверию и еще не знала, надолго ли там застрянешь, да?

Она мне не ответила, а я почувствовал, что засыпаю. Я выпил больше половины бутылки, и, как уже говорил, позади у меня были три дня в больнице и день хамсина в Тель-Авиве, ну и эта моя невеста, которая в данный момент летела на самолете «Боинг-7» в Калифорнию, где собиралась меня ждать; а до того, как мы с ней познакомились, у меня было много других невест и я провел много дней в разных больницах. А перед тем была полоса голодухи и безработицы. А еще раньше — психушка; а еще раньше — тюрьма. И сейчас, катя на автобусе в Тверию через Хайфу, я подумал, что не ищу себе оправдания: нищета в этом не нуждается, человек не должен оправдываться, что нет денег на гостиницу, чашку кофе или бифштекс.

— Роберт, — сказал я. — Почему нищета не нуждается в оправдании? Почему проигравшего никогда не спрашивают, отчего ему не повезло?

— Не думай об этом.

— А мне хочется об этом думать.

— Человек должен оправдываться, только если добьется успеха, — сказал Роберт.

— Зачем?

— Чтобы другие следовали его примеру.

— И чтоб проигрывали?

— Неважно. Не думай об этом. Думай о своей невесте.

Я повернулся к девушке, которая дала мне бутылку. Она все еще не спала, но на лице ее не было ни тени усталости — я это видел, когда мы проезжали мимо бензоколонок и освещенных перекрестков.

— Тебе надо бы зваться Эстер, — сказал я. — У меня была когда-то девушка, которую звали Эстер. А потом она забеременела, и родители велели ей сделать аборт, потому что терпеть меня не могли. Но она не решалась, и какая-то из ее подружек сказала, что если переспать с другим мужчиной, его сперма убьет мою. И она так и сделала, потому что ужасно боялась врачей. А потом все мне рассказала, и я ее бросил. Это была моя последняя девушка.

— У тебя потом были еще женщины, — сказала она. — И столько же собак.

— Неправда, — сказал я. — Никакие они не женщины. Просто клиентки. И всегда одна и та

же собака.

— Здесь женщины и дети, — произнес чей-то голос сзади. — В автобусе о таких вещах не разговаривают.

— А о чем разговаривают в автобусе? — спросил я, не поворачивая головы. — Скажи мне, ты, мразь.

— Я тебе скажу на автовокзале в Хайфе, — ответил голос. — Там всегда дежурит полицейский.

Водитель остановил автобус и обернулся к нам. Он, видимо, был родом из Марокко; впрочем, один Бог знает, откуда он был. Глядя в его резко очерченное лицо и холодные глаза, я подумал, что не хотел бы с ним повстречаться на узкой дорожке.

— Мне б не хотелось с тобой повстречаться на узкой дорожке, — сказал я.

Он даже на меня не взглянул; лицо его было невозмутимо, и я не видел на нем ни капли пота, а у нас рубашки насквозь промокли и под мышками побелели от соли, а он был в плотной рубахе и фуражке с твердым околышем.

— Хайфа, — сказал он.

Я взял собаку и первым пошел к двери, а Роберт с девушкой шли за мной. У нас было два часа времени; в аптеке напротив Роберт купил

две большие пачки амитала натрия; потом мы втроем пошли выпить пива. В баре не было ни души, и, когда мы вошли, официант включил вентилятор.

— Интересно, что было бы, если б мы не пришли сегодня ночью, — сказал ему Роберт. — Работал бы без вентилятора? Что ты экономишь? Воздух или электричество?

— И воздух, и электричество. Чего хотите?

— Три раза «Голд стар», — сказал Роберт.

Официант даже не шелохнулся; он разглядывал вначале меня, а затем нашего пса, которого я держал на поводке. Потом вытащил из-под стойки какую-то газету; я видел, что он не читает ее, а только рассматривает фото. Это продолжалось довольно долго; наконец он аккуратно сложил газету, спрятал в ящик, не посмотрев на нас, подошел к стене и повернул выключатель; лопасти вентилятора замерли.

— Это вы, — сказал он.

— Да, — сказал Роберт. — Это мы. Дай три бутылки «Голд стар» и включи вентилятор.

Официант неподвижно стоял за стойкой, глядя на нас с полным безразличием. Я чувствовал, как пот струйками стекает у меня вдоль позвоночника, и посмотрел на девушку, но ни на ее лице,

ни на теле и капельки пота не заметил. Наш пес лежал на каменном полу и тяжело дышал.

— Дай нам три раза «Голд стар», — сказал я официанту, но он отрицательно покачал головой. Тогда я полез в карман и положил на стойку деньги. Он пересчитал их; сунул в ящик и, подойдя к стене, включил вентилятор; через минуту в тишине послышался шум резиновых лопастей. Ну, и поставил перед нами три пива «Голд стар».

— Ты читал про нас в газете, да? — спросил я официанта.

— Дела идут хреново. Времени полно — читай сколько влезет.

— Мы всегда платим.

— Значит, можете всегда приходить.

— Всегда или только когда при деньгах?

Он опять посмотрел на нас, а потом на пса, лежащего с высунутым языком.

— Всякий раз, когда будете с собакой, — сказал он.

— Они у нас долго не задерживаются. Только привыкнешь к одной, сразу надо заводить другую.

— Скоро дожди зарядят, — сказал официант. — Вы ничего не заработаете.

— У нас еще есть целый месяц.

— И куда вы теперь?

— В Тверию.

— Красивая хоть?

— Ты б отказался от американской валюты? — спросил Роберт.

— А что вы делаете, если она уродина?

— Это плохо. Приходится каждый раз его накачивать. Тогда с грехом пополам получается. Сам знаешь, как оно бывает.

— Нет, — сказал официант. — Знаю, как оно бывало. — Он опять посмотрел на нашего пса. — Я принесу миску воды, а ты его спусти с поводка, — сказал он. — Поводок коротковат, собака мучается. У нас тоже был пес, да сдох. Но миска, наверно, найдется.

Он вышел, а я отпустил собаку, и в ту же минуту мы поняли, что плакали наши восемьдесят фунтов, которые заплатил за нее утром Роберт; пес бросился длинными скачками в темноту улицы, а мы втроем стояли в дверях ресторанчика с бутылками холодного пива в руках и смотрели на нашего пса, пока его след не простыл.

— Как его зовут? — спросила девушка.

— Ты хотела сказать, как звали, — ответил я. —

Его звали Лузер[66].

— Что это значит?

— Лузер — тот, кто постоянно проигрывает. Неудачник.

— Это ты ему придумал такую кличку? — спросила она.

— Я, — сказал я.

Она подошла и прижалась ко мне.

— Минуточку, — сказал Роберт. — Человек едет работать. Отложите это на потом.

Но она не отошла; не выпуская из рук бутылки, она обняла меня, а я опять, как в автобусе час назад, почувствовал ее горячее дыхание, и это чистое горячее дыхание перебивало запах жареной рыбы, запах моря и запах карболки.

— Придумай мне какую-нибудь кличку, — сказала она.

— Хорошо, — сказал я. — Ты будешь называться Кошка Чародея.

— Почему?

— Не знаю, — сказал я. — Попробуй выдумать что-нибудь получше. Всех шлюх зовут Барбара или Марни, а в Германии у каждой второй русское имя. Не знаю почему. Но во всем Израиле

---

[66] Примечания: 66

От английского «loser» — проигравший, неудачник.

не найдешь ни одной, которую бы звали Кошка Чародея.

И тут она отстранилась, а я смотрел на ее губы, повторяющие придуманное мной для нее имя. Одного только она не могла знать: что так я называл Эстер, когда мы еще были вместе, а она жила в кибуце и выносила мне жратву, и я ел тушенку ножом прямо из банки. И не могла знать, что только благодаря Эстер я спал. Но теперь Эстер уже не было, а я действительно не мог спать и каждый день глотал эти проклятые барбитураты. Ну, и еще одного она не могла знать: со всякой другой женщиной я заставлял себя все время думать об Эстер и повторял ее имя до самого конца, потому что иначе у меня ничего не получалось. Да, она об этом не знала; и Роберт тоже не знал; и не знала ни одна из наших невест, которые спасали мне жизнь и строили для меня мост, чтобы я мог по нему перейти в лучезарное будущее. Но не в том дело; ничего этого не знала даже Эстер. А я готов был рассказать людям о себе все, что им хотелось услышать, но только не это.

Девушка поставила свою бутылку на стойку и сказала:

— Этот пес специально выдрессирован. И не из Яффы он, где вы его купили, а отсюда, из Хайфы; в

Яффу, к торговцу собаками, его привезли только позавчера. Сверните в первую улицу направо, третий дом, тоже по правой стороне. И постучите в дверь на первом этаже.

— Спасибо тебе, — сказал Роберт. Я видел, что он искренне растроган. — Знаешь, собака стоила восемьдесят фунтов. И еще пришлось бы ее откармливать. Это не наша Клякса. — Он повернулся ко мне: — Помнишь Кляксу?

— Я ее убил четыре дня назад.

— А эту когда убьете? — спросила девушка.

— Чем скорей, тем лучше, — сказал Роберт. — Но наверняка, конечно, не угадаешь. И неделю можно проканителиться. — Он задумался и, помолчав немного, добавил: — А то и две. Что было бы полной катастрофой.

— Только не для собаки, — сказала девушка. — Ей так и так конец.

— Она об этом не знает. Это было бы катастрофой для нас. Мы начинаем работать самостоятельно. Раньше работали втроем, а иногда и вчетвером. А тут решили рискнуть. Если выгорит, все башли поделим поровну на двоих. Дай-то бог, чтобы выгорело.

Мы расплатились и вышли, а я все смотрел на ее сильную шею, и прямой нос, и брови вразлет, и

подумал о том мужике, который будет ее трахать в Твери и которому она будет говорить, что он лучше всех; и если не лучше всех, то уж по крайней мере очень хорош. И представил простыню у них на кровати, которая намокнет от пота, но потеть будет он, а не она; ее тело останется сухим, и сильным, и твердым; а у этого малого не только не затвердеет, когда он уже будет кончать, а совсем размякнет, и потом он облепит ее этим своим телом, но не утомит. Не знаю, почему я об этом думал; может, слишком много выпил в автобусе, и такое полезло в голову. Но отогнать эти мысли не мог, еще я подумал, что у меня уже полно седых волос, как у того, который ждал ее в Твери и которого она еще не видела. Может быть, он вообще лысый. И потом, уже возле дома человека, который выдрессировал нашу собаку, я подумал, что даже если совсем поседею, у меня никогда не будет такой, как она — прямоносой, темноволосой и крылобровой.

Мы постучали в дверь, и в ответ раздался лай нашего пса. Человек, который нам открыл, стоял на пороге, широко расставив ноги; свет падал сзади, и лица его мы не видели, но он нас видел.

— Послушайте, — сказал он. — Я мало кого знаю в этом городе. Зато знаю самых отпетых.

— Забавно, — сказал Роберт. — Мы тут, в Хайфе, тоже никого не знаем. Зато знаем кучу людей в Тель-Авиве, в Эйлате. Даже пару-тройку в Содоме. — Роберт повернулся ко мне. — Наверно, невежливо с ним так разговаривать. Но ведь он заявил, что знает самых отпетых. А мы знаем лучших из лучших. То есть тех, на которых когда-то пробы негде было ставить, а теперь они в большом порядке. Но их-то как раз и надо остерегаться. — И опять обратился к человеку в дверях:

— Давай собаку.

— Я вам верну деньги, — сказал тот. — Не хочу его продавать. Передумал.

— Почему?

Он усмехнулся.

— Ты говоришь, ваши дружки были когда-то подонками, а сейчас ангелы. То же можно сказать про этого пса. — Он внимательно посмотрел на нас, а потом добавил: — Я вам его не продам. Известно, что вы с ним сделаете.

— Здесь, в Хайфе, я не знаю ни одного торговца собаками, — сказал Роберт. — А мне надо завтра утром быть в Тверии, притом с собакой. Без собаки я не работаю. Зачем тебе этот пес? И не все ли равно, что мы с ним сделаем? — Роберт шагнул вперед, и теперь они стояли нос к носу:

оба толстые, бледные и грузные — можно было подумать, откуда-то приехали, а не живут в этой стране, где солнце сжигает волосы и кожу и одежда быстро теряет цвет. — Ты знаешь, что добрая половина людей на свете недоедает? — спросил Роберт. — Что в Индии до сих пор матери на улицах всовывают в руки туристам грудных детей, потому что их нечем кормить? Ты подумал о том, что рабочий за железным занавесом может купить себе один дрянной костюм в месяц? Стоит ли переживать из-за какого-то пса?

— Я его не продам, — сказал тот. — Возьмите обратно деньги.

— Но я не умею работать без собаки.

— Вы не предупредили того малого в Яффе, у которого купили пса, что собираетесь с ним сделать.

— А он нас не спрашивал. Его интересовали только башли. Башли он получил, а нам нужна собака.

— Всех собак не перебьете. Но коли уж убиваете, моих не трогайте.

— Да ведь ты сам мелкий жулик. Продаешь специально натасканных собак, которые к тебе возвращаются.

— Жулик, это точно, — согласился он. — Но

ты меня плохо знаешь. У каждого человека есть слабое место. Я не позволю убить этого пса.

— А я без собаки не могу работать. Говорю это в последний раз.

Они стояли друг против друга и молчали, а я на них смотрел. И опять подумал, что тот мужик в Тверии, который ждет девушку с сильным телом и прямым носом, наверняка похож на этих двоих. И наверняка часами просиживает на солнце, но кожа его не становится темнее; а ночью он будет потеть, и его пот будет стекать по ее телу. И все вокруг них намокнет: простыня, ее тело, и пачка сигарет, лежащая рядом с ним на ночном столике, тоже станет мокрой, когда он обхватит ее своей рукой, толстой, тяжелой и бессильной, как рука ребенка. И наверняка запах его пота забьет запах ее тела, и запах рыб с Генисаретского озера, и запах деревьев за окном. А у этих двоих был именно такой вид.

— Кончай, Роберт, — сказал я. — Обойдемся без этого пса. Бери деньги и пошли отсюда. Еще неизвестно, удастся ли найти такси, которое на ночь глядя поедет в Тверию.

Роберт повернулся ко мне; он весь взмок, а я не мог оторвать от него взгляда.

— Без собаки? — спросил он.

— Естественно. Ты у нас будешь человеком, который ради спасения своей шкуры выдал немцам моего брата, а я приехал в Тверию, чтоб тебя убить.

Роберт плюхнулся в кресло и положил руки на подлокотники, а я смотрел на два мокрых пятна и думал, что через минуту все кресло намокнет и пропитается запахом его тела.

— Ты мог сообщить об этом в полицию, — сказал Роберт.

— Нет. Мне хотелось убить тебя собственными руками. Это не одно и то же. Я годами ждал удобного случая и для этого приехал в Израиль.

— Чтобы меня убить?

— Да.

— Допустим. А что дальше?

— Никакого дальше не будет. Я просто пересплю с этой образиной, а потом плюну тебе в рожу и скажу: я собирался тебя убить, но любовь этой женщины спасла тебе жизнь. Не хочу, чтобы ты подыхал. Живи сто лет и думай о том, что сделал.

Он уставился на меня, а я смотрел на темное пятно, уже появившееся на спинке кресла под его головой. Хозяин сидел в другом кресле; я и на него поглядывал.

— Трогательная история, — сказал Роберт. — Жаль только, на ней ни гроша не заработать. Кто нам даст деньги? И за что?

— Деньги отвалит она, — сказал я. — До того я успею пригрозить тебе пистолетом, а ты обратишься к адвокату. Потом заберешь свою жалобу обратно. Все это, разумеется, не задаром. В конце концов речь шла о твоей жизни — ты вправе был испугаться. И адвокат твой тоже порядочное дерьмо и бесплатно за такие дела не берется.

— Знаешь, а это неплохо, — сказал Роберт. — И чертова пса не придется кормить.

— Скажи ему, чтобы отстегнул сколько надо, и пошли отсюда, — сказал я. — Жалко время терять. Может, еще поймаем какое-нибудь такси в Тверию.

— Гони башли, — сказал Роберт.

Тот подошел к письменному столу; я видел, как мокрое пятно расплывалось у него на спине, пока он с трудом подымался и, тяжело дыша, пересекал комнату, и опять подумал, что клиент, которого подцепит девушка из автобуса, будет так же тяжело дышать, и она будет чувствовать его дыхание на своем лице и на своей сильной шее, которую мне не удавалось забыть. Я тихонько встал и пошел за ним, а в ту минуту, когда он

сунул руку в ящик стола, сказал:

— У тебя стена треснула. Там, под потолком…

И тогда он поднял глаза, а его рука в ящике вовремя не отдернулась, так что я даже успел упереться в стену и со всей силы пинком задвинул ящик; и, прежде чем он вскрикнул, закрыл ему ладонью рот.

— Бери пса, Роберт, — сказал я. — Я тоже не могу работать без собаки. Историю про человека, который хочет убить какого-то мерзавца собственными руками, я где-то прочел. Не моя вина, что он ее не читал. — Я наклонился к хозяину пса и сказал: — Я их всегда приканчивал с первого выстрела. Но твоего убью так, что он с девятью пулями в брюхе будет еще полчаса кататься по песку и выть. — Выпрямившись, я открыл ящик; там не было ничего, кроме нескольких фунтов, и я снова его закрыл. — Полчаса будет кататься и выть, — повторил. — Но потеть, пожалуй, не будет. А ведь это самое главное.

Мы взяли собаку и пошли к стоянке такси; и рано утром были уже в Тверии, и тогда я увидел этого человека. Он сидел в шезлонге, и я видел только мокрое пятно; а потом она встала с песка, и на ее теле не было ни крупинки; а потом эта моя каракатица поднялась с песка, и вид у нее

был такой, будто она перед тем извалялась в машинном масле, и она мне сказала:

— Отряхни меня, милый. Я, кажется, немного вспотела. Ох уж этот климат!

Тогда я снова посмотрел на девушку из автобуса, и она тоже на меня посмотрела; и мы оба знали, что пройдет еще много дней, прежде чем удастся отсюда уехать. Так мы с ней и стояли на солнце, глядя друг на друга, и тела наши были сухие и бронзовые; и это было самое скверное, потому что нам предстояло вобрать в цвет своих тел цвет чужих тел и в нашу сухую кожу — их пот.

Все было бы хорошо, если б не Роберт. Мы оторвали в Тель-Авиве по семьсот долларов и примерно столько же в Тверии, и этого бы хватило, чтоб прожить до самой весны, когда они снова приедут греться на солнышке. Этого бы хватило, но Роберт сказал:

— Будем снимать кино.

Я знал, чем это кончится, но почему-то не сказал, что мне неохота и пускай он снимает сам. Просто отдал ему все свои деньги, и потом мы с ним и еще двое сидели в кафе «Нога», и фамилия одного из этих двоих была Зискинд, и он числился президентом, а второго звали Алфавит, и он был вице-президент, а дело их представляло собой во-

рох бумаг со штампом «East Film Corporation». Оба оказались жутко болтливые, и вице-президент долго рассказывал мне, что жил во время войны в Копенгагене и что там находится самая большая коллекция барахла то ли этрусков, то ли еще каких-то сволочей; но я особо не прислушивался, чего он там говорит, потому что в жизни еще не встречал человека, у которого бы так страшно несло изо рта. Но президент Зискинд сказал, что Алфавит — лучший вице-президент среди всех киношников Израиля, потому что, когда нужно уладить какую-нибудь проблему, он наклоняется над чиновником или над человеком, которому «East Film Corporation» как раз задолжала кругленькую сумму, и не попадалось еще такого, кто бы выдержал дыхание вице-президента Алфавита. И когда я заявил, что не хочу с ними связываться и что башли, которые нам перепали в Тель-Авиве и Тверии, оставляю себе, Роберт дал знак, и вице-президент наклонился ко мне; пяти минут не прошло, как они вытянули все мои денежки; а на следующий день мы узнали, что оба удрали первым же самолетом из Израиля и что все, кого они облапошили, сидят теперь в кафе «Нога» и обмениваются опытом. Но мы с Робертом с ними не сидели, поскольку у нас не

было даже на кофе; мы стояли в подворотне на улице Гесс и смотрели на нашу гостиницу; уже начался сезон дождей, и мы знали, что до весны не добудем ни гроша.

— Может, Гарри даст комнату, — сказал Роберт.

— Если заплатишь, он тебе отдаст самое святое, что у него есть.

— Думаешь, это очень остроумно?

— Нет, — сказал я. — У меня и мысли такой не было. Просто мы стоим под дождем и беседуем. Сказать тебе, почему мы стоим под дождем? И почему я три дня ничего не жрал?

— Человек имеет право ошибаться.

— Именно поэтому мы тут и стоим. Но не потому, что я ошибся. Причина в том, что Алфавит — самый лучший вице-президент. Даже смрад разлагающейся собаки в сравнении с его нежным дыханьем ничто.

— Я с ним еще расквитаюсь.

Мы стояли под дождем, а напротив была наша гостиница, а на углу в закусочной продавали жареное мясо и гамбургеры, и мы видели, как люди покупают гамбургеры и уходят под дождь, а лицо человека, который жарил мясо, снизу было освещено огнем, и он выглядел как колдун.

— Это бы подошло для твоего фильма, — сказал я. — Неплохая сцена: двое стоят под дождем, а этот там продает мясо. Люди приходят, и покупают, и идут дальше. Но в твоем фильме, кажется, рота солдат застряла посреди минного поля, верно? И все ждут, чтобы кто-нибудь рискнул первым сдвинуться с места. А уж остальные пошли бы за ним. Как там у тебя дальше?

— Не говори об этом.

— Почему? Классная ситуация. Только хорошо бы еще к ним туда вице-президента Алфавита. Ему б даже вызываться самому не понадобилось. Уж ребята бы сумели его выпихнуть первым.

— У тебя есть сигарета?

— Есть, — сказал я. — Последняя. Погоди, у меня другая идея. Знаешь, кто единственный уцелеет? Вице-президент. Каждый будет рваться вперед, лишь бы оказаться от него подальше. И, естественно, все погибнут, и в конце концов он останется один, и пройдет по трупам, и ничего с ним не случится. А потом командующий армией наградит его за отвагу, правда, вручать орден ему пришлось бы в противогазе. Хотя и это не больно бы помогло.

— Мы должны продержаться месяц, — сказал Роберт. — Потом поедем в Эйлат. Там уже начнут

появляться туристы.

Я ничего не ответил; я стоял под дождем и смотрел на лицо человека, который жарил мясо, а в кармане у меня была еще одна сигарета. Ну и целая куча фотокарточек Евы, той девчонки из Иерусалима, которая покончила с собой. Только толку от них никакого не было; ни от фотокарточек Евы, ни от фотокарточек мужчин, отнимавших у меня девушек, которых я не мог забыть. И я подумал, что пустить их в ход удастся лишь месяца через полтора в Эйлате. Или, в лучшем случае, через месяц; но не раньше.

— Иди в гостиницу, — сказал я.

— Гарри не даст мне комнаты.

— Я приду попозже — с деньгами.

— Откуда ты их возьмешь?

— Не твоя забота. Думай лучше о солдатах, которые сидят посреди минного поля. И о том, что вице-президент единственный получит орден. Только он.

Роберт отошел, а я потащился на улицу Яркон. Проходя мимо кинотеатра, взглянул мельком на кучку стоящих перед ним людей, и даже темнота не помешала мне увидеть их лица. Они стояли не шевелясь, и каждый держал в руке бумажку в один фунт, я четко представил себе, какие у

них помятые и понурые физиономии. Было их четверо, и я знал, что у каждого есть только по фунту, а значит, не хватает пятого, чтобы купить порцию гашиша, который они потом будут жечь в бутылке, отбив предварительно горлышко и встав в круг. А потом, нанюхавшись, молча разойдутся. Если найдут пятого. Но я пятым быть не мог, у меня не было ни пиастра.

Я вошел в подъезд и поднялся по лестнице наверх. Постучался, и мне сказали:

— Войди.

Я вошел и остановился посреди комнаты. Человек, к которому я пришел, сидел за столом и раскладывал пасьянс.

— Я насквозь мокрый, — сказал я. — Заляпаю тебе пол.

— Под дождем все собаки мокрые, — сказал он. — Где твой пес?

— Он нам пока не нужен. Понадобится недель через шесть. Самое раннее через месяц.

— Хочешь чаю?

— Лучше бы коньяку, — сказал я. — Холодно.

— Коньяку я тебе не дам, — сказал он. — Если хочешь сегодня ночью работать, пить нельзя. Налей себе чаю. Он еще горячий.

Я пошел на кухню и налил себе чаю, а потом

вернулся в комнату и сел напротив него, глядя на его тяжелое неподвижное лицо.

— С чего ты взял, что я сегодня ночью буду работать? — спросил я. — И почему мне нельзя выпить коньяку?

Тогда он впервые взглянул на меня.

— Раз сюда пришел, значит, тебе нужны башли, — сказал он.

— Да. На месяц. Можешь дать взаймы?

— Нет. Могу дать заработать.

— Это будет не просто, правда?

— Тебя не загребут. Будь спокоен.

— Ясно. Уж ты-то знаешь, что делать, чтобы не загребли. Выкладывай.

— Хочу тебе сказать, что у меня транспортная фирма.

— Я даже знаю, что твоя фирма процветает, — сказал я. — И готов объяснить почему: никто не умеет при уплате налогов жульничать так, как ты. Если верить тому, что ты пишешь в декларациях, фирма твоя терпит сплошные убытки.

— Так оно и есть.

— Потому что ты играешь.

— Какая разница, почему.

Мне было холодно, и чай ничуточки не помог. Я смотрел на стоящую перед ним бутылку «Стока».

— Не валяй дурака, Исаак, — сказал я. — Дай глотнуть. Если тебе и впрямь от меня сегодня ночью что-то понадобится, наверняка это будет уголовщина.

Он протянул бутылку; я налил себе стакан и выпил, а потом выпил еще полстакана, и только тогда мне полегчало. Я отдал ему бутылку.

— Ты сегодня что-нибудь ел? — спросил он.

— Нет.

— Поешь по дороге.

— Куда я еду?

— Куда надо.

— С тобой?

— Один. С малым, который будет ехать за тобой следом.

Я рассмеялся.

— Но не доедет, правда?

— Доедет, — сказал он. — В ад, если в него верит. Хотя это лишнее. Достаточно, чтобы угодил в больницу. — Он замолчал и через минуту добавил: — Этого, впрочем, нельзя угадать наперед. Если б можно было заранее знать, чем все кончится, то и полиция вела бы себя куда умнее. Возможно, вообще бы ни с кем ничего не случалось.

— Но тогда бы мне сегодня ночью нечего было

делать, правильно?

— Что ж, стоял бы до утра под дождем.

Я подошел к столу и снова плеснул из бутылки себе в стакан. Не знаю почему, но глядя в его тяжелое и неподвижное лицо, я успокаивался. И тут я вспомнил про Роберта, который уже час стоит в вестибюле и выпрашивает у Гарри ключ, а Гарри на него даже ни разу не посмотрел и, верно, сидит сейчас, задрав ноги на стол и тупо уставившись перед собой. Это потому, что Гарри начитался детективов и насмотрелся фильмов, в которых ковбои часами сидят без движения, положив ноги на стол. Ну и еще потому, что Гарри — подонок. Мы все подонки: Гарри, Роберт и те двое, что нас обчистили. Только у этого человека, сидящего за столом и раскладывающего пасьянс, были деньги, и ему уже не требовалось быть подонком. У него ведь имелся я; и еще куча таких, как я.

— Если мне ехать сегодня ночью, говори скорей. Уже вечер.

— Завтра в Иерусалиме аукцион, — сказал он. — Продаются две хорошие машины. И я хочу их купить.

— Придется съездить в Иерусалим.

— Вся беда в том, что кроме меня туда собирается человек, который будет набивать цену. Я не

могу заплатить столько, сколько он, а упускать случай жаль. Один малый там, в Иерусалиме, разорился, и все его имущество идет с молотка. Машины можно купить по дешевке.

— Что от меня требуется?

— Этот человек поедет сегодня ночью. У него новая машина с необкатанным движком, и ехать он будет ночью, когда дорога пустая, чтобы не перегружать мотор. И еще одно: он никудышный водитель. Ты его обгонишь, и он потащится за тобой. Обычное дело. Называется: сидеть на хвосте. Когда ты тормозишь, он видит твои стоп-сигналы и тоже притормаживает. И так всю дорогу — катит и горя не знает. Я сам когда-то так ездил. Ты, наверно, тоже.

— Да, — сказал я. — Я тоже. Но почему ты думаешь, что я для тебя это сделаю?

Он посмотрел на меня.

— Ты ведь знаешь, чем я занимался, пока не основал фирму.

— Знаю. Служил в полиции. Откуда тебя вышибли. За взятки. Именно поэтому теперь ты — владелец транспортной фирмы.

— Только поэтому. А знаешь ли ты, что такое line up?

— Предпочел бы не знать.

Он в первый раз улыбнулся.

— Это еще почему? Не знал бы, не явился б сегодня ко мне. Сигаретой не угостишь?

— Нет, — сказал я. — Выкурил последнюю по дороге.

— Будь добр, спустись вниз и купи. Магазин на углу еще открыт. Потом рассчитаемся.

Я не шелохнулся. Теперь я смотрел в окно; дождь не унимался, и я знал, что здесь, в Тель-Авиве, лить будет еще недели три. Но уже через месяц можно будет поехать в Эйлат, а через полтора — в Тверию. И я подумал о человеке, с которым спала та девушка из автобуса, и об этой моей невесте из Тверии, и еще подумал, что им бы стоило приехать сюда сейчас. Хотя, надо полагать, они бы и сейчас потели.

— Ну что, сходишь за сигаретами? — спросил Исаак.

— Исаак, — сказал я. — Достаточно, что я сегодня сделаю за тебя грязное дело. И ты мне за это заплатишь. Но зачем ноги об меня вытирать?

— Ты спросил, почему я думаю, что ты можешь для меня это сделать, — сказал он. — И заодно напомнил о моей службе в полиции. Вот я и отвечу тебе как полицейский. Предположим, у нас

сейчас line up[67], ты стоишь в ряду, и какие-то люди тебя разглядывают, а я громко называю твою фамилию. Возраст — тридцать два года. Первый грабеж совершил в пятнадцать лет, но не был пойман. Затем последовало двадцать семь краж со взломом — это о которых известно, — притом на протяжении одного только года, что весьма недурственно для пятнадцатилетнего пацана. Потом вы с приятелем обокрали кого-то во Вроцлаве на Центральном вокзале, и тут тебя накрыли. Потом ты дезертировал из армии. Потом тебя привлекали в Германии за пьянство, в Швейцарии за пьянство, за измывательство над проституткой — в Израиле, за стрельбу — на Сицилии. Потом ты довольно долго был сутенером, пока твоя девушка не выбросилась из окна. После этого ты завязал и зарабатываешь на жизнь как брачный аферист. Твои приметы: рост — метр восемьдесят три, вес — восемьдесят килограммов, зеленые глаза, светлые волосы, продолговатое лицо, слева на лбу шрам. Это твои главные козыри, которые помогают тебе зарабатывать на хлеб обещаниями жениться. — Он задумался и, помолчав, продолжил: — Господи, вот что значит

[67] Примечания: 67

Здесь: процедура опознания подозреваемого среди нескольких человек (*англ.*).

потерять сноровку. Забыл добавить, что, водя грузовик в горах нашей прекрасной и далекой Польши, ты подрабатывал контрабандой. Это ведь было на чешской границе.

— И еще об одном ты забыл, — сказал я. — Что и здесь, в нашем любимом Израиле, я подрабатываю контрабандой. Доводилось возить разные вещи с разных границ. Благо у нашего любимого Израиля полно соседей. Но не это главное. Работал-то я на тебя.

— Угрожаешь? Совсем сдурел?

— Раз уж мы говорим начистоту…

— Тоже верно. Но ведь тебе сказано: я больше не полицейский и много чего забыл. Да и настоящим профессионалом никогда не был. Я всегда считал, что в работе полицейского воображение куда важней сноровки. Потому и разругался с начальством.

— Потому, да не только. У твоих начальников просто не хватило воображения представить себе, что полицейский время от времени…

Он перебил меня:

— Не надо повторяться. Именно благодаря этому возникла моя фирма.

— Кто этот человек?

— Какой человек?

— Тот, который будет в Иерусалиме.

— Мы друг друга не поняли. Задача в том, чтобы этого человека в Иерусалиме не было.

— Ты не дал мне договорить. Против городской больницы в Иерусалиме у тебя нет возражений?

— Фишбайн.

— Это у него, что ли, самосвалы?

— Он работал на строительстве стадиона.

— Я его знаю, — сказал я. — На какой он будет машине?

— Зеленый «шевроле».

— Номер?

Он назвал номер и спросил:

— Этот человек тебя знает?

— Нет, — ответил я.

Тогда он опять усмехнулся:

— Ты не умеешь врать.

— Я не вру, — сказал я. — Как-то я нанимался к нему на работу. Давно, когда ходил голодный, еще до того, как стал альфонсом. Мне сказали, чтоб я пошел к нему, и он даст мне работу. Работы он не дал и даже на меня не взглянул.

— Да, — сказал Исаак, — извини. Ты не соврал. Таких не запоминают.

— Какую машину ты мне дашь сегодня на ночь?

— «Додж». Полторы тонны.

— Слишком легкий. Дай «джи-эм-си», без крыши.

— У него маловата скорость. Этот тип будет стараться тебя обогнать.

— Не обгонит. Именно за это ты мне заплатишь. Будь спокоен. Я три года ездил на такой машине в горах.

— Наверно, в ту пору, когда подрабатывал контрабандой?

— В ту пору, когда ты брал у контрабандистов взятки. Не будем повторяться.

— И как ты хочешь это сделать?

— Я хочу еще выпить, — сказал я.

— Тебе вести машину.

— Не бойся. Я так легко не пьянею. Дай еще полстакана и кусок провода. Обычный шнур от лампы.

Он плеснул бренди в стакан, а потом вырвал из стоящей на письменном столе лампы шнур и протянул мне.

— Как я раньше не додумался, — сказал он. — Простые вещи редко приходят в голову.

Я отставил стакан и сказал:

— Точно. Кроме того, ты ведь вступил на праведный путь.

— Кто тебя этому научил?

— Однажды мы таким способом избавились от одного партийца, который был к нам приставлен. Как раз когда я работал в горах. Приехала комиссия экспертов из мотоклуба, ребята из органов, из милиции и еще комиссия от профсоюзов. Все пришли к одному выводу: погиб в результате собственной неосторожности. И что самое забавное, были правы. Просто он оказался никудышным стукачом.

— Хочешь чего-нибудь перекусить?

— Пойду на кухню и сделаю себе яичницу, — сказал я. — У нас еще есть время. У тебя отвертка найдется?

— Отвертка в машине.

Я пошел на кухню и пожарил себе яичницу, в которую всадил еще банку тушенки. И опять подумал о Роберте, который стоит рядом с Гарри, потому что ему некуда сесть; у Гарри хватало соображения не ставить возле своего стола стул: чересчур много таких, которые умудряются на стуле проспать до утра, и снится им то же самое, что и другим, спящим под одеялами, в тишине и покое. Впрочем, подумал я, Роберт сможет время от времени присаживаться на стул Гарри — Гарри пил много пива и часто ходил отливать, и тогда

Роберт мог минуту-другую отдохнуть; ему даже удастся подремать, пока Гарри не вернется и не вышибет пинком у него из-под задницы стул; и это будет очень смешно: ведь Гарри тощий и маленький, а Роберт — толстый и тяжелый; но у Гарри всегда это получалось. Роберт мог целую ночь стоять около Гарри и смотреть, как тот читает своего Майка Хаммера, но не имел права сесть на пол. Гарри никого не выгонял под дождь, но и никому не позволял садиться на пол; выбор небольшой, но все-таки выбор, и в том, что человеку приходилось стоять всю ночь до зари, был весь Гарри. И сейчас, уписывая яичницу, я подумал, что напрасно час назад мысленно назвал Гарри подонком. Какой он подонок, если позволяет стоять у себя целую ночь, когда на дворе льет дождь. Предыдущий портье был лучше, потому что разрешал спать в сортире, когда бывало совсем худо, но он умер от разрыва сердца; он был педераст, а я резал себе бритвой лицо, если он отказывался дать взаймы денег, и только после его смерти понял, что он меня любил. Я всегда все понимал слишком поздно. А теперь часто о нем вспоминаю.

Я съел яичницу, вымыл сковороду и вернулся в комнату. В бутылке уже ничего не осталось, а

Исаак все еще сидел над пасьянсом.

— И что у тебя вышло? — спросил я.

— Смерть.

— Об этом речи не было. Мы договаривались только, чтобы он угодил в больницу.

— Я тут ни при чем.

— Брось карты и пошли в гараж Зачем я вообще еду в Иерусалим? Если полиция спросит?

— У меня в Иерусалиме три мотора после капитального ремонта. Я уже несколько лет чиню машины в этой мастерской.

— Твой джип перед домом?

— Да.

Мы спустились вниз, и я сел за руль. Ехать было тяжело: дождь заливал стекла, а дворники работали недостаточно быстро. Но на шоссе это не будет иметь значения; я знал дорогу в Иерусалим и подумал, что в эту пору она будет пуста. В Израиле не разрешалось ездить быстрее, чем восемьдесят километров в час, а тот, что поедет за мной, и этого не потянет; он плохой водитель, и движок не обкатан, а все плохие водители, которые мнят себя хорошими, первые три или четыре тысячи километров ездят еще медленнее, чем им рекомендуют при покупке машины или после ремонта двигателя. Проезжая мимо площа-

ди, на которой собирались наркоманы, я опять их увидел, и было их только четверо; пятый человек с недостающим фунтом так и не появился.

— Вспомнил, — сказал я Исааку.

— Что?

— Вспомнил, что этот человек ел на обед, когда я пришел к нему просить работу. Он ел печенку с луком, а еще перед ним лежала холодная курица. И он даже не повернулся ко мне, только с набитой пастью сказал, чтобы я убирался вон.

— Может, у него в самом деле не было для тебя работы?

— А почему он не повернулся?

— Может, в тот день у него уже побывала куча народу, — сказал Исаак. — И небось каждому приходилось говорить одно и то же.

— Но повернуться он должен был. А так до сих пор не знает, как я выгляжу. Возможно, повернись он тогда, все было бы по-другому.

— Зачем об этом думать?

— Я не думал об этом много лет, — сказал я. — И только сегодня, когда мы завели этот разговор, вспомнил, что он тогда ел. Не знаю почему. Сколько я получу?

Исаак повернулся ко мне.

— Сколько он, по-твоему, стоит?

— Не знаю. Я никогда не видел его лица. Ничего не стоит.

— Может быть, от него тоже кто-нибудь отвернулся, когда ему было худо, — сказал Исаак. — А еще раньше кто-то отвернулся от того, к кому он пришел. И так, наверно, бывало всегда и со всеми.

— Будь не так, как ты говоришь, сейчас не было бы ни меня, ни тебя, — сказал я. — Сколько ты мне заплатишь?

— Скажи, сколько ты хочешь.

— Не знаю. Ты же слышал. — я не видел его лица. Видел, что он ел. Печенку с луком и холодную курицу. И еще, помню, он до этой курицы даже не дотронулся. Просто велел мне убираться вон.

— Хорошо, — сказал Исаак, — Сколько стоит одна курица?

— Два фунта.

— На каком километре ты его кончишь?

— Не знаю. Как получится. Вначале я буду ехать медленно, а когда он начнет меня догонять, заставлю сесть к себе на хвост.

— Хорошо, — сказал Исаак, — Я заплачу тебе за каждый километр по курице. Сделаешь его на сотом километре — получишь двести фунтов. Идет?

— Да. Но мне б хотелось поглядеть на его лицо. Это возможно?

— Зачем?

— Я же сказал: он тогда не повернулся.

— Не думай об этом. Помни, тебе предстоит тяжелая дорога. И этот проклятый дождь…

— Исаак, — сказал я. — А что бы случилось с твоими машинами, если б я сегодня к тебе не зашел?

— Завтра они так или иначе были б мои, — ответил он. — Именно потому, что все ото всех отворачиваются. Пока люди этого не поймут, такие, как ты, не переведутся.

— И такие, как ты, капитан, — сказал я.

Его машины стояли под открытым небом, а дождь не унимался ни на минуту. Пришлось взять переноску; я сунул ее в гнездо и подумал, что, если сейчас произойдет замыкание, с моими финансовыми трудностями будет покончено раз и навсегда. Я открыл капот, и, собственно, свет мне даже не понадобился: эти двигатели я знал лучше, чем мне бы того хотелось; я отсоединил провода от главного тормозного цилиндра, обмотал концы изоляционной лентой и прикрутил к цилиндру шнур, который мы захватили из дома; потом закрыл капот и протянул шнур под

приборной панелью. Держа оба конца в руке, я сказал Исааку:

— Отойди на шаг.

Я слышал, как он шлепает по грязи; он был очень грузный, а я никогда не мог понять, откуда в этой стране столько толстяков.

— Все, — сказал он.

Я соединил концы шнура, и зеленая искорка с сухим треском проскочила у меня между пальцами.

— Горит? — спросил я.

— Да. Попробуй еще разок.

Я опять соединил концы шнура и подумал, что произойдет с едущим за мной человеком, которому будет невдомек, что в последнюю минуту я нажму на тормоз, а концов шнура не соединю; и меня мучило, что я уже никогда не увижу его лица.

— Горит? — спросил я.

— Все в порядке, — сказал Исаак Он вернулся и сел рядом со мной. — Может, оставишь пока как было, а за городом перецепишь провода? Я тебе дам фонарик.

— Не нужно. Я сумею тормозить и одновременно рукой соединять концы. А сейчас гони задаток.

— На каком километре ты забудешь соединить концы?

— Не знаю. Может, на сотом? Потом определим по спидометру.

— Я не дам тебе задатка, — сказал он.

Я повернулся к нему, но лица не разглядел: в машине не было света, а на улице по-прежнему лил дождь.

— Это еще почему? — спросил я.

— Получишь все сразу, — сказал он. — Я знаю, что ты не подведешь. А теперь езжай на главное шоссе и не забудь его номер. И помни, что завтра я должен быть в Иерусалиме один. Вот две вещи, о которых тебе надо помнить.

— Я знаю также, о чем надо забыть, — сказал я и спрятал деньги в карман. — Не желай мне счастливого пути. Я суеверный.

Он уже уходил, но я его окликнул. Он приостановился, однако возвращаться не стал. Я видел, как дождь стекает по его волосам и по одежде; и деньги, которые он мне дал, тоже были мокрые.

— Я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить, — сказал он. — У него такое же лицо, как у всех людей.

— Было такое же, — сказал я; включил скорость и обогнал его. Ехал я осторожно, помня, что вся-

кий раз, нажимая на тормоз, должен соединять концы проводов. У выезда из города я увидел ресторан; остановил машину и вошел внутрь.

— Мне бы кофе — сказал я официанту. — И курицу с собой.

Он не шелохнулся. Я немного отупел после бессонной ночи и двух стаканов, которые выпил у Исаака, и не сразу понял, почему он стоит как столб, с обиженным видом. Они все уже давно, глядя на меня, строили оскорбленные рожи; и тем не менее я сразу не сообразил. Так мы стояли, наверное, с минуту; потом я полез в карман и вынул десять фунтов.

— Сделай хороший кофе. А курицу заверни в целлофан.

— Курицу сварить или зажарить? — спросил он.

Я не сразу ответил: стал вспоминать. Это было уже много лет назад, а я перед тем много дней ничего не ел. И в тот день стояла жара, а мне не хотелось надевать рубашку с короткими рукавами: я боялся, что он увидит мои худые руки и скажет, что у него для меня нет работы. Помню, я уже отправился к нему, но на полпути повернул обратно, чтобы взять рубашку у своего приятеля, который был на голову меня ниже; рукава рубаш-

ки, когда я их опустил, не скрывали худобы моих рук. Только потом я пошел к нему, но он на меня даже не посмотрел, и вообще напрасно я брал ту рубашку. И тут я вспомнил, что курица была вареная; этот человек был толст, а день неспешно сгорал при температуре пятьдесят градусов, и Бог не послал в тот день ветра; так что я не ошибся: перед нами наверняка лежала вареная курица — она переваривается намного лучше, чем жареная. В желудках тех, у кого есть деньги, чтобы ее купить и съесть. Только он курицы не ел; он был слишком сытый, слишком усталый, и, как я сказал, Бог не послал ветра в тот день.

— Сварить, — сказал я. — И заверни в целлофан.

Я вышел; и только проехав километров тридцать, увидел в зеркале его машину и поддал газу. Я делал сорок пять миль в час и, тормозя перед поворотами, всякий раз предупреждал его, сигналя хвостовыми огнями; в конце концов он полностью мне доверился и ехал впритык, повторяя все, что делал я. Держа в руках концы шнура, я выехал на поворот и затормозил, упершись скрещенными руками в руль — кстати, напрасно: удар был не так силен, как я ожидал. Моя машина весила четыре тысячи восемьсот килограммов, и

его «шевроле» отлетел от моего заднего бампера. Я смотрел, как он скатывается вниз по склону, и думал, что теперь надо бы выйти и наконец увидеть его лицо. Но выходить не хотелось; я бросил ему вдогонку курицу в целлофане, за которую час назад заплатил три фунта, и сказал себе вслух:

— Сегодня не жарко. Можешь смело ее сожрать, и ничего тебе не будет.

А потом мне пришлось проехать еще тридцать километров вперед до ближайшей бензоколонки, так как дорога была слишком узкой, чтобы на ней мог развернуться военный автомобиль «Дженерал моторс», и оттуда вызвал «скорую», а потом, попозже, позвонил в больницу с той же самой бензоколонки, и мне сказали, что смертельной опасности нет. У него сломана затылочная кость, и, чтобы вертеть головой, придется до конца жизни носить кожаный ошейник.

— Именно это мне и было нужно, — сказал я сестре, с которой разговаривал.

— Не понимаю, — сказала она.

— Кто-то когда-то от тебя отвернулся, потому и не понимаешь, — сказал я. — А раньше от этого человека отвернулся кто-то другой. А от этого другого еще кто-то. Теперь понятно?

— Нет, — сказала она.

— И мне тоже. Мы с тобой вряд ли когда увидимся, но хочу пожелать, чтобы у тебя не было нужды понимать такое, — сказал я и, повесив трубку, вернулся в Тель-Авив.

Я поставил машину на место и отсоединил ламповый шнур, а к контактам тормозного цилиндра прикрутил концы от стоп-сигналов. Шнур смотал, сунул в карман и пошел в гостиницу. Закусочная на углу улицы Гесс была еще открыта; я зашел туда и купил три гамбургера и несколько бутылок пива, а потом по лестнице поднялся наверх. Все было так, как я думал; Гарри сидел развалясь на стуле и читал Майка Хаммера, а я не удержался от искушения и заглянул ему через плечо.

— Про то, что ли, как Майк зафигачил девицу в пропеллер самолета? — спросил я.

— Да, — сказал Гарри.

— Ты ведь это уже читал?

Он мне не ответил; Роберт стоял у стены, но не это меня удивило; за столом рядом с Гарри сидел какой-то мужчина и пил бренди «Сток восемьдесят четыре»; то, что мы всегда пили.

— Я забыл сказать тебе «добрый вечер», Гарри, — сказал я. — Говорю сейчас.

Он и тут не ответил. Я пинком вышиб стул у него из-под задницы, и он плюхнулся на пол, а

книга упала рядом. Я поднял ее и протянул ему.

— Добрый вечер, Гарри, — сказал я.

— Цифры есть?

— Дай мне двухместный номер, — сказал я. — Положить два фунта на стол или на пол, поближе к тебе?

— Положи на стол, — сказал он, и тогда я помог ему встать. Он дал мне ключ.

— Вообще-то надо бы тебя выгнать, — сказал он.

— Конечно. Но, во-первых, я научился этому у тебя; а во-вторых, хозяин гостиницы сейчас в Америке, так что ты сможешь эти два фунта заначить. — Я пошел было наверх, но в дверях обернулся. — Ты начинаешь делать исключения, Гарри, — сказал я.

— Никаких исключений. Все платят вперед.

— Я не про то. Я про малого, который сидит рядом с тобой и пьет. Почему ты не разрешил сесть Роберту?

— У этого человека есть номер. Он принес себе стул и спросил, нельзя ли возле меня посидеть. Не может спать по ночам. Он миссионер.

— Странно, — сказал я. — У кого-кого, а уж у него должна быть чистая совесть. Говорят, против бессонницы нет лучше средства.

— Если б и вправду так было, ты бы до конца жизни глаз не сомкнул, — сказал Гарри.

— Я только повторяю то, что слышал. Он говорит на иврите?

— Только по-английски.

— Скажи ему, чтобы пошел к блядям. Может, после этого заснет.

— Он тут с женой, — сказал Гарри. — Отчего, думаешь, сидит у меня и пьет? Не хочет ей мешать.

Мы с Робертом пошли наверх; Роберт рухнул на кровать, а я вытащил из кармана все три гамбургера и положил на свой ночной столик. А потом откупорил бутылку пива и стал смотреть сквозь дождь на человека, который торговал жареным мясом, но дождь был слишком сильный, чтобы можно было разглядеть его лицо; так что я видел только свет и его белый колпак.

— Что это? — спросил Роберт.

— Гамбургеры, — сказал я.

— Недурная жратва.

— Смотря на чей вкус. Гамбургер неплохо перехватить, когда у тебя две минуты времени и надо бежать дальше.

— Я три дня ничего не ел, — сказал Роберт.

— Лежи себе спокойно и не двигайся, — сказал я. — Чтоб не терять калорий. Если когда-нибудь

соберешься снимать кино с президентом Зискиндом и это будет фильм о ребятах, которые сидят за решеткой, не вздумай заставлять их бегать по камере и рассуждать о жизни и смерти. В тюряге нужно как можно больше лежать. При каждом движении теряешь калорию. Тебе следует это знать. Ведь ты у президента Зискинда консультант по художественной части. Просто лежи спокойно и старайся заснуть. Во сне не чувствуешь голода.

— Я не могу спать, когда в желудке пусто.

— Я тоже.

— Но сегодня ночью ты голодным не останешься.

— Это уж точно. Только тебе какая корысть? Ты-то сыт не будешь, если я скажу, что нажрался.

Дождь на минуту стих, и тогда я увидел, что какие-то двое прицепились к негру. Негра я знал; он был одним из тех, которые вечером стояли перед кинотеатром и ждали пятого. И, видимо, этот пятый пришел, и негр получил свою порцию гашиша.

— Странно, — сказал я.

— Что?

— Негр этот, Ибрагим, курит гашиш и пьет. А ведь говорят, среди алкоголиков почти нет

наркоманов.

— Я три дня не жрал, — сказал Роберт.

— Не думай об этом, — сказал я. И принялся за второй гамбургер; жевал не спеша, запивая пивом прямо из горлышка. — Я однажды не ел одиннадцать дней. А потом приглядел одного богатого американского туриста, который ходил в ночной бар на Ярконе танцевать со шлюхами, и подстерег его, когда он возвращался, нализавшись, к себе в гостиницу. Подошел и ударил, но был слишком слаб и, когда он меня толкнул, упал, а подняться уже не хватило сил. Тогда он наклонился надо мной и посветил в лицо газовой зажигалкой. А потом пошел дальше. У тебя случайно нет соли?

— Нет. Зачем тебе соль?

— Гамбургер несоленый, — сказал я. — Вообще-то у меня нет аппетита. А до завтра он засохнет.

— Если хочешь, я спущусь за солью к Гарри.

— Нет. Ты должен лежать спокойно. Я ведь тебе сказал, что при каждом движении человек теряет калорию. Сколько дней ты не ел?

— Три.

— Это еще пустяки. Увидишь, что с тобой будет через неделю. Начнутся галлюцинации, а потом поллюции, во что даже трудно поверить. Я

спрашивал у разных врачей, почему у человека, который подыхает с голоду, бывают поллюции, но ни один не смог мне ответить. Просто твой организм, как порядочный, избавляется от всего, чему надлежит остаться здесь, на земле.

Я покончил со вторым гамбургером и опять отхлебнул из бутылки пива. Те двое на углу теперь держали негра за руки, и один из них бил его по лицу, а я видел, как Ибрагим, который был на голову выше бьющего, изворачивается всем телом, но тот всякий раз попадает в цель, хотя меньше ростом и легче.

— Н-да, — сказал я. — Турист, стало быть, пошел дальше, а я поплелся на пляж, чтоб немного поспать. Там кантовался один псих, который днем караулил шезлонги и тут же ночевал все лето, а я к нему ходил, и он разрешал спать на шезлонге до самой зари. Я потащился к нему, и он дал мне шезлонг, но меня быстро разбудили. Малый, которого я зацепил, привел с собой двух дружков, и они поинтересовались, что я предпочитаю: пойти в полицию и признаться в нападении с целью грабежа или прокатиться с ними за город. У них, понимаешь ли, имелся джип.

Я подошел к окну и открыл его. Те двое, на углу, уже угомонились, а негр стоял, повернув-

шись к стене. Я часто видел его ночью стоящим неподвижно лицом к стене; не знаю, что на него нападало.

— Ты зачем открыл окно? — спросил Роберт. — Здесь ведь хороший воздух.

— Я разве говорил, что собираюсь проветривать?

— Тогда почему тебе понадобилось открывать?

— Потому что дождь перестал, — сказал я и высунулся наружу. — Может, высмотрю какую собаку.

— Собаку? Сейчас? Собака нам понадобится дай бог через месяц.

— Мне она понадобится сейчас, — сказал я. И продолжал, повернувшись к нему спиной, глядеть в темноту; но видел только негра, который стоял лицом к стене, неподвижный, как дерево в глубокой долине, где не бывает ветров и бурь; никакой собаки я не увидел. — Нет ни одной, — сказал я. — Все спят. Я бы тоже спал, если б мог.

— И я тоже.

— Спи. Погасить свет?

— Все равно не засну. Не жрал три дня.

— Н-да. Давай я тебе доскажу. Значит, когда они прикатили за мной на этом джипе и спросили, что я предпочитаю: прогулку с ними или визит

к прокурору, который пришьет мне попытку нападения с целью грабежа, я сказал, что поеду с ними. Тогда они вывезли меня за город и привязали к раме джипа, а один достал тряпку и сказал, что тот, обиженный, сам со мною поговорит. Я сказал, что самосуды запрещены. А он мне сказал, что они все обдумали еще до того, как я их проинформировал, и обработают меня так, что ни малейшего следа не останется. И сказали, что в таких случаях надо бить через мокрую тряпку, а я им сказал, что у них нету воды. Тогда они по очереди помочились на эту тряпку, обмотали мне рожу, а потом тот, на которого я напал, час лупил меня по щекам. Но они были правы.

— Нет, — сказал Роберт. — Не были они правы. Им следовало тебя простить. Ведь ты был голоден.

— Я не это имел в виду, когда сказал, что они были правы. Мне пообещали, что не оставят следов, и следов не осталось. — Я высунулся и увидел собаку, бегущую посреди улицы с поджатым хвостом. — Есть, — сказал я.

— Кто?

— Пес.

— Зачем тебе пес? Хочешь убить пса задаром?

Я повернулся к нему и показал гамбургер, кото-

рый держал в руке.

— Ты, видать, спятил, — сказал я. — Вспомни, как я болею, когда приходится в них стрелять! Я уже полчаса высматриваю собаку, чтобы бросить ей гамбургер. С тремя враз мне не справиться.

Я высунулся из окна, свистнул, и пес остановился. Я бросил ему гамбургер; пес обнюхал его и, не тронув, потрусил дальше, а я рассмеялся.

— Забыл, что собаки не любят кетчуп, — сказал я Роберту. — А я туда всадил черт-те сколько. Без кетчупа гамбургеры — преснятина. Да и три подряд никому не съесть. Спокойной ночи.

Я взял свои бутылки с пивом и пошел к двери. Увидел, что Роберт натягивает штаны.

— Ничего не выйдет, — сказал я. — Дверь я запру на ключ с той стороны. Знаю, о чем ты думаешь. Теперь небось начнешь еще сильней ненавидеть собак. Она этот гамбургер даже не лизнула. Спокойного сна.

Я оттолкнул его и спустился вниз, заперев предварительно дверь на ключ. Гарри спал; книжку он держал в руке, но это была уже другая история — про то, как Майк Хаммер выстрелил своей беременной любовнице в живот, из всех рассказов о Майке именно этот Гарри любил больше всего, а ведь у него было пятеро ребятишек, которых он

обожал. Человек, сидевший у стола раньше, сидел и теперь, так же неподвижно, только стоящая перед ним бутылка была пуста.

— Хочешь пива? — спросил я у него по-английски. Он вылупился на меня. Так говорят по-нашему, но мне следовало бы сказать: поднял на меня взор.

— Я только завтра получу деньги, — сказал он.

— Я не о том. Пивка глотнуть хочешь?

— Спасибо.

— Как к тебе обращаться? Отец?

— Нет, — сказал он. — Меня зовут Шон.

— Забавно, — сказал я. — Прямо как того малого, который играет Джеймса Бонда. Сейчас все с ума по нему посходили. Один только Гарри без конца читает Майка Хаммера.

Я откупорил бутылку и протянул ему.

— Пей прямо из горла, — сказал я. — Оно еще холодное. У израильтян хорошее пиво. Но эти фильмы с Бондом ни хрена не стоят.

— Почему?

— Потому что там каждую минуту взрываются автомобили. Человек налетает на дерево и мгновенно сгорает. Прости, я сейчас. Мне нужно позвонить.

Я подошел к телефону и набрал номер Исаака.

Через секунду послышался его голос.

— Ночью для меня не существует друзей, — сказал Исаак. — Я хочу спать.

— Я только хотел тебе сказать, что фильмы с Джеймсом Бондом ни хрена не стоят, — сказал я. — Минуту назад мы как раз говорили об этом с одним миссионером.

— Ты пьян, — сказал он и повесил трубку. Я подождал немного и снова набрал его номер.

— Это правда никудышные фильмы, — сказал я. — Я потому и звоню, что знаю: ты без ума от этого шпиона. А там в каждой катастрофе автомобили взрываются. Мне очень жаль, но это не так. Я сегодня видел машину, которая свалилась с высоты в тридцать метров, и никакого взрыва не произошло.

Он ответил не сразу; я услышал, как чиркнула спичка.

— А что случилось с человеком, который был в машине? — спросил он.

— Он в лучшей иерусалимской больнице. А потом ему еще придется черт-те сколько торчать в реабилитационном центре, пока его не научат ходить и ворочать головой. Спокойной ночи.

Я повесил трубку, и в этот момент проснулся Гарри.

— Шестьдесят пиастров, — сказал он.

Я вынул из кармана фунт, он дал мне сдачу и тут же заснул.

— Ты здесь давно? — спросил я миссионера.

— Год.

— И долго еще пробудешь?

— Месяц. Я жду парохода и возвращаюсь в Канаду.

— Не понравился Израиль?

— Не поэтому. Мне не удалось обратить ни одного человека. Просто мое начальство меня отзывает. — Он глотнул пива, а потом сказал: — За профессиональную непригодность.

— Не горюй, — сказал я. — Здесь был Билли Грэм[68] и тоже уехал ни с чем.

Какая-то женщина вошла в гостиницу и задержалась в дверях.

— Боже мой, — сказал я. — Это опять ты?

— Поверни лампу, — сказала она.

На столе у Гарри стояла конторская лампа; я повернул ее так, чтобы свет падал на стену.

— Теперь нормально? — спросил я.

Она подошла к нам, но остановилась в двух шагах, так что мы не видели ее лица. Показала

---

[68] Примечания: 68

Билли (Уильям Франклин) Грэм (1918–2018) — известный американский проповедник и богослов, баптистский священник.

пальцем на миссионера, сидящего рядом со мной с бутылкой пива в руке.

— Кто это?

— Миссионер.

Она вынула из сумки фотокарточку и дала мне.

— Не хватай за середину, — сказала. — Держи за край. Это моя единственная фотография. Покажи ему и скажи, что когда-то я была такой.

Я взял карточку у нее из рук и показал миссионеру.

— Когда-то она была такой, — сказал я. — Пока не попала в автомобильную катастрофу. Ее зовут Луиза. Ты лучше на нее не смотри. Я не настолько знаю английский, чтобы описать, как она выглядит. Да и на своем родном языке тоже бы не сумел. Посмотри на фото и скажи ей, что она была красивая.

— Очень красивая, — сказал он.

Я вернул ей карточку.

— Почему ты ее не переснимешь? — спросил я. — Ведь в один прекрасный день от нее ничего не останется.

— А если фотограф испортит?

— Заплатишь — не испортит. Сделай себе по крайней мере дюжину копий.

— Боюсь, — сказала она. — Он может залить ее какой-нибудь кислотой. Это мой единственный снимок.

— Тем более, — сказал я. — А ты вдобавок пьешь. Что будет, если однажды ее потеряешь? Здесь, на Бен-Иегуда, есть хороший фотограф. Дай мне карточку, я пойду к нему и послежу, пока он будет переснимать.

Она молчала, а я смотрел в пол. Как-то я видел ее днем, и еще раз такое увидеть мне б не хотелось. Тогда это было мое единственное желание.

— Боюсь, — сказала она. — Я иду спать. Можешь направить лампу на потолок, пока я буду подыматься по лестнице?

— Да, Луиза, — сказал я. — Спокойной ночи.

Я повернул лампу, чтобы свет падал на потолок, а она прошла мимо нас и пошла по лестнице наверх; потом я услышал, что она запирает дверь, — теперь уже можно было повернуть лампу обратно.

— Самая красивая девушка в городе была, — сказал я. — Да попала в эту проклятую катастрофу. Только одна фотография и осталась. Ну и она ее всем показывает. Если, конечно, под градусом.

— А если нет?

— Не выходит из комнаты. Гарри приносит ей

еду и ставит под дверь. У нее богатые родственники в Америке, присылают деньги. — Я выпил еще глоток пива и спросил: — Что же ты будешь делать у себя в Канаде? Ведь там некого обращать.

— Да. Все равно никто в Него не верит. Закрыли перед Ним двери и окна и сидят у телевизоров. И это для них глас Божий.

Он вдруг заснул — мгновенно, как ребенок, просто голова его упала на стол, а я в последний момент поймал бутылку с пивом, которая выскользнула у него из руки. Гарри спал, и мне не хотелось его будить; я заглянул в регистрационную книгу и увидел, что Шон живет в седьмом номере. Попытался его поднять, но ничего у меня не вышло; он был тяжелый, а я не спал три ночи и позади у меня были двести километров под дождем. Или двести кур.

Я постучал в дверь комнаты номер семь, и через минуту мне открыла какая-то женщина.

— Прошу прощения, — сказал я. — Священник этот, который спит внизу, пьяный в доску, ваш муж?

— Да, — сказала она.

— Я хотел его приволочь, — сказал я. — Но не потянул. Он тяжелый, а я несколько ночей не спал.

— Разбуди портье, — сказала она. — Принесите его и разденьте.

— Таким тоном будешь со мной говорить, когда у тебя на счету заведется двести тысяч долларов, — сказал я. — Тащи сама.

Я развернулся, а она пошла за мной. Мы взяли Шона под руки и приволокли в комнату. Я положил его на кровать.

— Хоть ботинки с него сними, — сказал я.

— Нет. Это он захотел ехать сюда и обращать евреев. Сперва его освистали в Хайфе, потом в Тель-Авиве, потом в Беэр-Шеве. Осталось еще какое-нибудь место, где бы его снова могли освистать?

— Вроде нет. Его еще освищут. Но уже у вас дома. Неужели ему никого не удалось обратить?

— Никого. Во всей стране не нашлось ни единого человека. А я сидела, когда он читал свои проповеди, и смотрела, как над ним смеются. А теперь его отозвали. Наш пароход придет через месяц.

— Сними хоть ботинки.

— Нет.

Я расшнуровал его туфли и расстегнул рубашку, но он даже не пошевелился. И не пошевелился, когда я подсунул подушку ему под голову.

— Для клирика он малый хоть куда, — сказал я. — Давно так пьет?

— Месяца два. С тех пор, как его в какой-то там раз освистали. Есть здесь кафе, где можно посидеть до утра?

Я посмотрел на часы.

— Уже утро.

— Не хочу быть с ним в одной комнате. Я ему говорила, чтобы пьяный не приходил.

— Это я виноват. Он спал себе в холле, голова на столе. Я подумал, что церковному начальству незачем такое про него знать.

— Они знают то, что им важно знать. Он не спас ни одной души.

— Ошибаешься, — сказал я. — Он спас собственную душу. Убедился, что есть еще люди, которые не желают отрекаться от своего Бога. Для него это должно быть самым главным. Спокойной ночи.

Я закрыл за собой дверь и поднялся наверх. И, засыпая, подумал о бедном миссионере, уговаривающем рожденных на этой земле людей отречься от своего Бога; и еще подумал, что приходилось испытывать ей — сидящей, вероятно, в первом ряду и из вечера в вечер слушающей, как смеются и свистят те, кого он уговаривал; потом я заснул.

Мы с Робертом сидели на диване, а этот человек и его жена уселись напротив.

— Ну и как это будет выглядеть? — спросил хозяин дома. Я его когда-то раньше видел; пятидесятилетний бандюга, который заработал достаточно, чтоб завязать.

— Я вам уже говорил, — сказал Роберт. — От вас потребуются только небольшие инвестиционные затраты, а выручку потом поделим на три части.

— Сколько вам нужно?

— Пятьсот фунтов.

— Пятьсот фунтов для Израиля многовато.

— Одна собака обойдется фунтов в сто. В последний раз мы заплатили за пса восемьдесят, да еще пришлось его откармливать, а то он был тощий, как святой Симеон Столпник.

— Остается четыреста.

— А гостиница? А еда? А если понадобится пригласить невесту на чашечку кофе?

— Я думал, дело поставлено так, что платить будет она.

— Умоляю: не учите меня. Конечно, платить будет она. Но вся штука в том, что малый готов истратить последний грош, лишь бы сделать ей приятное. Ему плевать, что завтра придется класть зубы на полку. Он думает только о сего-

дняшней ночи, когда она подарит ему счастье. Необузданный нрав. Последний романтик. Не понимаете?

— Да ведь за такого мужчину никто не пойдет, — сказала жена хозяина дома. — С таким хорошо провести одну ночь, а не всю жизнь, — и обратилась ко мне: — Выпьете что-нибудь?

— С удовольствием, — сказал я.

— Нет, — сказал Роберт. — Ему нельзя пить.

— Почему?

— Отекает. Слишком много раньше пил. Почки сдают. А у него на лице должна быть печать страданий. Бессонные ночи, тоска по настоящему чувству, нравственные терзанья. Неужели не понимаете? Хотите, чтоб я выдавал этих женщин за человека, который смахивает на Винни-Пуха? Попробуйте сами такое провернуть. А я погляжу со стороны. Готов в любой момент дать вам взаймы денег на обратный билет в Тель-Авив.

— И вы собираетесь всучить его женщине, которая будет знать, что у него больные почки?

— Она этого знать не будет. Может, вы полагаете, я ей об этом доложу? Я похож на такого идиота, да? Или думаете, прихвачу с собой его реакцию Вассермана? Неужели вы так думаете?

Роберт умолк; они все переглянулись. Я смотрел

в окно; дождя сегодня не было. На улице перед домом росло дерево, названия которого я не знал, и я подумал, что хорошо бы через месяц прийти и поглядеть, какое оно в цвету. Но потом вспомнил, что Роберт всегда заставлял меня сравнивать женщин с молодыми деревьями весной, и повернулся к окну спиной.

— Сколько вам лет? — спросил хозяин.

— Тридцать два.

— Я бы дал вам по крайней мере на десять больше.

— Можете и впредь так считать. Мне все равно.

— Зато мне не все равно, — сказал он. — Если вы всерьез хотите, чтобы я участвовал в этом деле.

— Да ведь лучше расклада не придумаешь, — сказал Роберт. — Боже, ну как же вы ничего не понимаете! Во-первых, у этих его невест климакс закончился еще во время русско-японской войны. Во-вторых, каждой хочется, чтобы малый выглядел хотя бы не моложе ее. Посмотрите на него и посмотрите на этих молодых актеров. Они все дети: Делон, Дин, и этот чертов Брандо тоже как огурчик, хотя изо всей этой банды один что-то умеет. А теперь поглядите на него. Это больной человек. С телом у него все в порядке, больна

душа. Впрочем, вам этого не понять.

Он замолчал. Все трое застыли, уставившись на меня. Мне на них смотреть не хотелось; я опять взглянул на дерево за окном, и опять мне припомнилось, что все эти наши невесты, из которых давно сыплется песок, похожи на молодые деревья весной. И что мне нужно их сравнивать с соловьиной песней, с тихим утром и с чем-то еще — с чем, я уже забыл, но Роберт помнил.

— Если б он отпустил длинные волосы, выглядел бы гораздо моложе, — сказала хозяйка дома.

— Он должен выглядеть так, как выглядит. О своей внешности он не заботится. Вы знаете, что я не позволяю ему пользоваться одеколоном после бритья? Бреется он, потому что надо бриться, а на остальное ему плевать. Он любит только свою собаку и память о своей девушке, которая от него ушла. — Роберт повернулся ко мне: — Давай фото.

Я вытащил из кармана фотокарточку и протянул хозяйке дома. Она поднесла снимок к глазам и немедленно отдала мне обратно.

— Не знала, что ваша девушка лысая и со вставными зубами, — сказала она. — Ей бы по крайней мере не следовало улыбаться.

— С тебя ни на секунду глаза нельзя спустить, —

сказал Роберт. — Он перепутал очередность. Это фотография того типа, к которому ушла его девушка.

— А зачем ему его фотография?

— Он мазохист. Ненавидит себя самого еще сильнее, чем человека, который отнял у него женщину. Вы когда-нибудь думали о самоубийцах? Вам известно, что современная психиатрия считает самоубийство ярчайшим проявлением ненависти к себе? Нет? Не интересовались? Жаль. В мировой литературе описан только один самоубийца, который кончает с собой, испытывая нежные чувства даже к пауку, ползущему по стене. Не читали? Значит, вам не понять, что эта фотография — первый шаг.

— И все же я бы рекомендовал вам отпустить длинные волосы, — сказал хозяин дома и попросил жену: — Будь добра, принеси из холодильника чего-нибудь выпить. Я устал.

Она встала и ушла, а я посмотрел на него и улыбнулся. Он тоже улыбнулся.

— Нет, — сказал я. — Напрасно вы улыбаетесь. Вам кажется, что женщины любят мужчин, которые моложе их, но это вовсе не обязательно. Вы судите по себе, поскольку вам нравятся молоденькие проститутки. Как, например, эта.

Я вытащил из кармана карточку и дал ему.

— Вот почему я не мог показать эту фотографию при вашей жене, — сказал я. — Ничего я не перепутал. Просто боялся, что вы с собой не совладаете и побледнеете или вас бросит в пот. Я вас не знаю. И предпочел не рисковать.

Он тяжело вздохнул.

— Теперь я вижу, дело у нас пойдет, — сказал он и протянул мне руку; я ее пожал, а потом то же самое сделал Роберт. — Вы знаете, где она сейчас? — спросил он шепотом.

Я не успел ответить: его супруга уже вернулась с подносом, на котором стояли четыре стакана виски с содовой.

— Один стаканчик ему не повредит, правда? — спросила она у Роберта.

— Ладно уж, — сказал Роберт. — На прощанье: мы ведь уже обо всем договорились.

Мы выпили виски и поставили стаканы на поднос. Хозяин дома долго сидел не шевелясь, только потирал темя.

— Видите ли, — сказал наконец он. — Все, что у нас есть, принадлежит нам обоим. Мне и моей жене, поровну. Дом, машина, деньги.

— Зачем вы об этом говорите? — спросил я. — Я не собираюсь разводить вас с вашей женой.

— Не в том дело. Я хочу сказать, что деньги, которые мы вложим, наши общие, и решение мы должны принять сообща. Понимаете?

— Да.

— Будьте любезны, спустите на секундочку брюки.

— Вы же знаете, что я не еврей. На этом все и строится. Разные языки, разные ментальности — нет такой идиотки, которой бы не захотелось преодолеть этот барьер.

— Я другое имел в виду. Ради бога, поймите меня правильно.

Я снял штаны и встал. В стакане у меня оставалось еще немного виски; придерживая спущенные до колен брюки, я не спеша взял другой рукой стакан и выпил виски до дна.

— Скажете, когда можно будет одеться, — сказал я. — Но если это затянется, я попрошу еще стаканчик.

Хозяин дома посмотрел на жену.

— Ну что? — спросил он.

— Откуда я могу знать?

— А кто может знать?

— Заранее никогда не угадаешь.

— Но глаза-то у тебя есть.

— Это еще ни о чем не говорит.

— Откуда ты знаешь?

— В том-то и дело, что не знаю.

— Как не знаешь? Откуда тебе известно, что ты не знаешь?

— Ну откуда же мне знать?

— Нет, погоди. Ты уже сказала, что не знаешь. Как ты можешь знать, да или нет?

— Попрошу еще виски, — сказал я. Но они меня даже не услышали.

— Не знал, что у тебя такой богатый опыт, — сказал он. — Раньше ты ничего подобного не говорила. А тебе всего двадцать один год.

— Я тебе сказала, что не знаю.

— Нет. Ты сказала, что этого нельзя знать. Откуда ты можешь знать наперед?

— Я тебе сказала именно, что не знаю, — крикнула она.

— Иногда, когда человек говорит «не знаю», это означает больше, чем если б он сказал, что знает все.

— Перестань на меня кричать.

— А ты почему кричишь? Коли уж у тебя такой большой опыт в обращении с мужчинами, следовало бы знать, что я не из тех, от которых можно криком чего-то добиться, — заорал он.

— Дайте мне, пожалуйста, виски, — сказал я.

— Заткнись, — прикрикнул он на меня. — Я хочу, чтоб она сказала, тратить мне мои деньги или нет?

— Твои деньги? — удивилась она. — А когда они у тебя были? Если б не мой отец с его денежками, ты бы сейчас вкалывал на стройке за триста фунтов в месяц.

— Твой отец не дал мне и половины того, что обещал.

— Вот, значит, как?

— Что как?

— Ты женился на мне ради денег, — сказала она. — Я всегда это подозревала, но не хотела подымать разговор, Что ж, благодарю за откровенность. Спасибо.

— И тебе спасибо.

— Еще бы. Столько денег, сколько дал тебе мой отец…

— Я тебя не за деньги благодарю. Я тебя благодарю за откровенность. Сегодня я много чего про тебя узнал. Жаль, ты мне раньше всего этого не сказала. Сколько у тебя до меня было мужчин?

— Уж конечно, не столько, сколько ты получил от моего отца денег, — сказала она.

Он ударил ее по лицу; я застегнул брюки и, взяв поднос, пошел на кухню. Бутылка виски стояла в

холодильнике; я налил не скупясь во все четыре стакана и вернулся в комнату.

— Только не нервничайте, и все будет хорошо, — сказал я. — Выпейте по стаканчику. — Я подал им стаканы и сказал хозяину дома. — К сожалению, вы не правы.

— Заткнись, — сказал он. — И не вмешивайся в чужие дела.

Жена вышла, вся в слезах, в другую комнату. Он постепенно успокаивался.

— Хорошо, — сказал он. — Когда она приезжает?

— Через месяц, — сказал Роберт. — Самое позднее, через пять недель.

— Если приедет, мы это дело провернем. А сейчас извините. Мне надо идти к жене. Кажется, я и вправду переборщил.

— Все утрясется, — сказал Роберт. Мы вышли на улицу; дождь еще не зарядил, но, посмотрев на море, я понял, что он вскоре начнется и будет лить до рассвета. Мне не надо было, как другим, смотреть ни на небо, ни на солнце; море было единственной женщиной, которую я любил. И с которой не требовалось разговаривать. А оно уже утратило зеленый цвет и быстро темнело; и на белых гребнях волн, с шипеньем набегавших на

пустой песчаный пляж, померкли светлые солнечные блики; ну в точности женщина, которую любишь и которая ушла в ночь с другим.

— Я дурак, — сказал я.

— Почему?

— Это моя последняя любовь.

— Море?

— Да.

Роберт остановился, задумавшись, и на лбу его, конечно же, выступил пот.

— До чего ж ты мерзкий, — сказал я. — Никто тебе этого не говорил?

— Говорили. Но мне все равно. Я думаю, хорошо ли это?

— Что?

— Что ты так любишь море. Пожалуй, и впрямь неплохо. Ты бы мог ей сказать: до встречи с тобой… и так далее. Но только если она сама не с побережья. Понимаешь: трагедия будет заключаться в том, что ты, нищий, любишь единственное, что тебе доступно, и не хочешь расставаться с морем. Да, это неплохо. К тому же у тебя зеленые глаза. Понимаешь? Люди, которые долго играют на бегах, становятся похожи на лошадей.

А твои глаза восприняли цвет моря. Только об

этом ей скажу я.

— Ты ничего ей не скажешь, Роберт.

— Не беспокойся. Я ей скажу: ты заметила, что у него глаза цвета морской волны? И что они меняются в течение дня? В твое отсутствие, разумеется. И еще я ей скажу, что женщина должна, точно чистый источник… впрочем, ограничимся морем. Уж ты не беспокойся.

— Я никогда ни с одной из них про море говорить не стану.

— Это еще почему?

— Ни одна того не стоит. И у всех, сколько их ни есть на свете, вместе взятых, нет таких денег, чтобы я позволил себе подумать, будто они могут заменить мне море. Все, закрываем тему.

Мы поднялись на четвертый этаж дома по улице Алленби, и Гильдерстерн открыл нам дверь.

— Башмаки грязные? — спросил он.

— Нет. Дождя не было.

— Вон тряпка. Вытрите на всякий случай ноги. Ковер скорее истреплется, если башмак сухой. Цену знаете?

— Фунт в час, — сказал Роберт.

— Хорошо. И старайтесь ходить по середине ковра. Помните: в домах, где лежали персидские ковры, по углам всегда стояла мебель. Вытапты-

вайте ковер посередине.

— Но ты-то свои персидские производишь этажом ниже, — сказал я. — А потом продаешь толстосумам из северного района. Под видом имущества, которое евреи привезли из Восточной Европы, точно?

— Не теряйте времени, мальчики, — сказал Гильдерстерн. — Фунт в час — совсем не так плохо. Особенно в сезон дождей.

— На сколько времени работа? — спросил Роберт.

— Пока на пару дней. Потом я вам дам знать.

Мы вошли в комнату и расстелили один из ковров; их там несколько штук стояло в углу. А потом принялись ходить; сперва три больших шага, считая от края ковра к середине; сделав эти три шага, мы начинали топтаться на месте. В результате через день-другой ковер становился похож на старый персидский; шагая, мы слышали мерное постукиванье, доносящееся с первого этажа, где была мастерская; именно там ткали эти персидские ковры.

— Жаль, с нами нет президента Зискинда, — сказал я.

— Не надо об этом, прошу. Уж я до него доберусь.

— Я не о том. Он бы наверняка купил у Гильдерстерна один ковер. После того как вы заработаете миллион долларов на своем фильме…

— Боюсь, нам не дотянуть до конца месяца, — сказал Роберт. — У нас только двести фунтов и теперь три дня этой чечетки.

— С чего ты взял, что у нас двести фунтов?

Роберт остановился.

— Ты же сказал, что заработал?

— Сказал. Однако это вовсе не означает, что они наши. Они мои.

— Но ведь ты не кинешь старого друга в беде?

Теперь остановился я.

— У тебя же есть отличная должность, — сказал я. — Твой официальный титул звучит: «Личный консультант по художественной части президента Зискинда». Кроме того, ты пайщик, сценарист и еще кто-то, точно не помню, но уж наверняка это подпадает под статью. Нет, я просто отказываюсь тебя понимать. Сколько живу на свете, никто мне такой должности не предлагал.

Дверь открылась. Вошел Гильдерстерн и замер на пороге с выражением отчаяния на лице — теперь он был похож на статую Командора из той байки про Дон Жуана.

— Пан Роберт, я вам умоляю: не надо про ис-

кусство, — сказал он. — Ведь можно ссориться и ходить, нет? Почему я всегда должен оставаться внакладе? И прошу, ходите посередине.

Он ушел, а мы возобновили прогулку: три больших шага и потом несколько маленьких, на месте.

— Знаешь что, Роберт, — сказал я. — Давай ходить как на американской дуэли. Встречаться посередине, поворачиваться друг к другу спиной и опять расходиться.

— Давай. А откуда ты знаешь, как дрались на дуэли в Америке?

— Шон, миссионер наш, рассказывал.

— Довольно странная тема для миссионера.

— Ему не удалось обратить в христианство ни одного еврея. А ведь нужно о чем-то говорить, когда он сидит со мной вечерами и пьет.

— Так что он здесь делает?

— То же самое, что мы. Ждет корабль, который отвезет его в Канаду. Его отзывают. Но им еще месяц тут торчать.

Роберт снова остановился.

— Еще месяц?

— Да. Они плывут морем, чтобы дешевле обошлось.

— Значит, как раз тогда, когда мы поедем в

Эйлат?

Гильдерстерн постучал в стену.

— Прошу ходить, — крикнул он.

Роберт опять пустился в путь, и мы опять встретились на середине ковра; повернулись друг к другу спиной и разошлись.

— Слушай, это же здорово, — сказал Роберт.

— Почему, интересно?

— Надо, чтоб он обратил хотя бы одного человека.

— Он ни одного не сумел обратить, — сказал я. — Мне его жена говорила. Всякий раз, когда я его приволакиваю в комнату, она рассказывает, как он читает проповедь, а люди над ним смеются и свистят. И потом расходятся по домам, а жена смотрит, как он остается один. Только это у нее и сохранится в памяти об Израиле — смех и свист. Ну и, разумеется, его дурацкая физиономия, когда он остается в специально арендованном зале один, никого не обратив.

— Да это же очень здорово, — повторил Роберт.

— Не для него. И не для меня.

— Для нас. Именно для нас с тобой. Он знает, что ты католик?

— Мы никогда этой темы не касались. Думаю, он боялся об этом заговорить.

— Пусть он тебя обратит. Понял?

— Я уже тридцать два года сын католической церкви.

— Это не помеха. Пока он не знает.

— А нам-то от этого какая корысть?

— Да ведь он отдаст тебе последний грош, если ты согласишься перейти в христианство. Будет делиться с нами всем, что у него есть, лишь бы заполучить одного обращенного. И этим обращенным в Яффе будешь ты.

— А почему не ты? Ведь из нас двоих ты еврей.

— Потому что тебе придется шворить его жену. Ничего не поделаешь. Я понимаю, это малоприятно.

— Задарма?

— Кто тебе сказал, что задарма?

— Тогда зачем?

— Как зачем? Ты что, ребенок? Не соображаешь, в чем суть? Она же его ненавидит. Подумай, сколько бедняжка из-за него нахлебалась. Неужели ты не понимаешь женской души? Не представляешь, что она переживала, когда смотрела, как он говорит о Боге, а ему в лицо смеются и свистят? А ведь он ее муж. И ей приходилось все это сносить. Почему ты такой бессердечный?

— Не понимаю, зачем трахать кого-то задаром?

— Да кто тебе это сказал? Я, что ли? Я круглый идиот, да? И может, еще собираюсь развести ее с ним и выдать за тебя замуж? Я похож на такого, правда? Она его ненавидит. Ты ей скажешь, что хочешь перейти в католичество, и получишь ее тело, а она уговорит его отдать тебе последнее. Ты позволишь обратить себя в христианство, у него на счету появится один обращенный, потом мы отвалим в Эйлат, а они — в Канаду. И все будут довольны. Да и тебе это пойдет на пользу. Ты уже давно не работал. Отличная ситуация. Потренируешься, отточишь свой драматический талант и сохранишь форму. Подумай: у нас двести фунтов. Комната обойдется в сто двадцать. Продержаться нам надо месяц. На жратву остается по сорок фунтов на нос. Как ты собираешься жить? А он поделится с тобой всем, что имеет, ты будешь трахать его жену, она будет уговаривать мужа укреплять твою веру, и так мы все проживем месяц. Он останется доволен, церковь останется довольна, жена отомстит ему за его блажь, а потом все мы, облобызавшись, расстанемся.

— Мне его баба не нравится.

— Думаешь, мне нравится? Я ведь исключительно о тебе забочусь. Ты разовьешь свой талант, порассуждаешь о Боге, о вечности, и при этом

— ураган страстей… в его отсутствие.

— Наконец-то ты мне все растолковал, — сказал я.

— Первым делом займись женой. И не забывай, чему я тебя учил: не выпаливай свои реплики. Помни: это твои собственные слова, а не мои разработки. Никогда не смотри ей прямо в глаза — уставься куда-нибудь в угол. Не спеши, начнешь спешить — все испортишь. Она тогда заподозрит, что для тебя главное — ее тело, а ведь ты мечтаешь, чтобы ваши души слились. Правильно? Ты вроде немного заторможен, неуклюж, можешь даже разбить какую-нибудь пепельницу и так далее. Женщинам нравятся застенчивые мужчины, не осознающие своей привлекательности. Вспомни хотя бы Гэри Купера. Он ведь не был великим актером. А погляди, сколько в нем неподдельного обаяния. Или Джон Уэйн. А теперь возьми Алена Делона. Работа на публику, фальшь. Малый знает, что красив, и бабы чувствуют, что он это знает. А женщины предпочитают открывать мужчину. Позволь ей себя открыть, а потом, ночью, она посвятит тебя в тайны, известные тебе с шестнадцати лет, когда ты был уже опытным онанистом.

Роберт внезапно остановился, и я остановился

тоже. Мы смотрели друг на друга, но я готов был поклясться, что он меня не видит: глаза его были пусты и слепы.

— Плохо, — сказал он. — Никуда не годится. Забудь обо всем, что я сказал. Надо совсем по-другому. Ты — антипод этого засранца, ее супруга. Врываешься в ее жизнь как буря… Понимаешь? И тогда она вдруг увидит твои миндалевидные глаза и тонкие губы… только смотри, чтобы губы не дрожали, это у тебя еще не получается… но глаза у тебя жестокие, и ты умеешь это делать. Понятно? Не бойся, она тебе не влепит пощечины. Впрочем, дай бог, чтоб влепила, ты ей с ходу ответишь. Ведь ты сущий ураган страстей, вулканический темперамент, и конечно, в последнюю секунду она обязательно подумает о нем — одиноко стоящем и слушающем, как люди свистят и смеются, а ведь он хотел призвать глас Божий — и подарить его им…

Дверь открылась, и вошел Гильдерстерн.

— Не знаю, кто кого хотел призвать и отчего тот не пришел, — сказал Гильдерстерн. — Зато я знаю, что вы должны ходить, я плачу фунт в час, а вы все время разговариваете.

Роберт повернулся к нему.

— Господин Гильдерстерн, здесь беседуют о

Боге, — сказал он. — Вы можете на пять минут перестать талдычить о своих говенных коврах, когда мы с ним говорим о Боге?

— Я вам плачу не за то, чтоб вы беседовали на религиозные темы. Я вас прошу ходить. — Он уже хотел уйти, но задержался в дверях и посмотрел на Роберта. — Вы верите в Бога?

— Я всегда в Него верил. Он у меня в сердце.

— И вы думаете, Бога можно повсюду таскать с собой?

— Да, я так думаю.

— А если вы Его возьмете в газовую камеру, как Он оттуда выйдет? — спросил Гильдерстерн. — Продолжайте, пожалуйста, ходить. Ведь Он в ваших сердцах. А Ему все равно, ходите вы или разговариваете, стоя на месте.

Гильдерстерн ушел.

— Мне только не нравится, что придется трахать его жену задарма, — сказал я.

— Неужели так трудно разок сделать что-то для другого? Пускай этому человеку однажды подфартит. Тебе что, жалко? Или ты хочешь, чтобы он уехал отсюда всеми осмеянный?

— Но жена-то его зачем нам нужна, не пойму.

— Умоляю: не учи меня. Без жены не обойтись. Она станет на него давить, чтобы он тебе помогал.

И он это сделает. Ему захочется, с одной стороны, обратить хоть кого-то в христианскую веру, а с другой — реабилитировать себя в ее глазах. Знаешь, чего я больше всего опасаюсь? У тебя получаются только бурные сцены. А искусство — штука тонкая. Николай Ставрогин сказал: если б ему математически доказали, что истина вне Христа, он бы предпочел остаться с Христом, а не с истиной. Понимаешь? К тому же она очень даже ничего. Чистая, юная.

— Если ты скажешь, что она выглядит как молодое деревце весной, я тебе дам по роже.

— Ну так она не выглядит как молодое деревце.

— И если прикажешь сравнивать ее с морем, я тоже тебе залеплю, — сказал я. — И если скажешь, что надо ее сравнить с соловьиным пеньем, кончится тем же. И если с тихим садом, дремлющим на майской заре, то я тоже тебе врежу. Что там еще осталось?

— Нет. Ничего похожего тебе говорить не придется. Это все для альфонсов. И для других баб, которых мы начнем клеить в Эйлате. А тут никакие слова не нужны. Ты войдешь и встанешь в дверях. Скажешь только: «Мне все равно, что будет потом. Но ты ведь знала, что это должно

случиться». И смотри на нее с ненавистью. С ненавистью, не перепутай. Она молодая, чистая, добрая, а ты…

— Сам знаю, кто я, — сказал я.

Когда я спустился вниз, Гарри сидел и читал свою книжку, а Шон сидел рядом с ним, и в его бутылке почти ничего уже не осталось. Я подумал, что через час он будет готов, а если нет, то у меня наверху есть еще две бутылки того самого «Стока восемьдесят четыре», который он всегда пил. И у меня был еще месяц в запасе, и только потом придется устроить на несколько дней перерыв и попринимать диамокс, чтобы сошли отеки.

— Шон, — сказал я и присел возле него на стол. — Хочу спросить у тебя одну вещь. Почему Евангелия между собой различаются?

Он посмотрел на меня.

— Откуда ты знаешь?

— Читал. Почему в одном Евангелии Христос жалуется, что Бог Его оставил, а в остальных трех принимает смерть со смирением?

— Когда я учился в семинарии, я задал тот же вопрос, — сказал он. — И тогда учитель прочел нам лекцию об Иудее. Но больше ничего объяснять не стал. А через три недели попросил, чтобы мы в точности повторили, о чем он нам говорил,

и каждый повторил по-своему. Тогда он сказал: видите, уже через три недели вы не можете воспроизвести того, о чем я рассказывал. А Христос умер две тысячи лет назад.

— Но ведь Он был Сын Божий. Мог сделать так, чтоб Его отпустили. И мог всех их поубивать.

— Он не хотел, чтобы Его любили за насилие. Он хотел, чтобы Его любили за любовь и за добро, которое Он сотворил на земле. Потому и согласился умереть. А почему тебе это пришло в голову?

Я ему не ответил; я смотрел на обложку книги, которую читал Гарри. Я помнил наставления Роберта: говорить следовало медленно и неуверенно.

— Погоди, Шон, — сказал я. — Я схожу за сигаретами.

Я поднялся наверх к Роберту; Роберт торчал у окна, а я подошел к нему и посмотрел на этого негра, Ибрагима, который стоял на углу улицы, повернувшись лицом к стене, и я опять подумал, что он неподвижен, как дерево в долине, где нет ветра.

— Почему он так стоит?

— Может, видит что-то, чего мы не видим.

— Он ведь смотрит на стену.

— Не думай о нем. Как идут дела?

— Я забыл, что мне говорить об Иуде и Варавве.

Роберт обернулся.

— Тебя нельзя ни на секунду оставить одного. Спроси, почему Иуда предал Христа…

Я перебил его:

— Уже знаю. Но почему Ибрагим не поворачивается?

— Зачем ему поворачиваться? Может, он счастлив именно потому, что не должен смотреть на нас, людей.

— И мне б так хотелось.

— Не думай сейчас об этом. И не впадай в экстаз, когда говоришь о Боге. Помни, что ты Его пока только ищешь.

— А найду в тот день, когда мы купим новую собаку и поедем в Эйлат, точно? — сказал я и спустился вниз. Шона не было.

— Где он? — спросил я у Гарри.

— Тоже пошел за сигаретами, — ответил Гарри. — Роберт рассказал мне про вашу идею. Это свинство.

— Сообщи это ему.

— Не уверен, что я так не сделаю.

— Послушай, Гарри. Я в этой гостинице ищу Бога, а нашел пока только комнату, которую портье

в мое отсутствие сдает по часам проституткам. Одна из них даже случайно оставила драные чулки. Но так получилось, что ни хозяину гостиницы, ни прокурору об этом ничего не известно. И что ты на это скажешь?

— Чайку не хочешь? Это тебя подбодрит.

— Зачем? Я прекрасно себя чувствую.

— Бесплатно, — сказал Гарри. — Ведь мы друзья. Я тебе принесу чая с лимоном.

— Читай свою книжку.

— Насчет Шона я просто пошутил.

— Очень благородно с твоей стороны.

Вернулся Шон, сел на свой стул.

— Принеси-ка мне стул, Гарри, — сказал я. — Не на стол же садиться.

Гарри встал и отправился за стулом. Тут вошла Луиза и остановилась в дверях.

— Поверни лампу к стене, — сказала она.

— Лучше я ее погашу, а ты подымешься наверх.

— Нет. Я хочу показать ему свою фотографию, — сказала она. Я заметил, что она здорово набралась; она ходила вниз, в тот бар, возле которого стоял Ибрагим, и сидела там в углу, где ее никто не видел.

— Ты ему уже показывала, — сказал я. — Не

далее как вчера. Пересняла фотокарточку?

— Нет. Боюсь. А теперь погаси свет, я пойду наверх.

Я погасил свет, а она прошла мимо нас, и когда я услышал, как хлопнула дверь, снова зажег лампу. Гарри вернулся и поставил мне стул.

— Есть одна вещь, которую я не понимаю, — сказал я. — Как-то я читал книгу, название забыл. Там написано, что из всех учеников особенно сильно любил Христа Иуда, но он не верил в успех борьбы, которую вел Христос. Он верил в Варавву и думал, что, когда Христа начнут истязать, тот сотворит чудо и освободит свою страну.

— Это всего лишь гипотеза, — сказал Шон. — Ни в одном из признанных церковью Евангелий нет ни слова насчет отношения Иуды к Варавве. Таких книжек можно написать сколько угодно.

Он был прав; эту историю выдумал Роберт, а я ему немного помог. И у Роберта стояли слезы в глазах, когда он говорил о том, что переживал Иуда, поняв, что измена — всегда измена, и даже зарыдал, коротко и бурно, а я тогда понял, что Роберт — алкоголик и пьет тайком от меня; только алкаши способны так рыдать и мгновенно успокаиваться.

— И все же я верю, что Иуда любил Его больше,

чем остальные, — сказал я. — Точит меня это, пойми. Почему только он один наложил на себя руки, когда Его не стало? Другой, например, от Него отрекся, и хоть бы что.

— Почему тебя это мучит?

— Не могу так, с ходу, тебе объяснить, — сказал я. — Чтоб ты понял, почему я о Нем думаю, пришлось бы рассказывать еще целых тридцать два года. Но, возможно, все было не так. Возможно, именно Иуда любил Его сильней, чем другие ученики, и ненавидел себя за то, что не может любить еще сильнее и продолжает верить в насилие и Варавву.

— Ты читал все Деяния Апостолов?

— Да, — сказал я. — Но не нашлось никого, кто бы мне объяснил то, чего я сам не могу понять.

— Я объясню тебе все, что хочешь.

— Слишком поздно мы с тобой встретились, — сказал я. — Послезавтра я уезжаю в Эйлат. Получил работу на руднике Тимна. — Я встал и протянул ему руку. — О'кей, Шон. Жаль, что мы не познакомились раньше. Я бы принял крещенье из твоих рук.

Стакан, который он держал, выпал, а это было уже его последнее бренди.

— Ты хочешь креститься? — спросил он.

— Да, — сказал я.

— Почему ж ты так долго ждал?

— Шон, — сказал я. — Если человек нуждается в Христе, он готов ждать Его всю жизнь. Мне скоро тридцать три. Христос в моем возрасте умер, а я хочу в Его возрасте начать жить, как Он учил. Подожди, я принесу еще выпить.

Я пошел наверх; Роберт по-прежнему стоял у окна. Когда я вошел и полез за бутылкой, он обернулся.

— Где вы? — спросил он.

— Нагорная проповедь.

— Помнишь, что дальше?

— Буду дальше приставать к нему с Вараввой и Иудой…

Он перебил меня, побледнев от злости:

— Нет, идиот. Ты должен сказать: я пришел к заключению, что Он — единственное существо, которое можно любить вечно. Ну почему тебя нельзя ни на секунду оставить одного?

— Да это же цитата из Достоевского. Глядишь, сообразит.

— Не сообразит. Да и никто не говорит своими словами. Все тыщу лет повторяют одну и ту же белиберду. Неужели непонятно, что, если бы Бог был, мы б с тобой не могли прожить ни дня?

Я подошел к нему, и на меня пахнуло перегаром.

— Я всегда подозревал, что ты пьешь тайком от меня, — сказал я. — Но это твое личное дело. Я хочу сказать о другом. Возможно, мы еще живем, и исключительно потому живем, что там, наверху, есть Он. Хотя, может, это и не так. Может, мы оба правы.

— Вот кто прав, — сказал Роберт и указал на Ибрагима, который стоял лицом к стене и не оглядывался, когда мимо проходили женщины и когда к нему приставали мужчины. — Во всем городе прав только один этот человек.

— Забыл, — сказал я. — Так что мне говорить дальше?

— Что Он — единственное существо, которое можно любить вечно.

Я взял бутылку и пошел к двери. С порога обернулся и посмотрел на вспотевшее и перекошенное лицо Роберта.

— Если когда-нибудь представится случай тебя пристрелить, я это сделаю, — сказал я. — Если только смогу.

— А почему не сможешь?

— Мне б хотелось повстречать в этом городе человека, который бы дал за тебя восемьдесят

или сто фунтов. Столько, сколько мы платим за собак. Если такой найдется, я продырявлю тебе башку. А потом отправлюсь за тобой следом.

— Гляди-ка, — сказал Роберт. — Это же прекрасно. Это мы используем в Эйлате. Превосходно. Ты скажешь своей бляди, указывая на пса: он стоил восемьдесят фунтов. Нет, лучше пятьдесят! А потом покажешь на меня и скажешь: жизнь этого подонка не стоит и двадцати фунтов. И разрядишь всю обойму.

— В кого?

— Слушай, у меня хватает других забот. Иди вниз и занимайся своим делом. Я тут стою и дрожу. Но то, что ты про меня сказал, — просто здорово. Пригодится для твоей развалины в Эйлате — тут тебе и образ, и диалог. — Он подошел к шкафу и достал бумагу и карандаш. — Я это запишу. Мы оба слишком устали. Не дай бог, забуду. Впрочем, это мы еще проработаем.

Он уселся за стол, а я с бутылкой «Восемьдесят четвертого» спустился вниз и сел рядом с Шоном.

— Будешь еще пить? — спросил я.

Он кивнул, и я плеснул ему в стакан. Но он не притронулся к бренди. Он смотрел на меня, точно впервые увидел и точно произошло это в

подземке во втором часу ночи, а ведь мы были знакомы уже неделю.

— Что с тобой, Шон?

— Где ты пропадал? — спросил он.

— Не мог найти бутылку. Думал, она в чемодане, а оказалось — в шкафу. Я уже собрал вещи и считал, что бутылку тоже туда засунул.

— Почему ты так долго ждал?

— Ты имеешь в виду крещенье?

— Да.

— Шон, — сказал я. — Я — еврей и только как еврей мог уехать из страны, где родился. На моей родине нелегко жилось. — Я замолчал, поднял стакан, помня, что движения должны быть уверенными и решительными, но в последний момент оторвал его от губ и приблизил свое лицо к лицу Шона. — Только здесь, в этой стране, я понял, что не могу жить без Христа.

— Когда ты хочешь креститься?

Я сказал:

— В тот день, когда мне исполнится тридцать три года. — И назвал ему дату; это был день нашего отъезда в Эйлат, куда собиралась приехать моя невеста.

— Хочешь принять крещенье из моих рук? — спросил он.

— Меня здесь не будет, — сказал я. — Еду в Эйлат. Договорился насчет работы.

— В Эйлате нет ни одного христианского священнослужителя, — сказал Шон. — Ты сможешь сюда вернуться?

— Нет, Шон. Кто ж мне через месяц даст отпуск.

— Странно, — сказал он. — Назавтра после твоего дня рождения я уезжаю в Канаду.

— Ничего, Шон, — сказал я. — Я буду тебя помнить. Постарайся в Канаде не пить. — Я поднес стакан ко рту и опять отставил. — Шон, — сказал я. — Правда, точно не известно, что Христос умер именно на таком кресте, какие мы видим на всех распятиях? Вроде в те времена кресты были трех видов?

— Я что-то об этом читал, — сказал он. — Только это не имеет никакого значения. Он обратил миллионы людей. Умирал самым счастливым человеком на свете. И никогда уже такого счастливого человека, как Он, не будет.

Теперь я одним глотком опорожнил стакан и со стуком поставил его на стол — даже Гарри поднял голову.

— Мне б хотелось узнать еще тысячу разных вещей, а там не у кого будет спросить, вот что

обидно.

— Главное ты уже знаешь, — сказал Шон. — И повторяю: никогда не было и не будет такого счастливого человека, как Христос.

Я тронул его за плечо, а он повернулся ко мне лицом, и я увидел слезы, бегущие по его темным от загара щекам.

— Почему ты так говоришь, Шон?

— Неважно, что сказано во всех четырех Евангелиях. И пускай даже Он возроптал, это тоже неважно. Он обратил миллионы людей. В Него плевали, Его прибили к кресту гвоздями, Ему давали цикуту, Его оскорбляли, но никто над Ним не смеялся.

— И над Ним смеялись. Смотрели на Него и говорили: Иисус из Назарета. Rex Judais[69].

— Нет. Он не нуждался ни в микрофонах, ни в залах, где у всех есть стулья; Ему не требовались афиши, и никто Ему не платил за то, что Он говорит. А у меня было все. Только ничего не вышло.

— Думаешь, Бог тебя оставил? — спросил я.

— Я думаю о том, что прожил в этой стране больше года и не обратил ни единого человека.

— Ты обратил меня, — сказал я.

---

[69] Примечания: 69
Царь Иудейский (*лат.*).

Он повернулся ко мне, и опять я увидел слезы, текущие но его щекам.

— Я тебя обратил?

— Да, — сказал я. — Когда я впервые увидел, как ты тут сидишь и пьешь в одиночку, я ведь подсел к тебе. А потом отнес тебя в кровать и в ту ночь уже не заснул. Я думал о Нем. И думал, существует ли милосердие на самом деле. В ту ночь человек, которого я любил, попал в страшную автомобильную катастрофу. Однажды, когда я был голоден, он дал мне поесть и не отвернулся от меня, когда я пришел просить у него работу, а был я тогда тощий и ободранный, как бродячий пес. И он словом меня не попрекнул. И еще одно тебе скажу: если сейчас я еще жив и могу работать, то потому только, что тогда этот человек меня не оттолкнул. Так что в ту ночь я молил Бога: не убивай его. Пусть живет сто лет, но пусть живет, как я. И пускай так же часто размышляет о милосердии. У него были переломаны кости, а я подумал о Христе, которого тоже истязали, и молил Христа, чтобы Он его спас. Это правда, Шон, что Христу ломали кости?

— Это было две тысячи лет назад. Но Ему выдали сполна.

— Тому человеку тоже выдали сполна. Думаю,

он страдал не меньше. Ну и я молил Христа, чтобы человек этот жил сто лет и чтоб думал о милосердии. — Я замолчал и через минуту сказал: — Только ему не дали цикуты. Ему дали курицу.

— Какую курицу?

— Обыкновенную. Когда он свалился с горы на повороте, какой-то проезжий хотел ему помочь, но в машине у него не было ничего, кроме вареной курицы, которую он купил себе в дорогу. И он дал ему эту курицу. Бедные люди думают, что, если кто-то болен, надо первым делом его накормить. Не знаю почему. Хочешь еще выпить, Шон?

— Нет, — сказал он и отставил стакан. — Я сегодня буду молиться. За человека, который хотел его накормить. Ты знаешь, кто он?

— Этого, к счастью, никто не знает, — сказал я.

— Это не имеет значения.

— Это имеет большое значение, Шон.

— Ты меня не понял. Если этот человек дал ему свою дурацкую курицу, значит, когда-нибудь в другой раз он сделает то же самое. И всегда будет так поступать, коли уж таким родился. А я буду молиться, чтобы он поступал так всегда.

— Молись, — сказал я. — А я пошел спать. Хочу отдохнуть перед дорогой в Эйлат.

— Нет, — сказал он. — Не надо тебе уезжать ни в какой Эйлат. Оставайся здесь. Примешь крещенье из моих рук.

— А почему бы тебе не приехать в Эйлат?

— В Эйлате нет церкви. Я бы хотел окрестить тебя в церкви. А ведь ты сам сказал, что не вырвешься оттуда через месяц.

— Я бы с радостью остался с тобой, Шон. Но я пустой.

— Я поделюсь с тобой всем, что у меня есть, — сказал он и встал. — А сейчас я пойду. Хочу еще помолиться.

Я тоже встал.

— Будешь молиться за того человека на дороге? — спросил я.

— Буду молиться, чтобы он мог так жить вечно, — сказал он. Подошел и поцеловал меня в лоб. — Спи с Богом, сын.

— Я должен говорить тебе «отец»? — спросил я.

— Нет. Не нужно. Священника не следует называть «отцом». Есть только один Отец.

Я взял бутылку и пошел наверх; Роберт уже спал. Я стоял у окна и думал об этом человеке и о том, что в иерусалимской больнице врачи уже потеряли надежду, хотя поначалу считали, что он выкарабкается и будет носить кожаный

ошейник; но это было бы слишком хорошо для него. Ему еще предстояли три недели агонии, потому что его толстое и крепкое тело не желало умирать; и каждые восемь часов ему кололи долантин, но врачи сказали, что с завтрашнего дня начнут делать уколы морфия или клиридона, так как долантин слишком слабый наркотик, чтобы снять терзавшую его боль.

Стоя у окна, я выпил остаток «Восемьдесят четвертого»; я смотрел на Ибрагима и не мог думать о нем иначе, как о дереве, растущем в долине, где не бывает ветров. Он стоял неподвижно, втянув голову в плечи и как всегда повернувшись лицом к стене, на которой ничего не было; а я знал, что не засну до рассвета, если он будет там так стоять; и я уже сильно закосел. Я взял все свои деньги, спустился вниз и под дождем подошел к нему.

— Ибрагим, — сказал я. — Это я, который по собакам... У меня тут двести фунтов. Возьми их, только уйди отсюда.

Он не ответил и не шелохнулся, даже когда я положил руку ему на плечо.

— Ибрагим, — сказал я. — Это все, что у меня есть. Я получил эти деньги за то, что угробил на дороге одного малого, который не захотел ко мне повернуться. А до того мне платили женщины.

А еще раньше у меня была одна такая, которая ходила в город, а потом выпрыгнула из окна. Но это все те же самые двести фунтов, Ибрагим. Больше у меня, правда, ничего нет. Возьми их, только повернись.

Я смотрел на его маленькую черную голову с курчавыми волосами, которые казались жесткими даже сейчас, хотя он стоял под дождем уже не первый час. Я не был уверен, что это так, протянул руку и прикоснулся к ним, волосы были мокрые, но жесткие и курчавые, как всегда и как на солнце. Не поворачиваясь и даже не дрогнув, он сказал тихо:

— Go away.

И я под дождем вернулся в гостиницу.

В четыре мы начали, как обычно, работать на фирму Гильдерстерна; вытащили из угла ковер и расстелили на полу. Двое, которые работали до четырех и которых мы сменили, выглядели вконец измочаленными.

— По мне, лучше работать восемь часов на стройке, чем топтать эти ковры, — сказал один.

— И я так считаю, — сказал другой.

— Чего ж вы не идете на стройку? — спросил Роберт. Он сидел на стуле и снимал свои полуботинки: мы теперь надевали на работу башмаки,

какие носят рабочие на строительстве дорог. Такие башмаки стоили восемь фунтов, и Гильдерстерн подобрал всю нашу четверку с сорок третьим размером ноги. Я тоже сидел на стуле и шнуровал башмак.

— Да мы ничего не умеем, — сказал один из тех, что уходили.

— А что вы делали раньше? — спросил я.

— Служили в органах.

— Госбезопасности?

— Естественно.

— Людей пытали, да?

— Делали, что нам приказывали, — сказал один из них и обратился к другому: — Верно, товарищ полковник?

— Ты уж больно был старательный, — сказал полковник своему товарищу. — Зря придумал эту дурацкую затею с утюгом.

— А что он делал? — спросил я. — Гладил заключенным манишки?

— Нет. Сам лично изобрел, как приводить их в чувство, когда они теряли сознание. Метод простой, но не ахти.

— Не горюйте, — сказал Роберт. — Вы еще пригодитесь. Такие, как вы, нужны везде.

— Дай-то бог, — сказал полковник; второй был

всего-навсего капитаном. Они попрощались и ушли, а мы пустились в путь: от края ковра к середине и там поворачивались друг к другу спиной. Такое только художник мог придумать, и я сказал Роберту:

— Когда я был в Париже, встретился мне как-то Качановский, и пошли мы выпить кальвадоса, а он уже был хорош. Отправились в «Богему», но не в ту, что на рю Одесса, а в ту, которая на рю Одеон. Витек заказал сразу четырнадцать двойных кальва; мы выстроили по семь рюмок в ряд, уселись на противоположных концах стола, и Витек сказал: «Встретимся посередке и отключимся». Так оно и вышло, а на следующий день хозяин «Богемы» сказал мне, что Франция не видела ничего подобного со времен Неистового Роланда.

— Не говори: Неистовый Роланд. Говорить надо: Орландо Фуриозо.

— Какая разница? Один черт…

— А вот и нет. Невесте своей в Эйлате тоже можешь рассказать эту историю, но чтоб непременно был Орландо Фуриозо. Вроде мелочь, но на бабу должно произвести впечатление. Ты — юноша с классическим образованием, и только злая судьба загнала тебя в такое страшное место, как Эйлат.

— Эйлат одно из прекраснейших мест на свете. А что я там, кстати, делаю?

— Устраиваешься на работу на рудник. А поскольку родился в Европе, года через два превратишься в полную развалину. Потеряешь волосы и зубы и разжиреешь. И изо рта у тебя будет разить, как у всех, кто без конца дует пиво. А ты вынужден его пить, чтобы выдержать тамошний климат.

— Не согласен, — сказал я, и мне припомнилось худое лицо вице-президента Алфавита. — Ни слова о запахе изо рта.

— Ей ты, конечно, этого не говори. И вообще, на климат не жалуйся. Наоборот с усмешечкой брось невзначай, что хотя температура достигает семидесяти градусов, всегда можно охладиться, когда станет невмоготу.

— Мне уже невмоготу. Давно невмоготу.

— Это еще пустяк по сравнению с тем, что тебя ожидает в Эйлате. Только там ты поймешь, что такое ад. А про акул я уж ей сам расскажу.

— Про каких акул?

— Стоит заплыть подальше в море, а там акулы. Бабы такое любят.

— Я могу застрелиться. Или отравиться снотворными.

— Зачем? Ты настоящий мужчина. Хочешь покончить с собой именно так. Застрелиться может всякий. Но ты слишком сильный и слишком мужественный — такой способ тебе отвратителен. Пускай сама природа сделает это за тебя. Впрочем, окончательно я еще не решил. У меня будет время подумать. Главное, чтобы ты рассказал ей во всех подробностях, что с тобой произойдет после двухлетнего пребывания в Эйлате. Ты превратишься в старика с испорченными зубами и зловонным дыханием, выпрашивающего у кого ни попадя рюмочку коньяка.

— Речь шла о пиве.

— Со временем ты перейдешь на более крепкие напитки. Люди тебе опротивеют, и ты начнешь всячески их избегать. Станешь алкашом особого рода. Не собутыльников будешь искать, а одиночества. Не беспокойся. В Эйлате есть пара таких молодчиков, и уж я найду случай продемонстрировать их нашей невесте.

— Только один человек сумел бы изобразить на холсте такую омерзительную рожу, как твоя, — сказал я. — Витольд Качановский.

Роберт остановился, и я тоже остановился рядом с ним и закурил новую сигарету; пепел постоянно стряхивался на ковер и втаптывался,

поскольку так ковер быстрее истрепывался, — это была идея владельца фирмы.

— Не знаю, удастся ли это использовать, — сказал Роберт.

— Что?

— То, что я настолько омерзителен, что лишь один человек способен меня изобразить. — Он подошел к зеркалу и стал себя разглядывать, а я смотрел на его оплывшее и потное лицо. — Я бы мог сказать, что сам когда-то провел два года в Эйлате, — произнес Роберт после некоторого раздумья. Он оскалил зубы, а потом опустил голову, и теперь мне видны стали редеющие волосы у него на макушке. — Конечно, я мог бы сказать, что когда-то выглядел так, как ты. А потом рассмеялся бы и добавил: «Только ты, естественно, не поверишь. Во всей стране не найти человека, который бы в это поверил. И что самое забавное: я сам не верю». — Он опять повернулся ко мне: — Неплохо, а? И затем покажу на тебя и скажу: «Через два года этот мальчик сможет обходиться без зеркала. Ему достаточно будет посмотреть на меня». Ну как, неплохо? Отвечай.

Дверь открылась, и вошел Гильдерстерн. С минуту он стоял неподвижно и смотрел на Роберта, который снова повернулся к зеркалу и разгляды-

вал свое лицо.

— Господин Хласко, я вам умоляю, только не об искусстве, — сказал Гильдерстерн. — Третьего дня вы говорили о Боге, а сегодня, слышу, беседуете о живописи. Почему нельзя, как порядочные люди, разговаривать о деньгах? Ходишь себе и говоришь, и время бежит незаметно.

— Я все время говорил о деньгах, — сказал я. — У нас нет больше сигарет, господин Гильдерстерн.

Он зажег верхний свет и посмотрел на ковер, а я прислонился к стене. У меня болели ноги, и я подумал, что полковник и капитан, которых мы сменили час назад, наверно, чувствуют то же самое.

— Пепла достаточно, — сказал Гильдерстерн. — Прошу вам ходить.

Он ушел, а мы снова пустились в путь. Я подходил к окну, а Роберт к зеркалу; я на секунду приостанавливался и смотрел на дерево, растущее под окном, и это было точно такое же дерево, как то, что росло перед домом супругов, финансирующих нашу поездку в Эйлат, но я так и не узнал, как это дерево называется. Роберт подходил к зеркалу, и всякий раз, когда мы встречались с ним на середине ковра, на его лице было новое выражение. Он не умел попусту терять время, а

я представил себе, как в один прекрасный день, сидя возле нашей невесты на пляже в Эйлате, он будет говорить ей то, о чем сейчас думал; я смотрел на его лицо и точно знал, о чем он сейчас думает.

— Вы видели его руки? — спросит Роберт.

— Да.

— Это руки вора.

Она возмутится.

— У этого человека руки как у пианиста, — скажет она.

Тогда Роберт слегка усмехнется.

— Не требуйте от меня, чтобы я испытывал те же чувства, что женщина, — скажет он. — У него очень тонкие кисти, это факт. Но через три года…

Роберт замолчит на полуслове и улыбнется, глядя в сторону, а потом возьмет камушек, и бросит его в воду, и не раскроет рта, пока камушек не подскочит в седьмой раз.

— Что будет через три года? — спросит она.

Тогда Роберт вытянет свои толстые распухшие лапы и покажет ей, улыбаясь, но не язвительно, а чуть меланхолически; и лишь погодя его улыбка станет холодной и гаденькой; ведь у него тоже когда-то руки были такие, как

у меня, и с какой стати мне должно повезти больше, чем ему.

— У вас совершенно иное строение костей, — скажет она.

— Вы абсолютно правы, — скажет Роберт. — У него кости тоньше. С ним это случится скорее. Одрябнет и распухнет.

— Почему?

— Он не здешний. У него откажут почки, как у большинства из тех, кто родился в Европе. Они едят слишком много соли и пьют слишком много пива. — Роберт умолкнет и опять бросит камень в воду. — И так пройдет его жизнь — в пьянстве, в работе и без женщин.

— Почему без женщин?

— Не найдет он такой, которая поехала бы за ним в Эйлат. Еврейка не сможет выйти за него замуж. А женщина, родившаяся в Европе, в Эйлат не приедет. — Там, чуть поодаль, будет сидеть одна, с которой Роберт время от времени работал, сорокалетняя толстуха с одутловатым лицом. — Знаете, сколько этой девушке лет? — спросит Роберт у нашей невесты.

— Девушке?

— А как назвать женщину, которой всего двадцать семь? — скажет Роберт. — Она приехала

сюда с мужем три года назад. И была самой красивой девушкой в Эйлате.

Тут разговор ненадолго оборвется, а толстуха будет ждать, когда Роберт кинет камень в воду, и это будет сигнал, что ей можно уйти, а вечером она получит пять фунтов: столько мы платим нашей статистке, а пять фунтов не так уж и мало за час сидения на пляже. И тогда эта колода встанет и уйдет, неуклюже переставляя ноги, а наша невеста проводит ее взглядом, и Роберт подождет, покуда на ее лице не появится отвращение.

— Видите, — скажет Роберт.

— Печально.

Роберт грубо дернет ее за руку.

— Не лгите, — скажет он. — Жаль, что вы не видели своего лица. У вас на лице не было ничего, кроме отвращения. Этот человек, — и тут Роберт укажет на меня, — слишком мне близок, и я не хочу, чтобы ему сочувствовали. Лучше уж отвращение. Надежнее.

— Какой вы жестокий, — скажет она.

— Нет, — скажет он. — Я лишь однажды поступил с ним жестоко и никогда себе этого не прощу. Он уплыл в море, а я в последний момент взял моторку, догнал его, оглушил ударом вес-

ла и втащил в лодку. И вот этого не могу себе простить.

Тут Роберт прикусит язык, испугавшись, как бы ей ненароком не пришло в голову, что, коли уж у лодки есть мотор, нет нужды в весле; и, замолчав, будет потеть и дрожать. Только ей ничего такого в голову не придет.

— Он что, не умеет плавать? — спросит она.

— Он один из лучших пловцов в Эйлате, — скажет Роберт. — Поэтому ему удалось так быстро уплыть так далеко. Но ведь у него была своя задача.

— Какая?

Он ей не ответит; он вытянет руку влево, а она проследит за его взглядам, и там будет сидеть наш второй статист: малый, который спьяну угодил под трамвай в Сан-Франциско и которому отрезало обе ноги вровень с задницей. И Роберт опять бросит камень в воду, и тогда тот отползет, а вечером получит от Роберта только три фунта. Роберт платил ему меньше, чем толстухе, исходя из того, что для трех четвертей человека три фунта совсем недурная цена за час ползанья.

— Что это? — спросит она.

— Лучше спросить: что это было, — скажет

Роберт. — Точности ради. Это был человек, который тоже искал смерти. Только он не так хорошо плавал, и поэтому его успели вытащить на берег. — Он замолчит и через минуту добавит: — Вот чего я не могу себе простить.

— Вы имеете в виду акул?

— Что вы! Я имею в виду золотых рыбок в аквариуме.

— Этого человека надо спасать, — скажет она.

Роберт склонится к ней и замрет молча, а она уставится на его заплывшее омерзительное лицо. А потом повернется и посмотрит на меня, а мое лицо будет худым и жестким — как всегда после курса диамокса.

— Вы знаете рецепт? — спросит Роберт.

— Этот человек должен отсюда уехать, — скажет она.

Мы встретились на середине ковра, и я посмотрел Роберту в лицо, и мы снова закурили по сигарете; только это были уже наши сигареты.

— Где ты? — спросил я.

— Там, где она говорит, что тебя надо увезти и поместить в хорошую клинику, чтобы отучить от алкоголя и снотворных. Боюсь только, этого безногого уже нет в Эйлате.

— Даже если нет, далеко он не ушел, — сказал я. — В последний раз, кстати, он был.

— Никогда не знаешь, что такому идиоту взбредет в голову. Вдруг взял и повесился, скотина, или еще чего. А он нам позарез нужен. Для полноты картины. Чтобы зря время не терять.

— Я знаю такого же в Тель-Авиве.

— Без ног? — обрадовался Роберт.

— Без одной ноги.

— Это хуже. Можно приспособить протез и летать на самолете. Как тот советский летчик.

— В Беэр-Шеве есть один тип, у которого нет обеих рук.

— Тоже плохо. Мне нужно, чтобы он отползал и лапы его увязали в песке. Образ такой, понимаешь? Он ползет по песку, а за ним тянется след, будто кто-то волочит мешок. Колоссально. Безрукий из Беэр-Шевы мне не подходит. Может, еще прикажешь оплатить этому проходимцу дорогу и при каждой остановке автобуса расстегивать ему ширинку? Не нужно? Правда, нет? Я тебя тыщу раз умолял не давать мне советов.

— Еще бы. Ты же профессионал. Насколько я помню, твой официальный титул звучит: «личный консультант президента Зискинда по художественной части». Правильно? Я ничего не

забыл? Хотя нет, извини. Ты ведь «руководитель драматических студий при «East Film Corporation» и личный консультант президента Зискинда по художественной части». Прошу прощения. В следующий раз постараюсь ничего не упустить.

— Я до Зискинда еще доберусь.

— Не сомневаюсь. Только на что потом будешь жить? Не всякий миссионер так же умен, как Шон. А я не всегда буду ровесником Христа.

Гильдерстерн постучал в стену и крикнул:

— Господа, работать. Моя фирма не дискуссионный клуб.

— Послушай, — сказал Роберт. — Я пришел к выводу, что до сих пор мы действовали неправильно. Беда в том, что мы с тобой воспитаны на русской литературе. Неторопливое повествование, сюжет развивается последовательно, а с персонажами знакомишься лишь по ходу событий. Это прекрасно, но ни к черту не годится. Надо оперировать образом. Посмотри, как Фолкнер пишет свои книги; он просто набрасывает тебе картину, а уж ты мучайся дальше. Понимаешь? У него герой вбегает в темный переулок восемнадцати лет от роду, а выбегает, когда ему уже за тридцать. Это все, что нам сообщает Фолкнер; дальше мы сами должны додумывать,

что там происходило десять с лишним лет. В фильме «Somebody there upstairs likes me»[70] Пол Ньюмен влетает в темный переулок ребенком и выскакивает с другого конца уже юным бандитом. Вот такой метод скорописи нам и нужен. Конечно, если есть время, как последний раз в Тель-Авиве или в Тверии, можно работать по законам классической драмы: не спеша, спокойно, постепенно нагнетая обстановку, а потом — раз — и смываемся с башлями. В Эйлате такой номер не пройдет. Слишком еще дикое место. Там мы поломаем хронологию действия. Начнем кидать образы, один за другим. Фотография твоей девушки, фотография человека, который ее увел, а потом предъявляем нашу толстуху… разумеется, предварительно подкрасив. Чувствуешь? Безобразная женщина, которая не желает сдаваться. Трагично. Наложим ей на морду полкило румян. Нам это недорого обойдется. Потом безногий: я ему велю проползти через весь пляж и заставлю ее смотреть на след, который будет за ним тянуться, и скажу: «Если Бог существует, то от него не останется ничего. Даже такого следа». Звучит не ахти как, но не беда, доработаем. Понимаешь?

---

[70] Примечания: 70

«Кто-то наверху любит меня» (*англ.*).

Потом ты прихлопнешь пса, только стреляй так, чтоб долго не мучился. Чтобы не корчился. Я понимаю, это малоприятно, но что поделаешь. Главное сейчас: разрушить классическую драматургию и действовать с помощью образов. Так можно сэкономить кучу денег.

Я рассмеялся.

— Что тут смешного? — спросил Роберт. — Что я вынужден платить обрубку три фунта, и, возможно, он мне понадобится еще два или, не дай бог, три раза? И толстухе придется купить такие румяна, чтоб ее было видно от Красного моря аж до Мертвого? Это тебя насмешило? Не понимаю.

— Не понимаешь, — сказал я. — Когда я жил в Париже и у меня не было денег, я ходил в студенческую столовую.

Он посмотрел на меня.

— Ты не очень-то похож на студента. И где ж ты учился? На Сен-Дени?

— Не в том дело. У меня была подруга, американка, которая занималась в театральной школе, и она меня гримировала. Чтоб я казался моложе. На алкоголика я, правда, меньше стал походить, зато начал смахивать на стареющего педераста.

Роберт задумался.

— Не знаю, удастся ли это использовать.

— Уж ты что-нибудь изобретешь, — сказал я. — Можно не беспокоиться. Но там, на пляже в Эйлате, ты одну вещь забыл.

— Что именно?

— Ты ей скажешь, естественно, так, чтобы я не слышал, что у меня три месяца не было женщины. Или даже четыре. Понимаешь? Я уже мало отличаюсь от этих доходяг и, хотя с виду еще не такой, начинаю подозревать, что омерзителен не меньше тебя. Пойдет?

— Да. И ты должен смотреть на меня не отрываясь. Понимаешь? Смотришь на меня, а потом невольно касаешься своего лица. Отлично. Ты на меня пялишься, потом на твоем лице появляется тревога… нет, минутное колебание, и рука тянется к лицу. Сумеешь это сыграть?

— Ты же знаешь, я очень способный.

— Тебе удаются только бурные сцены. Там, где надо играть на полутонах, пока еще не все о'кей. Но это придет. Теперь о другом. Эту ситуацию понадобится разрядить. Нельзя, чтоб ты все время думал о себе. Понимаешь? Ты маньяк, человек, не заботящийся о своей наружности, но такие мысли лезут в голову сами собой. Я и на это обращу ее внимание. А тебе нужно изменить прическу.

— Обязательно?

— Теперь все причесываются, как Джеймс Бонд. На пробор. У нас не тот случай. Ты вообще не знаешь, что творится на свете рядом с тобой. Какое тебе дело до того, что люди подражают этому шотландцу? Не будь ребенком.

— Если я не знаю, что творится на свете, не важно, какая у меня прическа. В кино я не хожу. Единственная книга, которую читаю, — Библия. Я знать не знаю, кто такой Шон Коннери. Пожалуй, стоит добавить, что месяц назад ты решил постричь меня по-новому и битый час стоял над душой горе-парикмахера. Только потому, что моей любимой женщине нравился этот шотландец.

— Жаль, у тебя волосы выгорят на солнце, и не будет видно седых. Нехорошо.

— Могу обзавестись каким-нибудь кепариком.

Роберт остановился и побледнел.

— Упаси тебя бог, — сказал он. — Ни в коем случае! Тебе на все наплевать: на солнце, на эту дикую страну, вообще на все. Ты словно бы из другого мира. Даже не loser. Тебе просто нечего выигрывать. Нет, теперь я тебя представлю в более современном ракурсе. А уж в ее умишке возникнет такая неразбериха, что только сильно похудевший счет в банке заставит вновь полюбить классическую драматургию.

— Если ты заговоришь о Шекспире, получишь в зубы, — сказал я.

Вошел Гильдерстерн и дал по семь фунтов каждому.

— Почему по семь? — спросил Роберт. — Мы ведь работали восемь часов.

— Час вы ссорились на тему драматургии, — сказал Гильдерстерн и ткнул пальцем в Роберта: — Он так ужасно кричал, что я не слышал вас ходить. Я очень извиняюсь, но у меня как-никак фабрика поддельных ковров, а не клуб.

— Господин Гильдерстерн, вы же порядочный человек, — сказал Роберт. — Хотите обдурить нас на один фунт?

— Вы кричали. Я не слышал шагов.

Роберт повернулся ко мне:

— С тобой всегда так. Конечно, я кричал, потому что привык, что у тебя лучше всего получаются бурные сцены.

Мы сняли башмаки и вышли под дождь; на завтрашний день у Гильдерстерна работы для нас уже не было. Я посмотрел на море и понял, что завтра солнца не будет. Может, только покажется ненадолго, чтобы осветить плоские крыши этого города, и спрячется за низкие тучи, оставив город в темноте под дождем.

— Роберт, — сказал я. — Было бы неплохо там же, на пляже, подцепить какого-нибудь фраера, который еще ничего не знает, и посоветовать ему заплыть подальше. Сказать, например, что там коралловые рифы — если у него будет маска.

— Зачем тебе кораллы? Коллекцию вздумал собирать? Совсем спятил. Тебе дозволено иметь только Библию, собаку и револьвер.

— И тебя, — сказал я.

— Да. Я — последний, кто у тебя есть, и лишь она… и так далее.

— Я подумал, что акулы могут настичь этого типа с маской, — сказал я. — И тогда на берег принесут то, что от него останется. Если вообще что-нибудь останется. Одним образом больше.

Роберт остановился.

— Видишь, вот это тебя и губит. Идиотизм. Мы ей только покажем нашего обрубка, а как было дело, пусть воображает сама. Ты что, и впрямь совершенно не знаешь женщин? Тебе известно, что переживает жена алкаша, когда он вечером вовремя не приходит домой? Напряги воображение: вначале она ждет, чтобы устроить ему выволочку, потом начинает волноваться, потом видит его в борделе, потом видит, как он сверзился с моста, потом видит, как он попадает

под машину, потом видит, как трамвай отрезает ему руки и ноги, а когда, наконец, муженек на бровях приползает домой, она с рыданиями бросается ему на шею. Та же ситуация. Мы только подкидываем сюжетец, чтобы было о чем поразмышлять. А уж в ее умишке все уложится как надо. Она должна почувствовать себя Моисеем, которому показали землю, а ходу туда нет. Не дай бог, что-нибудь такое случится. Это только увеличит расходы, и придется возвращаться к классической драматургии. Нет, ты вправду сдурел. Труп ему понадобился! А может, мне еще свозить ее за свой счет в Берген-Бельзен и показать эксгумированные останки нескольких сот тысяч людей, а? Или пригласить на чашечку кофе в городской морг? Достаточно, чтобы этот обрубок шустро ползал по песку — больше нам ничего не требуется. И чтобы песок, за который он будет хвататься, пересыпался у него между пальцев. Это — образ. Надо будет, кстати, с ним порепетировать. Полагаю, ты не считаешь, что я настолько глуп, чтобы платить безногому аферисту по три фунта в день, не будучи уверенным в необходимости такой сцены. — Он замолчал и через минуту добавил: — Двух фунтов тоже хватит. А теперь пора заняться собакой. Я тут

приглядел одного боксера.

— Опять боксера?

— Почему бы нет? Красивый зверь, спокойный, хорошо поддается дрессировке и при этом может быть препротивным. Идеальный друг для одинокого мужчины.

— Ты же — мой единственный друг.

— Да. Но одно другому не мешает. Хорошо, что ты мне напомнил. Нужно только придумать психологическое обоснование.

— Это уж ты сделаешь.

— Конечно, я. Просто ты перестал доверять людям. Твоя собака тебе дороже всех девушек из Фоли-Бержер, вместе взятых. Это очень сильно. Я, пожалуй, так поверну, чтобы она начала ревновать. Я в лепешку для тебя готов разбиться, но ты, кроме этого пса, никого знать не желаешь. Понятно? По вечерам вы сидите вдвоем, и это страшно.

Я посмотрел на Роберта; у него стояли слезы в глазах. Я никогда не видел его пьющим, а ведь знал, что он пьет тайком от меня, но понятия не имел, где и как.

— Может, ты б кончил пить, а?

— Не твоя забота. Сейчас главное — пес. Подумай лучше, какую ему дать кличку. И повести дело надо так, чтобы в момент убийства собаки

у этой бабы в мозгах переплелись два чувства: радость и отвращение.

— Во-первых, не известно, будут ли у нее мозги. А во-вторых, почему радость?

— Потому, что она ревнует тебя к этому псу. Остается придумать образ. Ага! Когда ты в первый раз соберешься ее трахнуть, выбеги внезапно из комнаты, а вернувшись, скажешь, что забыл покормить собаку.

— Она выгонит меня ко всем чертям. И на этом все кончится.

— Ничего не кончится. Я тебя всегда умолял не учить меня и еще раз прошу. В твоих отношениях с собакой есть что-то ненормальное. Годы одиночества, женщина, которая от тебя ушла, постоянные неудачи с работой, седина в волосах… Лучше не придумаешь!

Дождь усилился, и нам пришлось зайти в кафе на углу, чтобы переждать ливень и заодно выпить кофе. В эту пору там было пусто, и хозяин сказал, что уже час как должен бы закрыть кафе, но неохота идти домой под дождем.

— Ты в какую сторону едешь? — спросил Роберт.

— В сторону Яффы, — сказал он. — Но автобусы уже не ходят.

— Высадишь нас в конце Алленби, — сказал Роберт. — Возьмем такси и заплатим пополам, хочешь?

— Хорошо, — сказал он. — Два кофе? Фунт.

— Почему это фунт?

— Потому что уже первый час ночи.

— Но ведь ты сказал, что не уходишь только из-за того, что боишься дождя. И собираешься с нами на пару брать такси. Какого же черта просишь за кофе столько, сколько дерут в ночном клубе?

— Потому что уже первый час ночи.

— Ты говоришь на иврите?

— Да, — сказал хозяин.

— Тогда почему запросил фунт?

— Потому что уже…

Роберт не дал ему докончить:

— Говоришь на иврите? Да или нет? Ну скажи: ты говоришь на иврите или не говоришь?

— На улице дождь.

— И что с того? Мы же не за погоду платим, а за кофе, — крикнул Роберт. — Теперь ты уже нам считаешь за дождь, а раньше за то, что время за полночь? Говоришь на иврите? Ну скажи!

Это был старый трюк: говорить на иврите Роберт почти совсем не умел, но, покупая собак, неизменно набрасывался на продавца с вопро-

сом, знает ли тот язык. И всегда выигрывал.

— Я ошибся, — повысил голос хозяин. — Я вовсе не хотел говорить про дождь. Я хотел…

Роберт перебил его, крикнув:

— А что, может быть, нет дождя? Может быть, светит солнышко и пришел хамсин, а мы лежим на пляже и ждем, чтобы нам принесли пива? Верно? Прекрасный солнечный день. Мне душно, черт побери. Я мечтаю о прохладе.

— Я хотел сказать, что уже полночь, — надрывно крикнул хозяин. — А после полуночи…

Роберт в ответ крикнул еще громче:

— А то я без тебя не знаю, что полночь, да? Я думал, high noon[71] и сюда сейчас явится Гэри Купер с пистолетом. И только призадумался, чем бы заняться в такое чудесное солнечное утро.

Я достал из кармана фунт; бросил на стойку и вышел. Я чувствовал, что промок до костей, точно на мне не было куртки и свитера, да еще плотной рубашки снизу. Их вопли звенели в ушах, и, хотя я ускорил шаг, этот гвалт меня преследовал. Но я был один и думал, что сегодня ночью смогу наконец заснуть. Подойдя к гостинице, я отвернулся и только сверху, из комнаты, посмотрел на

---

[71] Примечания: 71

«Ровно в полдень» — название американского фильма с участием Гэри Купера.

Ибрагима: он стоял неподвижно, лицом к стене, а дождь стекал по его телу, и только волосы у него были жесткие, как днем и как на солнце.

Я снял куртку и свитер и спустился вниз. Когда проходил мимо Гарри, увидел себя в зеркале и подумал, что могу обойтись без рубашки, которая насквозь вымокла и прилипла к груди. Я сбросил ее и дал Гарри.

— Высуши к завтрашнему дню. Как — это уж твое дело.

Я вошел к ней в комнату; она еще не спала. Ни слова не говоря, я выглянул в окно и посмотрел на улицу; оказалось, что отсюда его не видно; он стоял, повернувшись лицом к стене, на другом углу.

— Я думал, он будет здесь, — сказал я. — Но, к счастью, его нет.

Она усмехнулась.

— Ты в себе уверен, — сказала.

— Иногда мне хочется его убить, — сказал я. — Не могу больше на него смотреть.

— И я не могу на него смотреть. Как только вернемся в Канаду, подам на развод.

— Я его ненавижу. На всем свете нет человека, которого я б ненавидел сильней. Когда вспоминаю, как он стоит.

Я замолчал; у меня не было уверенности, что

его действительно нет. Возможно, я просто его не заметил. Я посмотрел вниз еще раз и тогда только убедился, что действительно не увижу его из этого окна, потому что оно выходило на боковую улицу.

— Нет, — сказал я. — Сегодня его не будет.

— Да. Он поехал в Хайфу. Оставил тебе записку.

Она взяла со стола конверт и подала мне; я сунул конверт в задний карман брюк и застегнул карман на пуговку, которую мне специально пришил Роберт, хотя никто, кроме меня, не носит джинсы с пуговицами, и только после этого посмотрел на нее и рассмеялся, а она тоже рассмеялась.

— Боже, — сказал я. — Забыл, что дальше.

— Что?

— Ничего. Вспомнил. Меня научили. Но тебе этого не понять. — Я подошел к двери. — Ты знала, что так случится. И я знал, что так случится. Только Роберт все перепутал. Теперь, когда у меня уже есть деньги, я в этом не нуждаюсь. Да еще черномазый этот стоит на углу и не оборачивается… — И повернул ключ.

Все было бы хорошо, если б не Роберт со своей спешкой. И если б дожди не кончились раньше,

чем в прошлом году; но этого мы наперед знать не могли. Роберт пошел в туристское агентство и вернулся сияющий.

— Полный порядок, — сказал он.

— Уродина?

— Да. Очень удачно. Разведенка.

— Моральная травма?

— Да. Все будет о'кей. Помнишь последнюю моральную травму? Ту старую перечницу из Чикаго?

— Да.

— Муж издевался над ней, мученья длились годами, и только ты, чистая душа, даже не знающий цены деньгам… верно?

— Можешь не договаривать.

Мы отправились к человеку, который нас финансировал, и там сидел еще один. Когда мы вошли, хозяин дома сказал:

— Это мой шурин.

Я усмехнулся.

— Чего усмехаешься? — спросил Роберт. Он вдруг побледнел. — Ты чего усмехаешься? Газет не читаешь, да? Ты депрессивный маньяк, псих, а я за тобой присматриваю. Скажи: чего ты развеселился? И я посмеюсь за компанию. Только кто нам будет платить? Потом, когда ее уже заберут

в психушку, мы посмеемся вместе. А пока изволь быть мрачнее тучи.

— Я только улыбнулся.

— Какого дьявола? Что тут смешного? Объясни мне, прошу.

— Он сказал, что это его шурин, — ответил я. — У них рожи одинаковые — не отличишь. Каждый отсидел по пятаку в Дартмуре. Это последняя в Европе тюрьма, где есть телесные наказания.

Роберт успокоился.

— Превосходно. Он у нас такой. Грубый. Дикий. Хам. Один я еще могу на него влиять, и то все меньше и меньше. И лишь эта развалина… В Эйлате — вы понимаете, о чем речь. К тому же физически он очень силен. — Он указал мне на шурина хозяина дома. — Засвети этому малому промеж глаз. — И принялся расстегивать мою куртку.

— Почему он должен меня бить?

— Как почему? Он силен как бык. Восемьдесят килограммов. Сплошные мускулы. Сами сейчас убедитесь.

— Но зачем?

— Ведь вы платите? Верно, господа? Надеюсь, вы не передумали?

Он опять побледнел.

— Все остается так, как я сказал, — произнес хозяин дома.

— Превосходно. Вы платите, а я — человек дела. Деньги зарабатывать можно только чистыми руками. Главное тут — воображение. Будь он болен чахоткой, я б его сюда не привел, правильно? Я бы его отвез в санаторий. — Он повернулся ко мне. — Чего ты ждешь?

— Благодарю, — сказал шурин хозяина. — Весьма признателен.

— Не хотите? Почему? Все очень просто. Не думаете же вы, что я привел человека, не способного хорошенько вам врезать? Неужели обо мне можно так подумать?

Он вдруг расплакался.

— Слишком много пьет, — сказал я. — Нервы.

— Только когда я его отпускаю одного, — сказал Роберт. — Вы уж, пожалуйста, извините. Просто меня трясет от страха, как подумаю, что ему предстоит остаться с этим чучелом наедине. И вдобавок… моральная травма. Я боюсь.

Он опять зарыдал.

— Не понял, — сказал я. — Моральная травма? У кого? У нее?

— Конечно, у нее. Не у меня же. Скажешь тоже… Отыщи мне кого-нибудь получше в середине

марта.

Сделай одолжение, попробуй. А я позвоню агенту миссис Тейлор, чтоб она сюда приехала специально ради тебя. Самая соблазнительная невеста Америки. Прекраснейшая женщина в мире. Вот только бы дождь перестал.

— Успокойся.

— Нет, не успокоюсь, пока мы не выцарапаем башли. Я боюсь оставлять тебя одного. Только Бог на Страшном Суде узнает, что́ я переживаю.

— Могу в свою очередь тебе рассказать, что *я* переживаю, — сказал я. — Когда такая развалина раздевается и изображает из себя бэби. Наивная курочка. Выглядит как Мисс Городского Морга. И чертовски расчетлива. А я чувствую себя так, точно попал в городскую больницу.

— Это хорошо, — сказал Роберт. Он успокоился. — Видишь, когда ты молодец, я всегда тебя хвалю. А про свои чувства расскажешь ей.

— Вы это всерьез? — спросил хозяин дома.

— Разумеется. Не понимаете? Он ее любит, но не верит, что Господь ниспошлет ему такое счастье. Вам это непонятно? Я его представляю по-современному и вместе с тем в самом что ни на есть традиционном ключе: со всеми моральными комплексами. Умоляю, господа, не давайте

мне советов.

— Вам никто никаких советов не дает, — сказала хозяйка дома.

— Конечно. Я всегда все должен сам. Правда? Вам наплевать, что я испытываю, когда оставляю его наедине с этой старой каргой. Но я тоже человек и иногда нуждаюсь в добром слове. Об этом вы, естественно, не подумали. Зачем? Я и так все организую. Только в один прекрасный день свихнусь. Но это уж мое дело, верно? Я уже ненормальный.

— Пожалуйста, не плачьте.

— Как же мне не плакать? Я что, не человек? Думаете, у меня нет сердца? Не знаю. За одно могу поручиться: оно было. — Он повернулся ко мне. — Так ты ей скажешь. Когда она тебя спросит, скажешь: было. Понятно? Груз прожитых лет, морщины, седина в волосах. — Он опять обратился к хозяйке дома: — Вас правда интересует, есть ли у меня сердце? Есть. Ну и что с того? Скажите, пожалуйста: зачем оно мне? Ну пожалуйста. Вы требовали от меня абсолютной искренности. Я прошу того же: какой мне от него прок? Умоляю; коли уж вы меня терзаете своими вопросами, и я себе позволю разок спросить. Но требую полной откровенности. Скажите, пожалуйста: какой мне

от моего сердца прок?

— Да ведь вас никто ни о чем не спрашивал, — сказал братец жены. — Даже если бы мы захотели, не смогли б.

— Естественно. Зачем спрашивать? Вы только возьмете бабки. Вопросы излишни. Я б на вашем месте тоже ни о чем не спрашивал. Ведь есть человек, который за тебя думает. Что может быть лучше! Попрошу не перебивать. Если мне потребуется совет, я к вам обращусь. Другое дело, что вы посоветуете какую-нибудь глупость. И, пожалуйста, не возмущайтесь — ни на что иное я и не рассчитывал. Конечно, вас не интересует, что́ я переживаю, когда начинаю работать. Я чувствую, во мне вот-вот что-то лопнет. Еще не знаю что. То ли в голове, то ли в сердце. Не берусь описывать это чувство, не умею. Если б умел, не сидел бы сейчас с вами.

Что, возможно, было бы совсем не так плохо. Только что бы вы все без меня делали? Не знаете, правда?

Я посмотрел на Роберта; кажется, на глаза его опять навернулись слезы. И действительно: он зарыдал.

— Вы спросили, что бы мы без вас делали? — сказал хозяин дома. — Избавили бы себя от массы

хлопот. А вам надо сходить к врачу. Нервы у вас никуда.

Роберт мгновенно успокоился.

— К врачу? А зачем? Почему не предлагаете, чтоб я просто выбрасывал деньги в окно? Почему б вам такого не посоветовать, раз уж вы уперлись и не даете мне слова сказать и каждую секунду меня перебиваете? Почему не прикажете вышвырнуть деньги в окно? И для вас прямая корысть, — стой себе перед моей гостиницей да подхватывай. За это не надо платить налог? Нет? Не хотите? Странно.

— У вас нервы совсем никуда, — повторил хозяин дома. — У одной нашей знакомой началось точь-в-точь так же. Возбуждение, бессонница, истерия. Нет нужды говорить, чем это закончилось.

— Ничем, — сказал Роберт. — Она вышла замуж за богатого гинеколога и изменяет ему налево и направо. Если, разумеется, это ваша настоящая кузина.

— Была когда-то, — сказал хозяин дома. — Она покончила с собой.

Роберт стремительно повернулся к нему.

— Когда?

— Несколько лет назад.

— Сколько ей тогда было?

— Двадцать с небольшим.

— Состоятельная?

— Нет. Отнюдь.

— Тогда для чего вы мне это рассказываете? Муж у нее был?

— Она была не замужем.

— Слушайте, зачем вы мне морочите голову? У меня есть идея, как пощипать человека, у которого жена покончила самоубийством. Я знаю одну девушку — отлично изображает маниакально-депрессивный психоз. Мы завлекаем этого типа сюда, поселяем с девушкой в одной гостинице, они начинают общаться, он замечает, что у нее не все дома, но потом вспыхивает бурная страсть — улавливаете? Потом она травится, он пытается ее спасти — именно по принципу парадокса. Ему ничуть не мешает, что его жена покончила с собой. Наоборот: в память о покойной он решает помочь бедняжке. Прибыль делим на три части. Ну как, неплохо? Скажите, прошу вас. Я придумал недурную теорию — специально для парадоксальных ситуаций. Неправда, что люди убегают от страшных воспоминаний. Нужно только знать, с какого конца подступиться. Если вы мне заплатите, я берусь одного малого,

который шесть лет просидел в Берген-Бельзене, отправить туда обратно. Он купит себе палатку, залезет в нее и будет питаться тушенкой. Немцы дадут ему визу. Немцы испытывают чувство вины перед евреями. Этот муж вашей кузины, вероятно, испытывает то же самое. Уж мы ему растолкуем, что именно он виноват в преждевременной кончине своей незабвенной супруги. Не понимаете? Это же ясней ясного. У вас есть его адрес? Можете пригласить его на лето?

— Я ведь вам сказал, что моя кузина была не замужем.

— Хорошо. Пригласите ее любовника. Он был женат? Это очень важно. Представьте: молодая девушка, жаждущая чистой любви, мужчина, которого она обожает, и эта сука, его жена, про которую он наверняка рассказывал вашей кузине, что она абсолютно фригидна, — так все говорят. Да и что еще говорить любовнице? Имеете предложить что-нибудь получше? Не стесняйтесь, выкладывайте. Ну как, пригласите его?

— Моя кузина была калекой от рождения и жила в Польше, — сказал хозяин. — Даже если у нее был любовник, у него не было ни гроша.

Роберт замер.

— Тогда для чего вы мне это рассказываете?

Зачем морочите голову? Два часа разливаетесь про свою кузину, а когда я предлагаю толковый проект, оказывается, что она была калекой и вдобавок без гроша за душой. Почему б вам не потребовать, чтобы я за свои деньги поставил ей на могилу мраморный памятник? Давайте. Вы наверняка хотели сказать что-нибудь в этом роде. Коли уж целый час талдычите о своей засраной калеке, подкиньте еще этот нюансик. Больше того: я этот мрамор отправлю самолетом за собственный счет. — Он обратился к братцу хозяйки дома: — Почему?

— Что?

— Откуда мне знать что? Это ведь вы сказали «что»? Договаривайте, пожалуйста.

— Да я не знаю…

Роберт перебил его:

— А кто должен знать, я? Или я читаю ваши мысли? Что вы имели в виду? Валяйте. Я наслушался в жизни столько глупостей, что могу выслушать еще одну. Раз уж решили не дать мне слова сказать, сами по крайней мере договаривайте до конца. Не могу же я всегда и все делать за всех. Вы задаете вопросы, а когда я в свою очередь позволяю себе поинтересоваться, что имеется в виду, говорите, что не знаете. Отбросьте лож-

ный стыд. Ваш шурин минуту назад предложил мне за мой счет привезти из Польши какую-то калеку. Почему бы вам не предложить что-либо подобное? Ну?

— Так мы ни до чего не договоримся, — сказал хозяин дома.

— Правильно. Первые разумные слова за целый вечер. Но как можно до чего-то договориться, если вы не даете мне рта раскрыть. Сперва живописуете с безобразными подробностями жизнь какой-то калеки, и вам плевать, что рядом ваша супруга, и хотя бы присутствие женщины должно было бы вас удержать от описания деталей, мягко говоря, мерзостных. Разумеется, я бы мог выразиться покрепче, если бы тут не сидела ваша жена, которую я вынужден уважать, хоть она и вышла за вас — мне-то ясно, что здесь был не холодный расчет, а просто каприз. Чем еще можно это объяснить? Женщины капризны. Только вам такое, конечно, и в голову не приходило. Вы считаете, будто пленили ее своей сексуальностью и уголовным прошлым. Что ж, пусть будет так. Завидую вашей способности создавать себе иллюзии. Это великое искусство, почти недоступное современному человеку. Кстати, господа, вы задавали себе вопрос: каков современный человек

на самом деле? Вам известно, что сейчас никто не способен дать исчерпывающий ответ? Современный человек сам себя не понимает. По-вашему, такие авторы, как Ионеско, Беккет и прочие чудаки, сочиняют свои бредни единственно для того, чтобы позабавить вас, когда вы идете в театр и потом списываете цену билетов с налога? Нет, господа. Над этим следует призадуматься, притом серьезно. Они не безумцы, как вы только что изволили заявить. Нет писателей с более трезвым умом. Они знают, что нервная система современного человека не выдерживает напряжения, в котором ему приходится жить, и переносят его в мир странностей. Они хитрецы. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Вы же мне сперва излагаете историю какой-то калеки, совершенно не относящуюся к делу, с которым я пришел, а потом ваш шурин спрашивает меня о чем-то, и когда я в свою очередь спрашиваю, что он имеет в виду, оказывается, что этот человек не умеет формулировать свои мысли даже самым примитивным образом. И кто же должен делать это за него? Я? А с какой стати? Почему бы ему еще не потребовать, чтобы я ходил вместо него к зубному врачу и платил за него налоги? Что ж, согласен. Коли уж вы решили меня затрахать,

милости прошу. Я готов каждому услужить. О чем, в конце концов, речь? — Он обратился к хозяину дома: — А мрамор этот какой должен быть? Или, может, вы предпочитаете памятник из гранита? Нет? Удивительно. Я бы на вашем месте, попадись мне наивный дурачок вроде вашего покорного слуги, и это бы его заставил сделать. Ну что? Я жду. Я посижу и подожду, пока вы не выговоритесь. Со мной надо как с ребенком.

Он плюхнулся в глубокое кресло и закрыл глаза. А открыл именно в ту секунду, когда хозяин разинул рот, собираясь что-то сказать.

— К чему вы клоните? — спросил Роберт.

— Кто?

— Как кто? Вы. Не я же. Я знал, с чем сюда шел. Если б вы мне не затыкали рот, мы бы давно уже все утрясли. Но вместо этого я вынужден сидеть и выслушивать, как ваша калека разоряла мужчин. А может, мне вообще ни о чем таком не хочется слушать? Вам не пришло в голову, что существует некая граница дурного вкуса, которую ни в коем случае нельзя преступать? Это уже не относится к категории нравственности, без которой вы до сих пор обходились. Да и зачем она вам? Нравственность — понятие растяжимое. Странно, что вы мне до сих пор этого не сказали. Никто в

Тель-Авиве лучше вас не знает, что это так.

Хозяйка дома вдруг тихо заплакала, а Роберт принялся ей вторить, только гораздо громче. Оба бандита испуганно переглянулись, а потом уставились на меня.

— Пожалуйста, — сказал Роберт хозяину. — Вот до чего вы довели свою жену. Она вас, конечно, не станет упрекать. Если вы спросите, почему она плачет, возможно, даже и скажет, что из-за меня. Почему б ей так не сказать. Ведь нелегко заявить собственному мужу, что его идиотская болтовня кого-то доводит до исступления. Одного до исступления, другого до слез. Для такой юной особы, как ваша жена, это совершенно естественная реакция. Ведь она ранима и впечатлительна.

Роберт вскочил; подбежал к хозяйке и поцеловал ей руку.

— Скажите, что вы плачете из-за меня, — попросил он. — Я уже столько в жизни вынес, что даже Бог на Страшном Суде изумится, когда я открою Ему душу.

Роберт судорожно всхлипывал, и слезы текли по его жирному лицу. Женщина перестала плакать, и теперь уже все они со страхом смотрели на Роберта.

— Принести вам стакан воды? — спросила

хозяйка.

Я стоял у окна и помалкивал. Не знаю, как он этому научился. Я думал, оттого он и пил тайком от меня, но, видимо, ошибался. Он это просто умел; для него не было невозможного, когда представлялся случай кого-нибудь облапошить и выцыганить деньги. Он способен был плакать тихо и спокойно, как женщина, свыкшаяся с несчастьями; он способен был плакать истерически и способен был плакать, как малое дитя. А сейчас он рыдал и плечи его тряслись; этим искусством ему тоже удалось овладеть.

Хозяин дома обратился ко мне:

— Вы должны поговорить со своей девушкой. Пусть она его отвезет к родителям. У них там прекрасный кибуц. На какие-нибудь две-три недельки. Успокоить нервы.

Роберт перестал плакать. Он побледнел и покрылся испариной; на этот раз он не притворялся.

— Ради бога, о какой девушке речь? — спросил он.

Я не ответил. Хозяин дома любезно объяснил:

— Я сегодня видел его в автобусе с девушкой. Я знаю ее родителей.

— Почему вы считаете, что она может для меня

что-то сделать?

— Раз уж он ее целовал… — сказал хозяин, пожав плечами.

Роберт повернулся ко мне.

— Ты ее целовал?

— Да.

— Сколько слупил?

— Нисколько.

— Совсем ничего? — вопросил Роберт с душераздирающим стоном.

— Да.

— Надеюсь, ты мне не скажешь, что трахал ее задаром? Не подложил, не дай бог, такую свинью?

— А почему бы и нет?

— Задаром? Зачем?

— Сам не знаю. Чем я хуже других? Ладно, не бойся: никакой свиньи я тебе не подкладывал. Просто поцеловал ее и вышел из автобуса. Вот и все.

Роберт успокоился.

— Значит, ему нельзя задаром? — спросила хозяйка дома.

— В принципе можно. Только зачем? Объясните мне, зачем ему это делать задаром, и тогда я спокойно лягу в могилу. Прошу вас, скажите.

— Да ведь он мог влюбиться.

— Это уж я ему скажу, когда влюбляться. Предоставьте это мне. Я все устрою. Но задарма-то зачем, если есть женщины, которые ему платят? Объясните, умоляю вас. Или возьмите все на себя. Увидите, легко ли превращать его то в депрессивного маньяка, то в неуравновешенного романтика, то в одержимого религиозного фанатика. А я постою в сторонке и погляжу, как у вас получится. И вообще, попрошу не вмешиваться в наши дела. Он профессионал. С двадцати шести лет делает это только за деньги. Какой смысл заниматься тем же задарма?

— А кем он был в Тверии, когда вы работали вместе? — спросил хозяин.

— Тогда-то? Не помню. Какая разница? Вы же получили свою долю, правда? Может, мне надо было регулярно телеграфировать вам о состоянии его психики? Или письма писать, а копии отправлять в Тель-Авив в полицию и директору тюрьмы в Акко, если б у него для вас нашлось наконец местечко? Извольте. В следующий раз непременно так и сделаю. — И обратился к хозяйке дома: — А теперь еще вы мне советуете, чтобы он активно занялся сексом. Зачем?

— Ради удовольствия. Вы ни о чем таком не

слыхали?

— Удовольствие? От этих развалин? Я вечно боюсь, как бы которая-нибудь не рассыпалась под ним раньше времени. Знаете, у нас был такой случай: у бабы началась истерика, и пришлось везти ее в больницу. От счастья. А догадываетесь почему? Потому что последний раз она лежала под мужиком пятнадцать лет назад и тут совершенно офонарела. А вы говорите об удовольствии.

— Да ведь он мог влюбиться в красивую молодую девушку.

Роберт повернулся ко мне; вид у него был как у человека, наблюдающего за двумя мчащимися навстречу друг другу поездами.

— Ты ведь не способен на такую подлянку? — прошептал он.

— Будь спокоен, — сказал я.

Роберт обратился к хозяину дома:

— Почему вы стараетесь нас поссорить? С чего вам взбрело в голову, что этот человек может трахать кого-то задаром? Мало, что вы довели до слез собственную жену? Но женщины ничего не забывают она вам это припомнит. Умей их сестра забывать, ни он, ни я не заработали бы ни гроша. И вы тоже. Женщина в жизни не забудет предмета своих грез. Одна мечтала о тиране, дру-

гая — о лирике, третья — еще о ком-то. Память в женщине убить нельзя. Вам известно, что легче всего облапошить именно такую, которая хочет забыть? Эти всегда остаются с носом: ищут приключений, а попадаются в сети любви. Особенно меня смешат бабы, которые считаются холодными и скупыми. Этих обработать проще простого. У нас уже было несколько таких. Это тебе не мужчина, который сделает девушке ребенка, а потом никак не может припомнить, где это было и с кем, и только ее адвокат воскресит волшебные воспоминанья. А всего лучше те, что рвутся отомстить мужчинам. Самый благодатный материал. Цены им нет: тратишь вдвое меньше времени, чем на тех, которые мечтают о великой любви. В женщине всегда возьмет верх жажда справедливости. По той простой причине, что о боли им известно больше нашего. Даже самым распоследним блядям. — Он обратился ко мне: — Помнишь ту кретинку из Канады, которая приехала сюда отыгрываться на мужиках, а потом просила взаймы на обратную дорогу?

— Помню.

— Вот видите, господа. Что вы знаете о женщинах? Я сам давно мечтаю жениться и начать наконец новую жизнь, да времени нет…

Теперь хозяин дома его перебил — впервые за этот вечер:

— Понятно, что у вас нет времени. Вы ведь беспрерывно жените своего дружка.

Роберт подошел к столу и налил себе чашку кофе. Постоял минуту с выражением глубокого отвращения на лице.

— Кофеек тоже паршивый, — сказал.

И мы ушли; шагая по Алленби, я видел огни входящего в порт парохода.

— Это корабль нашего миссионера, — сказал я.

— Не думай об этом.

Мы вернулись в гостиницу, и я дал Гарри подержать собаку, а сам хотел пойти за вещами, но тут вошел Шон.

— Это уже завтра, — сказал он.

— Да. Тридцать три.

Вошла его жена.

— Может, начнешь? — спросила она. — Я уже закончила. Или будешь ждать до утра?

— Ты о чем?

— Когда собираешься укладываться?

— Мы не будем укладываться, — сказал он. — Мы остаемся. Раз удалось обратить одного, будут и другие. Первого я обратил в Яффе, а теперь пойду искать дальше.

— Это, что ли, твой обращенный из Яффы? — спросила она.

— Да.

— Ты знаешь, сколько этому человеку лет?

— Завтра исполняется тридцать три.

— Этот человек уже тридцать три года католик и всегда им был. И вдобавок оказался настолько любезен, что развлекал тебя по вечерам беседами на религиозные темы.

— Этот человек — католик? — спросил Шон.

— С рожденья.

— Откуда ты знаешь?

— Я с ним спала. Лучше все-таки займись своими вещами.

Она ушла, и вошла Луиза.

— Погасите свет, — сказала она. — Или поверните прожектор к стене.

— Здесь нет никакого прожектора, Луиза, — сказал я. — Это обыкновенная лампа.

— Поверните прожектор к стене, — повторила Луиза. Она набралась больше обычного; Шон вышел, а я повернул лампу.

— Я тебе показывала, какой была раньше? — спросила она. Сейчас, в темноте, я не видел ее лица. Она вынула карточку. — Уже показывала?

— Ты в этой гостинице всем показывала.

Шон вернулся; пододвинул к себе корзину и стал рвать какие-то бумаги.

— Что это, Шон? — спросил я его.

— Наши с тобой беседы, — сказал он. — Я их записывал.

Он брал листок за листком и методично рвал, а Луиза подошла к нему и протянула свою фотографию.

Шон, не взглянув на снимок, разорвал его на кусочки и бросил в корзину.

— Сделать тебе чаю, Луиза? — спросил Гарри. — Чай здорово помогает. Полфунта.

Она взяла лампу, стоящую на столе, и осветила свое лицо, а мы все отвернулись.

— Ты уверен, Гарри? Посмотри на меня и хорошенько подумай, что мне может помочь. — Она подняла руку. — До свидания всем, — сказала. Пошла наверх и по дороге столкнулась с Робертом. — Уезжаешь? — спросила она.

— Нет, что ты! Остаюсь и буду каждый месяц получать столько же, сколько ты. Первая красавица в нашем городе.

Она ушла, а Роберт спустился вниз; он уже был потный и вздрюченный. Посмотрел на Шона и как-то сразу успокоился.

— Дайте-ка сюда лампу, — сказал он. Взял лам-

пу и осветил ею лицо Шона. Но зрачки Шона остались неподвижными, и после третьей попытки Роберт отставил лампу. — Звони в психушку в Бат-Яме, — сказал он Гарри. — Этот уже готов.

— С чего ты решил?

— Как с чего? Я по образованию врач.

— Ты никогда об этом не говорил.

— А что, обязан был? Нет. Мне за это не платили. Скажи спасибо, что сейчас сказал.

Гарри стал звонить в больницу; а сверху двое снесли Луизу, и мы увидели, что у нее перерезаны вены.

— Ничего страшного, — сказал Роберт. — Она такое видела только в кино. На самом деле это совсем не просто. Пошли. — Он обратился ко мне: — Бери пташку и идем.

— Какую пташку?

— Собаку. Я ошибся. Что, нельзя один раз ошибиться? Этот спятил, та вздумала с собой покончить…

— Я останусь с ним, — сказал я.

— Зачем?

— Хочу что-нибудь для него сделать.

— Ты уже все для него сделал. Зачем она ему сказала? Хоть убей, не понимаю. Ведь я такого не придумывал, согласись.

— Ты велел мне ее шворить?

— Да. Но не понимаю, зачем было говорить. Это же глубоко интимные вещи. Возможно, даже святые. Нам бы жить было не на что, если б на свете не существовало подобных вещей. Нехорошо с ее стороны. Хоть бы у меня спросила. — Он подошел к Шону и приложил ему окурок к руке. — Отсутствие рефлексов. Этого я и боялся.

Вошли двое, оба в белых халатах; за ними я видел еще двоих, стоящих за дверью с носилками.

— Берите сначала его, — сказал Роберт и указал на Шона. — У нее ничего опасного. Оставляем нашу незабвенную самоубийцу. Пошли.

Гарри загородил ему путь.

— А за чай?

— Какой еще чай?

— Кто заплатит за Луизин чай?

— Уж наверно не я.

— Если ты врач, должен был мне сказать.

— Что?

— Что чай ей не поможет.

— Ей уже ничего не поможет, — сказал Роберт. — Посмотри на нее. Надо найти кого-нибудь, кто бы с нею сидел и рассказывал, какой она была раньше Я об этом еще подумаю. Сколько ей присылают родственники?

— Двести долларов в месяц.

— Немного, — сказал Роберт. — Но я подумаю.

Мы вышли из гостиницы; остановка нашего автобуса была на углу. Я сел около окна, и тут вошла эта девушка. Я уже знал, что буду смотреть на нее всю дорогу. Только ее маленького шрама не было видно; но дожди вот-вот прекратятся, и я подумал, что в Эйлате она мигом загорит, и я опять увижу белую черточку у нее на переносице.

— И эти губы, и глаза зеленые, — сказал я.

— Хочешь глотнуть? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я. — Роберт, можно мне выпить глоток?

Он не ответил; я посмотрел на него и увидел капли пота на лбу.

— Можно я выпью глоточек, Бобби?

— Я думаю насчет Луизы, — сказал он. — Улавливаешь? Отличный расклад. Я уже все прикинул. В сезон дождей лучше женщины не найти. Ты будешь сидеть возле нее и рассказывать, какой она была. Понимаешь? Нет, не понимаешь. Достаточно, что я понимаю. Зачем корежить себе мозги, когда существую я, верно? И плевать, если я сдвинусь. Правда? Только что вы все без меня будете делать?

— Как насчет выпить, Роберт? Позволишь?

— Нет. Ты слишком много пил последнее время. Я понимаю, беседы о Боге требуют особых условий, и тем не менее нет. — Он провел рукой по моему лицу. — Ладно уж, дай ему глотнуть.

— Ты надолго в Эйлат? — спросил я.

— Это зависит.

— От погоды?

— От того, кто за меня будет платить. А ты?

— Это зависит.

— Но не от погоды?

— Нет, — сказал Роберт. — Я уже все придумал. Все замечательно. Теперь мы сможем работать, даже когда зарядят дожди.

1966

Расскажу вам про Эстер

Я сидел в кафе на углу улиц Хесс и Алленби, денег у меня оставалось на кружку пива, и тут в зал вошла та девушка, с которой мы ехали в Тверию, а потом в Эйлат. Она села за мой столик, и я снова разглядывал маленький шрам у нее на переносице. Но теперь мне было плохо видно, хотя на улице светило солнце и стояла сорокаградусная жара. Правда, сидел я в темном углу, где сидят те, кто пьет в долг.

— И эти губы, и глаза зеленые, — сказал я. — Тебе бы сейчас быть в Эйлате или в Тверии.

— В Тверии жара несусветная. Погляди на того типа, видишь, у стойки?

Я обернулся и посмотрел: мужчине было лет шестьдесят с гаком. Он пил кофе, и видно было, что рубашка на нем взмокла от пота, хотя сидел он напротив вентилятора.

— Не так плох, — сказал я. — Вчера я видел, как он выходил из ночного клуба на улице Яркон.

— Он хочет, чтобы я пошла с ним.

Я еще раз посмотрел на него. Не знаю, зачем он пил кофе; жилы у него на шее вздулись, и он непроизвольно прижимал руку к сердцу, как ге-

рои немых фильмов, у которых так замечательно дрожат губы, когда они корчатся на земле, а у мерзавца, изготовившегося выстрелить, дрожит рука.

— Он не сказал тебе, что это ему полезно для здоровья? — спросил я.

— Пятьдесят фунтов.

— Это все, что он сказал?

— Сказал еще, что я похожа на его дочку. Она умерла.

— Можно и так. А что с ней приключилось?

— Она была больная. Покончила с собой.

— Что еще остается, если имеешь отца, который платит за десять минут пятьдесят фунтов. К нам подошел официант.

— Что будешь пить? — спросил он у меня.

— Подумаю еще.

— Ты уже два часа думаешь.

— Не люблю швыряться деньгами.

— Ты пока этим не грешил.

— Она за меня заплатит, — сказал я. — Но уговор остается в силе.

— Так что пить будешь?

— Еще раз «Голд стар».

— А ты?

— То же самое, — сказала она.

Официант ушел и принес нам два пива. На нем была белая рубашка, черные брюки и пояс. И все это прилипло к телу, как будто он вышел из ванны.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил я.

— Мне не нравится этот старикан, — сказала она.

— Пятьдесят фунтов совсем недурно. Рабочий на стройке зарабатывает семьдесят за неделю. А тут всего десять минут.

— Пойдешь со мной?

— Хочешь, чтобы я вам ассистировал?

— Ты мой парень, и мы пойдем впереди. А он пойдет за нами,

— Понятно, — сказал я, — мы влюбленная парочка, а он случайный прохожий, просто идет в ту же сторону.

— Полиция ко мне цепляется.

— Ладно, — сказал я.

Она положила деньги на столик, и мы подошли к старику; я опять обратил внимание на его набрякшие жилы и мутные глаза, а ведь он спиртного в рот не брал. Даже в ночном баре, где бывал каждую ночь, никогда не пил, только ставил девушкам, да и всем, кто просил, но сам не пил никогда. У него было достаточно денег,

чтобы верить в то, что люди его любят, но не так много, чтобы возбуждать в них ненависть.

— Мы пойдем вперед, — сказала она, — а ты иди за нами.

Она обняла его, прижалась и прошептала что-то на ухо, слов я не расслышал. А потом мы вышли на улицу, и он шел вслед за нами под палящим солнцем. Я ничего не говорил этой девушке из рассказа Сэлинджера, только злился на него за то, что это он придумал ей имя; но у нее и вправду были зеленые глаза и сладкие губы, и я думал об Эстер; когда я увидел ее в первый раз, она стояла посреди зала, в котором сидели и ели человек триста, и с кем-то беседовала, а ее узенькие плечи были загорелыми и крепкими, и все мужчины в зале поглядывали на нее, но она об этом не догадывалась; была еще слишком молода и хороша, чтобы понимать их взгляды. Совсем как та, что была у меня раньше, которая только потом, когда порвала со мной и у нее завелись другие, стала догадываться, что нравится мужчинам, но никак не могла понять, что они ненавидят ее за то, что она так хороша, и им трудно поверить в ее любовь и постоянство. Чтобы понять это, ей понадобится какое-то время, а когда она поймет, ей сразу станет ясно, что это знание ей ни к чему,

и так бывает с ними со всеми.

— Он идет за нами? — спросил я.

— Да.

Мы вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице, а он шел за нами, на каждом шагу хватаясь за перила, и я слышал его тяжелое дыхание, а девушка рядом со мной взбежала по ступенькам как кошка, тихо и легко, и я не видел пота ни на ее лице, ни на платье, а когда мы остановились на верхнем этаже, она повернулась ко мне, и дыхание у нее было чистое, как дыхание ребенка.

— Подожди минутку, — сказала она.

Она пошла по коридору и, когда ей открыли дверь, вступила с кем-то в переговоры, они долго препирались, а старик тем временем добрался до площадки и подошел ко мне,

— Я бы выпил воды, — сказал он.

— Я бы тоже.

— Мне нехорошо.

— Мне тоже.

— Но мне шестьдесят лет.

— Но у тебя есть пятьдесят фунтов, — сказал я. — И она сейчас станет тебя уверять, что ты мастак в этих делах. А я буду стоять здесь, в коридоре, и ждать вас.

— Я бы выпил воды, — повторил он. — О чем

они так долго говорят?

— Торгуются о цене. Она подошла и сказала:

— Боятся. Кто-то на них настучал. Пойдемте в другое место.

— Мне нужно выпить воды, — сказал старик. — Я потерял таблетки. У меня больное сердце.

Мы спустились вниз по лестнице и пошли по улице, а он шел за нами. Девушка шла быстро, и даже мне трудно было поспевать за ней; у нее были длинные ноги, она была сильная как кошка и как кошка быстрая; мы шли по солнечной стороне, старик тащился за нами, и я слышал его прерывистое дыхание. Был полдень, люди спали, а я думал о том, как Эстер когда-то сидела со мной, я пил, а она молча на меня смотрела. Я не знал, о чем говорить с ней, а ведь мог рассказать ей о многом. Я мог бы сказать, что все время искал ее, что я уже не юнец, считающий всех женщин шлюхами, и мог бы сказать, что я искал святую, ведь бывают святые, а если их и нет среди нас, то они есть в нас, в наших измученных сердцах, в нашей тяжелой крови, в наших дурацких снах и в нашем желании, которое мы переносим на других, дешевых и быстрых и которых нужно сразу забыть, но не получается. И мог бы сказать ей, что и во мне живет добрая и святая женщина;

и мог протянуть руку и сказать, что это она и есть; но я этого не сделал. Я был слишком робок, так я считал вначале. А потом я решил, что был слишком глуп. А теперь, когда Эстер нет, понял, что был слишком слаб, чтобы по-настоящему покорить святую женщину; но тогда я был молод и здоров и мог бы этого добиться, если бы только сумел забыть о том, что пережил, что видел и о чем рассказывали люди. Тогда я еще не знал, что когда мужчина и женщина встречаются для большой любви, то встреча эта происходит на пустом месте, в центре выжженного пространства, куда не долетают ни звуки, ни шумы, где не слышны слова, которые она сказала другим и которые ты сказал другим. Верно, что из любой женщины можно сделать шлюху, но только потому, что мы не в состоянии сделать их святыми; а они бывают такими, какими мы их создаем. Но мне это не удалось, не удалось это и почти никому из знакомых мне мужчин; а я знал многих. Знал летчиков, летавших на самолетах, которые не хотело страховать ни одно страховое общество, знал шестнадцатилетних террористов, которые умели убивать, и знал еще многих других; все они умели здорово пить, драться, когда не было иного выхода, драться и тогда, когда можно было

спокойно уйти домой; все они могли жить в пустыне, в подполье, в тюрьмах, но ни один из них не нашел в себе мужества искренне поверить в целомудрие женщины: ни те, что пили, ни те, что убивали, ни те, что сидели в тюрьмах. Не удалось это и мне; я только мог рассуждать об этом, но поверить так и не смог; и вот теперь, идя по улице, я подумал, что буду не раз проходить мимо них и никогда не скажу им этого, а потом стану старым, и надо будет платить за их любовь и говорить им, что они должны говорить мне, когда их молодым телам придется терпеть пот и смрад моего обреченного тела. И они скажут мне те слова, а мне уже будет все равно, я буду их слушать, а ведь мог им столько сказать. И тогда я скажу им все, но они не станут меня слушать, торопясь к какому-то юнцу, который ничего им не скажет.

И я думал о том дне, когда она пришла ко мне в первый раз, в этот день моя хозяйка выгнала меня, так как я потерял работу и мне нечем было ей заплатить; мы пошли к морю, шел дождь, и мы укрылись в фойе кинотеатра, там я поцеловал ее и сказал, что ее люблю, а потом кончился сеанс, молодые парни выходили из зала мрачные, с ожесточенными лицами, я наблюдал, как они, по-

качивая бедрами, уходили в дождь, и думал, что можно, не глядя на афишу, сказать, что крутили вестерн; а теперь, когда мы шли с этой девушкой по улице и слышали дыхание идущего следом старика, мне вдруг безумно захотелось узнать, что это был за фильм. Но Эстер уже не было, и не было смысла гадать.

Я нашел новую комнату, но кровать в ней была такой узкой, будто моя новая хозяйка раньше сдавала это жилье собаке; я пошел в мастерскую к приятелю, и он, когда хозяин ушел домой, оставил мне ключи, я разрезал раму кровати ацетиленовой горелкой, припаял к ней кусок другой рамы и приладил пружины, и, если бы я не порол горячки, могло получиться хорошее и надежное ложе, но она должна была вечером приехать в город, и я мастерил на скорую руку, и все вышло не так, как я задумал, среди ночи мое сооружение с грохотом рухнуло, влетела хозяйка и выгнала меня из дому, ведь я обещал ей никого не приводить; я взял Эстер, и мы опять пошли на море, и опять лил дождь, и мы спрятались в фойе кинотеатра, и мне пришлось накинуть на нее свою куртку, так как она мне ничего не сказала и кровь просочилась на ее платье, а потом из кино опять вышли понурившиеся парни, и по их ли-

цам видно было, как они переживают за тех, чья бурная жизнь коротка и обрывается под ударом в двадцать четыре тысячи вольт, а я смотрел на них и думал, что, наверно, это был фильм с Боги, но названия я тоже не помнил, да и теперь, раз ее нет, мне это было уже ни к чему.

Мы поднялись на лестницу еще одного дома и шли среди пыли и кошачьего визга, старик плелся за нами, она прошла вперед, а я остался в коридоре и курил, я уже закуривал вторую сигарету, когда он взобрался и остановился возле меня, и я смотрел в его мутные глаза.

— Мне нехорошо, — сказал он.

— Я уже это слышал.

— Я потерял таблетки. У меня больное сердце.

— Тебе уже недолго осталось.

Я посмотрел в конец коридора; она стояла там и тихо что-то говорила, но ничего не было слышно, только кошачий визг да его дыхание.

— Почему ты хочешь ее? — спросил я. — Ведь за те же деньги можно иметь десяток других.

— Она хорошая.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что не знаю ее.

— Скоро узнаешь; это всего лишь проститутка, которая обойдется тебе в полсотни.

— Она хорошая, — сказал он. — Я часто ее вижу. Я достаточно пожил, чтобы не ошибаться.

— В твоем возрасте это не имеет значения. Можешь говорить глупости, можешь умные вещи. Тебя все равно никто не будет слушать.

Она вернулась и сказала, что там кто-то умер и к ним нельзя ни сегодня, ни завтра, и мы снова спустились вниз, и он шел за нами, а я думал о том, как поссорился с Эстер и пошел пить, а потом понял, что был неправ, но у меня не было денег на автобус, я взял такси и поехал к ней и попросил таксиста подождать, но он знал меня, он вытащил гаечный ключ и встал напротив, и началась драка под дождем, и он саданул меня до крови, а потом я двинул ему, и он медленно и патетично, как осень в Виргинии, стал опускаться на землю, а я пошел искать ее, и мне сказали, что она ушла в кино, я пошел туда, а там как раз на экране дрались таксист с пьянчугой, и я расхохотался, тогда включили свет и прервали показ, фильм демонстрировался в клубе, они все уставились на меня, а я стоял и смеялся, вытирая кровь, ведь он угодил мне ключом в голову, а Эстер встала, подошла ко мне и увела меня оттуда, и мы снова поссорились. И я вернулся в кино, выхватил у механика бобину и тут же поджег пленку; я

подумал, что это старый фильм, и машина там была старая, и нечего было водителю молотить своего пассажира кулаками, мог бы взять гаечный ключ, и тут пришли полицейские и забрали меня. И когда меня сажали в джип, подошла она и сказала, что решила избавиться от ребенка. Я в то время много пил, и кто-то ей сказал, что ребенок не будет здоровым, а я не мог ей втолковать, что все не так, потому что должен был отсидеть свой срок, а когда вернулся, она сказала мне, что с этим покончено.

И тогда я взял ее с собой в пустыню, и она жила там со мной в кабине грузовика, где было место для другого водителя и ручного пулемета; по ночам выли шакалы, и все было очень похоже на дрянной фильм, как если бы Раппопорт поругался с компаньоном и картину пришлось заканчивать вдвое быстрее, потому что с деньгами было туго, а пустыня, шакалы, пулемет всегда заманчивы для тех, кто сидит в зале, и нужно, чтобы это ощущение не пропало сразу после конца сеанса, а длилось еще минуту-другую; а у нас с Эстер и вправду ничего не было кроме грузовика, моего ручного пулемета и банки тушенки, которую мы ели с ножа; было еще немного апельсинов и теплая вода в бидонах, которые обертывали

мокрой холстиной, чтобы воду можно было пить. И я сказал ей, что не отпущу ее, пока не будет слишком поздно, чтобы еще раз сделать то же самое, а ей было двадцать лет и она была самая прекрасная, а мне было двадцать шесть и у меня не было ничего кроме нее и этого ребенка, которого я ждал и на которого у меня не было денег. Но это был мой первый ребенок, а я был первым в ее жизни, так что нужно было примириться с этими шакалами из дрянного фильма и с луной над пустыней, слишком красивой, чтобы об этом говорить или писать; нужно было соглашаться на все, только бы ребенок мог жить.

А потом Эстер пришлось вернуться домой, и я остался один и спал в машине с другим постояльцем, который, когда был трезв, не произносил ни слова, а под вечер, выпив с полбутылки, начинал говорить, но я держался, а потом мы уже пили вместе, и так продолжалось две недели, пока я не поехал на пару дней к Эстер, оставив его в одиночестве; до сих пор я так и не знаю его имени и откуда он был родом, потому что говорил он на непонятном мне языке, и он меня тоже не понимал. И тогда она сказала мне, что больше ни за что не пойдет к врачу, даже когда настанет время рожать, потому что врач, который делал ей аборт,

оказался настоящей свиньей и приставал к ней; я день и ночь уговаривал ее, но она уперлась, что родит сама; а когда пришел срок, мы поехали за город к моему приятелю, он отдал нам свой дом и джип, и мы поселились у него. Там не было никого, кроме нас с Эстер, и лишь несколько дней спустя я встретился с той, другой.

Я ехал в город, она остановила меня на шоссе и попросила подвезти ее до Хайфы, я взял ее с собой, мы разговорились, она рассказала, что учится на медицинском, сюда приехала на каникулы и ждет своего жениха, а потом вернется в Штаты. Я довез ее до Хайфы, она пригласила меня выпить пива, я поблагодарил и поехал дальше, не был дома два дня; а потом я вернулся. И тогда началось самое трудное время, к ней нельзя уже было прикасаться, а я не мог объяснить ей, что все можно делать по-другому, ведь она была еще слишком молода и наивна, и мне не хотелось делать ничего такого, что было бы ей противно. Я тогда еще верил, что всю жизнь буду с ней. И теперь, когда я шел по улице с другой девушкой и поспешавшим за нами стариком, я подумал, что один-единственный раз я не ошибся — когда, лежа с нею рядом, думал, что всю жизнь буду с ней.

— Послушай, — сказал я этой зеленоглазой. — Я

уже устал. Кончай.

— Мне он не нравится,

— Он и не должен тебе нравиться. Возьми деньги и отпусти меня. Он тебе ничего дурного не сделал?

— Нет. Он говорил мне, что я хорошая. И еще много слов в том же роде.

— Он глуп, как все старики. Но он плохо себя чувствует. Потерял свои таблетки.

— Нет.

— Он сам сказал.

— Это я их взяла. Вытащила из кармана и выбросила. Я знаю, что у него больное сердце.

— Подлая ты тварь.

— Он говорил мне, что я хорошая. И уверял, что все женщины хорошие и что это по вине мужчин они становятся плохими. Ты согласен с этим?

— Нет, — ответил я.

— Зачем он мне говорил такое?

— Хотел доставить тебе радость.

— Зачем?

— Ты же стоишь полсотни. За такие деньги можно болтать что угодно.

— Ему жаль этих денег?

— Ему всего жаль. Жаль содеянных глупостей. И жаль, что не может их повторить. Только гово-

рить об этом уже поздно.

Мы пошли дальше, и я вспоминал, как несколько дней спустя я снова ехал по тому же шоссе и эта девушка снова остановила меня; с ней был ее парень, я подвез их до Хайфы и на этот раз согласился выпить с ними пива, мы посидели немного, парень рассказывал о своем брате, который провел четырнадцать месяцев в лагере для пленных в Корее, рассказывал, как там было. Только я не слушал его, так и не знаю, что испытывали американцы, попавшие в плен к корейцам, я смотрел на него и думал, как нехорошо получилось, что я с ним встретился. До этого я не помышлял о ней, но когда они сидели обнявшись, счастливые, я увидел, что она чертовски хороша. Я давно ни о чем таком не думал, хотя имел на это право каждую ночь, я долго был без Эстер и оставался ей верным, а это было нелегко, лежать рядом и вспоминать, как у нас было когда-то. Я поехал дальше в Акко и там зашел к своему приятелю, доктору, и рассказал ему, что Эстер настаивает на том, что будет рожать сама, и я ничего не могу поделать. Он сказал, что это безумие, я же ответил, что он не знает женщин, которые родились в Израиле; тогда он дал мне адрес акушерки, жившей недалеко от нас, и я вернулся, и пошел

к ней, и она сказала мне то же самое. Только она сама родилась в Израиле, и мне не пришлось ей ничего объяснять насчет здешних женщин. У нее был симпатичный муж, и мы. сидели допоздна, попивая пиво, он рассказывал об израильских летчиках, о том, как они летают между скалами на сверхзвуковой скорости и бьются об заклад, что пролетят, лишь бы прошла ширина крыльев, вроде того как наши парни в Польше летали под мостами, и много еще интересного он рассказывал, только я слушал невнимательно. Я думал о той, которую встретил на дороге, и о том, что я уже давно без Эстер, потому что слишком люблю ее. Потом акушерка сказала, что все может обойтись, и спросила, есть ли у меня телефон, я сказал, что у меня только этот джип и, когда настанет срок, я за три минуты смогу привезти ее, и я снова вернулся к Эстер, и лежал с ней рядом, и не мог уснуть.

Несколько дней спустя ко мне заехал Йорам, и Эстер ушла в другую комнату, я сказал, что она плохо себя чувствует, но это была неправда, Эстер не любила Йорама за то, что он был выпивохой, она злилась на него, ей казалось, что он меня спаивает, то же самое думала обо мне жена Йорама, когда я к ним приходил. Я сказал

Йораму, что нам лучше поехать искупаться и поплавать, мы вышли из дому и по дороге к морю увидели ту самую девушку, она хотела добраться до пляжа, но машины у нее не было; мы взяли ее с собой и, прихватив пару бутылок пива, поехали купаться, а потом Йорам, который ко мне уже пришел тепленький, выпил еще изрядно пива плюс два стаканчика коньяка и стал подкатываться к девушке, я смотрел на нее, она смотрела на меня, а Йорам тем временем обхаживал ее, обещал вечером взять в город и показать разные достопримечательности, а я-то знал, что в этот вечер его жены не будет дома. И когда он ее поцеловал, я отпихнул его и сказал: «Йорам, ведь у тебя есть жена, а у нее жених». И мы вернулись домой, но разговор уже не клеился; Йорам только через несколько месяцев перестал на меня дуться. Йорам был маленького роста, и трудно было его представить в роли героя-любовника, даже на любительской сцене; как все коротышки, он гонялся за девушками и из кожи лез, чтобы прослыть Казановой, и злился, когда ему не верили. В тот вечер я сказал Эстер, чтобы она, когда я умру, не выходила замуж за такого коротышку с масляными глазками, потому что такие никогда не бывают верными, и сказал ей, пусть она найдет

себе, когда я умру, славного парня, который любит иногда выпить с дружками, потому что только такие ребята бывают хорошими мужьями, и им нужно прощать, если иногда выпьют лишнего и даже если какая-нибудь девица затащит такого к себе домой и утром заведет разговор о свадьбе, так как спьяну он мог начисто забыть, что уже давно женат. Все это я сказал Эстер, потому что тогда часто думал о смерти. Но умер не я, я только убил Эстер, потому что слишком любил ее и не хотел ей изменять.

Если однажды начнешь серьезно думать о смерти, то от этой мысли уже не отделаешься; особенно часто я размышлял об этом, когда Эстер была на сносях, мы ждали ребенка, и Эстер придумывала ему имена, сперва какое-то имя ей нравилось, потом она придумывала новое, потом возвращалась к старому; изобретала малышу профессию, сперва она ей нравилась, потом она выдумывала другую, а то снова возвращалась к прежней, и ей даже в голову не приходило, что ребенок когда-нибудь сам себе выберет профессию, а имена ему будут давать другие женщины или мужчины, подобно тому как я однажды назвал Эстер «Кошкой Чародея», после чего все стали ее так называть, даже отец и мать, которые когда-то

придумали и дали ей имя. Потом, узнав из газет, сколько зарабатывают летчики на пассажирских линиях, Эстер на том и остановилась, твердо решив, что сын будет летчиком, а о дочке и вовсе перестала думать. Возможно, она свыклась с этой мыслью, потому что любила меня и знала, что я хочу сына, и когда я купил большущего плюшевого пса Гуфи, сказала, что мальчикам не нравятся такие игрушки, и ей в голову не пришло, что нужно немалое время, прежде чем ребенок превратится в мальчика или девочку, но пса, спавшего вместе с нами, она явно невзлюбила.

А я все думал о том, что лучше было бы умереть и что все кончится в ту минуту, когда на свет появится ребенок, тогда я уже не отважусь совершить то, о чем часто думал, хотя и понимал, что напрасно так думаю, ведь кончают жизнь самоубийством самые разные люди, и одинокие, и счастливые, и отцы семейств. И думал о том, что всю жизнь я жил так, чтобы после моей смерти обо мне не осталось никаких достоверных воспоминаний; вот почему я никогда никому не рассказывал правды о себе, выдумывал всякие небылицы, избегал каких-либо происшествий; я боялся людей и хотел, чтобы после меня ничего не осталось. Но теперь было уже поздно, теперь я

знал, что оставлю наследника, и он будет еще долго жить, и через него станет известна моя жизнь.

А Эстер тогда не выходила из дома, я ездил на джипе за молоком и продуктами и раз в неделю — в аптеку за снотворным, хотя оно мало помогало; ночами я лежал рядом с ней и не мог уснуть, все думал о том, как у нас с ней было раньше, и тогда, в первый раз, у меня дома, вспоминал наши ночи в пустыне, где не было воды, чтобы умыться, но она будто создана была из пены морской, потом я уже не встречал такой женщины. Я думал о том, как в трудные минуты она делилась со мной пищей, и думал, как бы у нас могло быть теперь, когда до осени у нас есть дом, и вода, и еда, и даже немного денег на кино и на то, чтобы пригласить гостей. Я вспоминал, как Эстер не терпела света, ужасно стеснялась, и как, приходя на свидание, она, не сознавая своей силы, стискивала меня в объятьях так, что дух вон; и вспоминал о том, как Эстер грязно ругалась, но у нее это получалось как у ребенка, который повторяет слова, не понимая их смысла. И еще я вспоминал, как ночью в пустыне, когда насквозь пронизывал холод, она ложилась на меня, а была она почти одного роста со мной, и нелегко было выдержать такой груз. И думал о том, что мог бы все это проделывать

с ней, а потом спать, но мне мешал маленький человечек, которого я хотел и которого мы оба с нетерпением ждали. И еще я думал о том, что когда он появится, Эстер не сразу станет такой, как прежде, а может, и никогда уже не будет прежней, и думал обо всех женщинах, которым дети испортили фигуру.

Старик, поспешавший за нами, вдруг остановился, мы оглянулись, он стоял прислонившись к стене и тяжело дышал.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сердце.

— Тут рядом аптека. Хочешь, зайдем.

— Нет, — сказал он. — Нам еще далеко?

— Да, — сказала она. — Но ведь я иду с тобой. Ты же этого хотел.

— Ты идешь с ним, — сказал он.

— Чтобы полиция не цеплялась.

— Ты вправду не можешь идти со мной?

— Не могу, — ответила она. — У нас еще есть время.

И она пошла вперед и вела его не теми улицами, где были богатые магазины и уютные кафе, где можно было укрыться в тени полотняных маркиз, заслонявших окна; она шла по узким улочкам, где не было тени, где солнце било прямо

в глаза, а он плелся за нами, и, оборачиваясь, я видел его искаженное болью лицо. Он все время прикладывал руку к сердцу, совсем как певец, исполнявший песенку про то, что сердце его принадлежит всем женщинам, а они его презирают. Песенка была пошленькая, и певец не из лучших, и когда он сходил со сцены, его провожали жидкими хлопками.

— Я что-то не понимаю, почему он зациклился на тебе, — сказал я. — Ты уже встречалась с ним?

— Нет.

— Он ведь не сделал тебе ничего дурного.

— Мы уже говорили об этом.

— О чем-то надо говорить, когда идешь под палящим солнцем. С тобой приятно поболтать. Ведь ты платишь мне десять фунтов.

— Не хочется жить, — сказала она. — Можешь порассуждать на эту тему?

— Могу. Люди, которые хотят покончить с собой, часто толкают на это других, и если их замысел удается, они как бы сами переживают смерть. Я читал кучу таких историй. Твоя мысль не оригинальна. А он уже старик. Ему немного надо.

— Откуда ты об этом знаешь?

— Об этом многие думают.

— Но ведь все хотят жить.

— Не слишком интересная мысль. Так или иначе, отсюда никуда не денешься. Останешься тут навсегда. Возможно, когда-нибудь проснешься цветком. Вот и все, что можно сказать на эту тему.

— Все об этом говорят.

— Тема неплохая. Надо благодарить Бога и за это.

— Мой парень погиб, — сказала она. — А потом я уже никого не любила.

— Красивая история… — сказал я. — В молодости любила одного парня, он погиб, и уже никогда потом… и так далее. Я в своей жизни много слышал таких историй.

— Ты не веришь?

— Я сказал тебе: история превосходная. Можешь ее рассказывать, и тебе поверят. Нужно только добавить, что он боролся за светлые идеалы человечества, или что-нибудь в этом роде. Всего несколько лишних слов, зато звучит лучше. А что с ним случилось?

— Его убили на сирийской границе

— Это не пойдет, — сказал я. — Ведь он сражался с оружием в руках, стрелял в противника и умер как мужчина. Нужно по-другому. Пусть это будет

автомобильная катастрофа. Нелепая смерть. То, с чем невозможно примириться. Понимаешь?

— Да. Но ведь ты говорил, что он должен был бороться за светлые идеалы человечества.

— Я передумал.

— То, о чем я тебе рассказала, неправда. Никогда у меня не было такого парня,

— Уже лучше звучит. Только оставь это на самый конец. Тоска по любви. Одиночество. Так современней. Но суть не меняется.

— Ты же знаешь, что я тебя люблю.

— Нет. Ничего об этом не знаю. И как давно ты это почувствовала?

— Я видела тебя однажды в ресторане.

— И я тогда был чертовски весел?

— Да.

— Наверно, я перед тем сказал какой-нибудь девушке те же слова, что ты произнесла сейчас. А то бы нечем было расплатиться за веселье.

И я даже сказал Эстер, что люблю ее, только я от нее ничего не хотел. А потом, когда уже не стало Эстер, говорил то же самое многим женщинам, чтобы слова эти навсегда потеряли для меня смысл, и это единственное, что мне в жизни удалось, а я пробовал писать, стать летчиком, хотел вступить в Иностранный легион и соби-

рался на войну во Вьетнам. А еще позже у меня была богатая жена, а потом другая богатая женщина, и я всем им говорил те же самые слова, что сказал Эстер, в тех же ситуациях, потому что Эстер уже не было, а я хотел уничтожить все, что принадлежало ей. Только женщины эти ни о чем не догадывались, а когда я признавался в любви, они мне не верили и водили меня к психиатрам, а некоторые в ночные заведения, а я твердил им те слова, которые говорил Эстер, а потом все объяснял, но они не верили, даже самые глупые из них, Я не сумел спасти Эстер и теперь хотел уничтожить все, что принадлежало ей; я уже ничего не мог сказать ей, поэтому говорил те же слова другим, но мне не верили. Так что и это мне не удалось, а Эстер всегда мне верила и, возможно, даже пошла бы в больницу, если бы я настоял и поговорил с ее родителями, я мог бы даже отвезти ее насильно, но она была со мной и верила, что, пока она со мной, ничего плохого не случится.

Она верила мне, когда я говорил, что скоро заработаю на квартиру и у нас будут книги и деньги на билеты в кино, верила моим обещаниям больше не пить, верила, когда я говорил, что мы поедем в Европу, а может быть, попадем и на Сицилию, где я покажу ей высланных из Штатов

наемных убийц, к которым бармены обращаются «командаторе», верила моим рассказам о том, что когда мы будем высоко в горах и я прикоснусь к ней, нас словно током обожжет. И верила, когда я рассказывал о том, что видел, хотя на самом деле видел я не много, а просто сочинял для нее разные истории о неведомых мне людях, придумывал кинофильмы, потому что денег на ее любимое кино у нас не было. А еще я сочинял для нее книжки; и рассказывал о картинах в Лувре, где я никогда не был. И все, о чем я ей рассказывал, становилось явью.

Я уходил на море и долго плавал, чтобы устать и потом спать, но по-настоящему утомить меня могла только Эстер. Иногда я брал с собой ту девушку, если она стояла на шоссе, а если ее там не было, мы встречались с ней на пляже и болтали о том о сем, не касаясь лишь одной вещи, про которую и так нам обоим было все ясно. А тогда и говорить незачем. Она рассказала, что жених ее уехал раньше, чем собирался, а я и вовсе не откровенничал. Я смотрел на поднимавшиеся новостройки и думал, что через несколько лет Израиль станет таким же государством, как все другие, и тогда уже не будет смысла здесь жить. Но пока здесь было мало людей и мало машин, а

туристы, которых занесло сюда, быстро получали солнечный удар и поспешно покидали сей край, успев перед отъездом сообщить, что в жизни не видали страны прекрасней и лучшей кухни, а надо сказать, еда в Израиле такая, что даже узники европейских тюрем взбунтовались бы против паскудного кошерного мяса без капли крови, напоминающего по вкусу бумажную подошву покойницких тапочек. Но пока здесь были еще апельсиновые рощи, пустыня и бесившие меня шакалы из дрянных кинофильмов. Многое здесь раздражало меня, поэтому я любил эту страну.

Девушка уплывала далеко в море, и порой целый час ее не было видно, а я смотрел ей вслед и думал о том, что Эстер теперь нельзя плавать, а она умела плавать лучше нее и лучше меня; и думал о том, что Эстер сделалась тяжелой и сонной, и я не был уверен, что она не останется такой навсегда, и мне опять приходили на память все те женщины, которым дети испортили фигуру, складки на их животах, их груди; я вспомнил, как одна женщина рассказывала мне, что после родов она возненавидела своего ребенка; а другая, в Америке, как она разлюбила своего мужа, не могла ему простить боль, причиненную ребенком; и вспомнил еще одну женщину, которая рассказы-

вала, что никогда в жизни не испытала большего наслаждения, чем при родах; и ей хотелось иметь от меня ребенка, но ничего у нас не получилось. Я перебирал разные случаи, расспрашивал врачей и женщин, бесконечно раздумывал на эту тему, но об одном я не подумал, о самой простой вещи, о том, что ребенок надолго отнимет у меня Эстер, а я ее слишком любил и не в силах был провести ночь без нее, и все это было вроде бы из другой глупой песенки, спетой другим бездарным певцом, но так оно и было, и тогда я уходил мыслями к моим шакалам, к пулемету, который согласно предписанию надлежало иметь при себе, хотя непонятно было, что с ним делать ночью; и снова перебирал в памяти все те скверные фильмы, в которых так много правды о всех нас, но которые никому не нравятся.

А потом возвращалась девушка и рассказывала мне о своем колледже, о том, что через два года она станет врачом; говорила, сколько будет зарабатывать через год, сколько через два; она знала наперед все, что с ней произойдет, вплоть до того дня, когда она невзначай отдаст концы, а это должно было случиться через два года после того, как концы отдаст ее муж и любимые собаки.

Мы снова поднялись по лестнице какого-то

дома, и старик карабкался за нами, но тут зеленоглазая девушка призналась, что перепутала двери, мы спустились вниз и потом поднялись по другой лестнице, но у него уже не было сил идти, он остановился на ступеньках, а она протянула ему руку.

— Идем, — сказала она. — Это здесь.

— Помоги мне, — попросил он. Она спустилась на две ступеньки и снова протянула руку.

— Уже близко, — сказала она.

— Ты ведь не стучала в дверь, — сказал он. — Может, и там занято.

— Нет. Там наверняка найдется место. Там места много, на всех хватит. Идем.

Он поднялся на одну ступеньку и схватил ее за руку, но она вырвалась.

— Иди, — сказала она. — У меня нет времени.

И тут он, похоже, понял, а я отвернулся, когда она расстегнула сверху донизу платье, и тогда он поднялся на площадку и там упал, а она наклонилась над ним.

— Теперь надо, чтобы он еще раз повторил, что ты хорошая, — сказал я. — Таким должен быть конец. Нашлось бы много охотников сделать из этого фильм. Ведь он хотел увидеть свою дочь. Теперь он должен произнести какие-то слова. Ты,

кажется, разочарована?

Его увезли, а я вернулся в свое кафе; она шла за мной. Я вошел и сел, но не в темном углу, а у стойки; подошел официант и отвернул вентилятор от моего лица.

— У меня из-за тебя неприятности, — сказал он. — Кто-то накапал шефу, что я пою тебя в долг.

Я положил на стойку десять фунтов, и он принес мне пиво.

— Нет, — сказал я. — Коньяк.

— Какой?

— Не задавай глупых вопросов. У меня нет повода пить хороший.

Она сидела рядом со мной, а я смотрел на отражение ее лица; даже в тусклом зеркале она была по-прежнему хороша.

— Можно выпить с тобой?

— Не могу понять, зачем ты пьешь, — сказал я. — У тебя есть деньги, и в этом городе всегда найдутся люди, которые поверят всему, что ты им расскажешь о себе.

— Ты мне не веришь.

— Я не могу понять, что тебе было нужно от этого старика, — сказал я. — Конечно, он был сукин сын. Я часто видел, как он сидел и угощал

других, а сам никогда не пил. Но я все равно не могу понять. Я никого здесь не понимаю, впрочем, до всех вас мне нет дела.

— За исключением одного человека.

— Я никогда этого не скрывал.

— Но ведь ты сам говоришь, что невысоко себя ценишь.

— Это верно, Но ты-то чего от него хотела?

— Тебе ведь и до этого дела нет.

— А если он не умер? Вся затея провалится?

— У него было два инфаркта.

— К чему же третий?

— Чтоб ты мне поверил.

— Я тебе верю. Но это ничего не меняет.

— Следующий раз я так обойдусь с собой.

— Ну вот. Насмотрелась дрянных фильмов.

— То, что ты увидел, не было фильмом.

— Самым худшим из всех, что я видел. И зачем ты распахнула платье, когда он кончался? Это что, как в Библии? Моисей, которому запрещено ступить на землю обетованную?

— Нет.

— Так в чем же дело?

— Ты сам мне говорил вчера вечером. О том, что хочешь написать рассказ о человеке, который идет по городу и умирает от желания. Ты сам

придумал историю с платьем. А я тебе говорила, что это ерунда, но ты уверял, что из этого можно что-то сделать. Вот я и доказала, что это глупо.

— Вчера вечером я был пьян и совсем не помню, о чем говорил.

Я заказал порцию коньяка и стал вспоминать: когда начались схватки, я бросился к джипу, и тут все завертелось как в плохом рассказе; забарахлил мотор, я поднял капот, оказалось, что отсырели контакты, ведь машина стояла близко от моря. Зажег спички, подсушил, даже резина слегка обуглилась, и поехал к акушерке, но ее не застал. И в доме не было никого, кто бы мог мне сказать, что она поехала к другой роженице; я колотил в закрытую дверь, но никто не отозвался, и тут я вспомнил, что та девушка учится на врача, и поехал к ней. Только в этот момент я забыл, что четыре месяца не прикасался к Эстер, и когда она открыла мне дверь и я увидел ее, заспанную и теплую, у меня начисто отшибло память, а когда мы приехали, было уже слишком поздно; прошло много лет, но я знаю: получилось так только из-за того, что я ее очень любил и не хотел ей изменять; а еще из-за того, что я познакомился с тем парнем, ведь мы смотрим на женщину глазами другого мужчины, только так, ведь и Эстер я увидел,

когда она стояла в центре зала и сотня мужиков пялилась на нее; в общем, все кончилось как началось, так и должно быть, конец всегда такой же, как начало; и все, что с болью совершается в отпущенное двоим людям время, начинается с боли и кончается болью. А те муки, которые начинаются болями матери и кончаются болью ее ребенка, умирающего шестьдесят лет спустя, называют также любовью, и, возможно, так и должно быть. Только теперь умирают без боли, а возможно, и рожать будут без боли и невинность терять без боли.

— На мой взгляд, это будет уже неинтересно, — сказал я.

— Почему ты мне не веришь?

— Подожди немного. Может, еще немного выпью и начну тебе верить. Вчера ведь я верил в эту историю со стариком.

— Она тебе и сейчас нравится?

— Нет, — сказал я. — Он должен был под конец что-то сказать. Нет, не о жизни и смерти. А так, что-нибудь совсем неважное, что оказалось бы важным.

— Ты уже придумал?

— Нет. Меня это больше не занимает.

Я заказал еще порцию коньяка и думал о том,

что мы застали, когда вошли ко мне в дом. А через три дня я ушел оттуда, и, к счастью, она не стояла на дороге, там, где я обычно ее подбирал. И, к счастью, я не увидел, как другой мужчина сажает ее в свою машину, которую она остановила. И больше я никогда не был ни у нее, ни в том доме, только однажды проезжал мимо, это было в сезон дождей, я был один в машине и ехал не в пустыню, а в противоположном направлении. И я даже не заметил того дома, где я убил Эстер и ребенка; я просто ехал сквозь дождь и думал, как бы вернуть долг в кафе, где сейчас сижу; и это было, пожалуй, единственное, что мне понравилось во всей этой истории.

— Еще порцию коньяка, — сказал я.

— Быстро пьешь.

— Не сидеть же здесь всю ночь.

— Ты все равно не спишь. Лучше посиди со мной.

— Хорошо. Посижу с тобой. Я говорил уже, что у тебя зеленые глаза и сладкие губы?

— Ты пьян,

— Тебе же лучше. Буду повторять это всю ночь.

— Но не будешь мне верить.

— Не знаю. Может быть, я даже люблю тебя.

— Только завтра ты об этом забудешь.

— Возможно. Ведь забыл же я об этой истории со стариком. Я все забываю.

— Потому что пьешь.

— Нет. Я пью, потому что не хочу этого помнить. Я не говорил тебе, что он должен был сказать под конец?

— Нет. Ты был пьян. Ты только сказал, что это должно произойти на лестнице, я должна подать ему руку, а он — ухватиться за нее.

— А он и вправду говорил тебе, что ты хорошая?

— Да.

— Но я-то этого не говорил.

— Нет, Ты вчера вечером говорил только, что не любишь новые книги, и объяснил почему. Сказал, что в них нет женских образов. И что мужчинам больше не нужны женщины, и вся эта литература — литература невропатов-гомосексуалистов. И что тебя не интересуют трагедии проституток и алкоголичек.

— Да, это так.

— Сказал, что тебе не хватает святых женщин.

— Одна из них всегда со мной. Но она во мне.

— Расскажи про это.

Я устал, и мне не хотелось больше пить. Я понимал, что уже не напьюсь и завтрашний день

будет ужасным. Я расплатился и обнаружил, что у меня еще остается на кино.

— Нет, Эстер, — сказал я. — Я устал. Целый день пытаюсь выдумать какую-нибудь историю о тебе и о ребенке, который мог бы у нас быть. Но ничего не получается.

1966